РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

# ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА
ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

*Издается под руководством*
*Отделения историко-филологических наук РАН*

**2**

**МАРТ-АПРЕЛЬ**

"НАУКА"
МОСКВА – 2010

# СОДЕРЖАНИЕ

Г.М. Зельдович (Варшава). Синтетический пассив совершенного вида на *-ся*: Почему его (почти) нет? ..... 3
Т.В. Скулачева, М.В. Буякова (Москва). Стих и проза: сочинение и подчинение ..... 37
А.Л. Шилов (Москва). Топонимические маркеры путей экспансии восточных славян в Подмосковье 55
В.С. Панфилов (Санкт-Петербург). Коммуникативный синтаксис китайского языка ..... 64
Д.А. Эршлер (Москва). Отрицательные местоимения в осетинском языке: ареальные и типологические аспекты ..... 84

## *КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ*

### Обзоры

В.Б. Гулида, Н.Б. Вахтин (Санкт-Петербург). Петербургская социолингвистика: пятнадцать лет развития ..... 106

### Рецензии

М.А. Грачев, О.С. Сапожникова (Нижний Новгород). *Э.М. Береговская*. Арго и язык французской художественной прозы XX века (50–70-е годы) ..... 120
А.М. Белов (Москва). *J. Clackson*. Indo-European linguistics. An introduction ..... 123
К.Г. Красухин (Москва). *D. Wodtko, B. Irslinger, C. Schneider*. Nomina im indogermanischen Lexikon 128
М.В. Ослон (Москва). *T. Olander*. Balto-Slavic accentual mobility ..... 141
Л.А. Девель (Санкт-Петербург). *B.T.S. Atkins, M. Rundell*. The Oxford guide to practical lexicography 146

## *НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ*

### Хроникальные заметки

О.В. Дедова, Е.В. Петрухина, М.Ю. Сидорова, Е.В. Клобуков (Москва). Международный симпозиум «Славянские языки и культуры в современном мире» ..... 150
В.М. Алпатов (Москва). Коллоквиум «Евгений Поливанов (1891–1938) и его вклад в языкознание» 156
Д.С. Ганенков (Москва). Ежегодный симпозиум, организуемый Лингвистической ассоциацией Финляндии. «Падеж с точки зрения типологии» ..... 158

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

*В.М. Алпатов, Ю.Д. Апресян, И.М. Богуславский, А.В. Бондарко, Н.Б. Вахтин, В.А. Виноградов* (зам. главного редактора), *Т.В. Гамкрелидзе, В.З. Демьянков, В.А. Дыбо, В.М. Живов, А.Ф. Журавлев, Е.А. Земская, Вяч.Вс. Иванов, Н.Н. Казанский, Ю.Н. Караулов, А.Е. Кибрик* (зам. главного редактора), *М.М. Маковский, А.М. Молдован, Т.М. Николаева* (главный редактор), *В.А. Плунгян* (отв. секретарь), *Е.В. Рахилина*

Зав. отделами: *Н.В. Вострикова, О.А. Казеннова, А.С. Кулева, М.М. Маковский, Г.В. Строкова*
Зав. редакцией *Н.В. Ганнус*

Адрес редакции: 119019, Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2,
Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН
Редакция журнала «Вопросы языкознания»
Тел. (495) 637-25-16

Интернет-сайт журнала находится по адресу:
www.ruslang.ru, см. раздел «Издания»

© Российская академия наук, 2010 г.
© Редколлегия журнала «Вопросы языкознания» (составитель), 2010 г.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 2010

© 2010 г. Г.М. ЗЕЛЬДОВИЧ

# СИНТЕТИЧЕСКИЙ ПАССИВ СОВЕРШЕННОГО ВИДА НА *-СЯ*: ПОЧЕМУ ЕГО (ПОЧТИ) НЕТ?

*Памяти папы – Моисея Горациевича Зельдовича*

Рассматривается вопрос, почему аномальны конструкции типа **Книга написалась Иваном*. Показано, что совершенный вид обладал бы здесь перфектным значением 'для говорящего важно, какой результат действия имеет место в момент речи (или иной опорный момент)'. Перфектное значение может выступать в двух разновидностях: «стандартной», вида 'в момент речи имеется книга', и субъектно ориентированной, 'в связи с действием в момент речи важна *индивидуальность субъекта*', причем для конструкций рассматриваемого типа намного вероятнее второе. Пассив по своей природе требует, чтобы с помощью соответствующего «бессубъектного» предложения (типа *Книга писалась*) можно было назвать *ту же самую* ситуацию, что и с помощью предложения, где субъект эксплицитен (*Книга писалась Иваном*). Если же перфектность – субъектно ориентированная, то, опуская субъект, назвать ту же самую ситуацию нельзя. В результате между природой страдательного залога и особенностями перфектного совершенного вида возникает конфликт, который и ответствен за аномалию.

**1.1.** На вопрос о приемлемости страдательных глаголов совершенного вида на *-ся*, как, например, в **Книга написалась Иваном*, разные авторы отвечают по-разному. Многие считают все подобные формы безоговорочно аномальными, некоторые признают их право на существование в исключительных случаях, а некоторые просто объявляют их с собственно морфологической и семантической точки зрения безукоризненно правильными, хотя и делают оговорку, что стилистическими и/или прагматическими факторами их употребление все-таки ограничено (последняя точка зрения близка Н.В. Перцову, чья статья [2003] содержит богатый материал и обзор литературы; см. также [Апресян 2004: 25–28]).

Мы думаем, что эти глагольные формы, хотя они все шире допускаются языком, особенно разговорным, все равно маргинальны – по причинам, которые имеют в конечном счете прагматическую подоплеку, однако намного более и сложны, и весомы, чем это обычно предполагается, когда говорят о прагматике.

Маргинальность таких форм подтверждается, с одной стороны, мнением семи информантов, с которыми автор работал, а с другой стороны – некоторыми выразительными особенностями их употребления в реальных текстах.

1.2. В реальных публицистических текстах конструкции наподобие *Дорога построилась*, *Книга написалась*, *Книга прочиталась*, *Белье постиралось* встречаются довольно часто, но практически *никогда* не имеют эксплицитного субъекта: в выборке из 200 примеров эксплицитного субъекта в творительном падеже не имел *ни один* (литературные примеры такого типа изредка встречаются, но в них значимость субъекта ощутимо понижена некоторыми привходящими обстоятельствами; см. ниже, п. 1.3)[1].

[1] Это, безусловно, не случайно: позже мы увидим, что с наличием или, по крайней мере, возможностью эксплицитного субъекта как раз и связана аномалия в конструкциях типа **Книга написалась Иваном*.

**Важное замечание.** Ниже, если не оговаривается иное, эксплицитным субъектом будет называться именно субъект в творительном падеже. Назвать производителя действия часто можно и оборотом типа *у меня* (*У меня книга прочиталась взахлеб*), но по семантике это *не* производитель действия. Например, если учитель скажет *У меня книга читается взахлеб*, это может значить, что читается не им, а учениками. Допустимо и синтагматическое совмещение с творительным падежом: *У меня подчиненными все делается вмиг*. Самое главное, что оборот такого типа не является необходимой структурной составляющей страдательного предложения, а интересующая нас аномалия, как будет видно позднее, объяснима именно конфликтом *необходимых* компонентов пассива. Поэтому ниже возможность такого «квазисубъекта» в расчет не берется.

Если эксплицитный субъект в реальных примерах практически не встречается, то он скорее всего и *мыслится как недопустимый*. Логично предположить, что интересующие нас конструкции – это либо не пассив, а *декаузатив*, либо пассив, но пассив, *исключающий возможность прямо сказать о субъекте*. В типологии пассив такого рода известен (например, в языке гуичол [Comrie 1982]; почти бессубъектен, по данным [Haig 1982], пассив в западноармянском), но для русского языка он, по меньшей мере, весьма экзотичен. Если это декаузатив, то тоже крайне странный. С одной стороны, в пассиве, к которому безусловно восходят обсуждаемые конструкции, субъектом очень часто является человек: именно человек является прототипическим субъектом переходного предложения [Hopper, Thompson 1980; Croft 1994], а страдательный залог легче всего (в русском языке – почти исключительно) образуется как раз от предложений переходных. С другой стороны, декаузативные глаголы указывают на самопроизвольное действие и при одушевленном деятеле вообще-то *не образуются*; например, нельзя сказать *Окно открылось* или *Машина сломалась*, если известно, что открыл окно или сломал машину *кто-то*.

В обоих случаях с появлением конструкций типа *Книга написалась* должна быть связана серьезная перестройка существующей грамматической системы, и этим, видимо, объясняется, почему для людей пуристической ориентации они малоприемлемы.

Добавим, что там, где действие осуществляется человеком, а говорящий использует конструкцию, не отводящую человеку-исполнителю синтаксического места, возникает ощутимый и малоприятный для непредвзятого слушателя эффект «расчеловечивания». Не случайно, что в наибольшей степени допустимы такие примеры, где называется хорошо автоматизированное действие, типичным исполнителем которого уже перестал быть человек, ср. *Белье постиралось*, *Смета составилась*.

Не случайно и то, что во фразах обсуждаемого типа в роли подлежащего-объекта практически никогда (исключение, которое найдено в нашей выборке из 200 подобных примеров, – *Абитуриент завтра прослушается*) не оказываются люди – хотя вообще-то в страдательном залоге такое бывает нередко, ср. *Иван наказан*; *Иван выбран в профессора*; *Взвод отправлен на учения* и т. д. Если по аналогии с *Дорога построилась* вообразить фразу *Взвод построился*, то единственной допустимой интерпретацией будет собственно-возвратная, но никак не страдательная. Фраза *Больной прооперировался (прооперируется)* подходит только к экзотическому случаю, когда операция производится больным *на себе*, то есть у глагола снова не пассивное, а собственно-возвратное значение.

Заметим, что и конструкция *Абитуриент завтра прослушается* трактует абитуриента уничижительно – как объект, относительно которого надо принять решение, но его индивидуальность не слишком важна.

Таким образом, несмотря на их достаточную частотность, констукции типа *Дорога построилась* все-таки едва ли вполне правильны – как по собственно грамматическим, так и по стилистическим соображениям.

1.3. Еще нагляднее ущербность этих конструкций проявляет себя при опросе информантов. Ниже приводится выборка оцененных информантами примеров. Поскольку разброс мнений в некоторых случаях был весьма велик, каждый пример сопровождает-

ся указанием, как его оценил каждый отдельный информант[2]. Оценка дается по шкале от 2 до 5, где балл 2 указывает на полную аномальность, 3 – на отчетливую неловкость, 4 – на умеренную неловкость или странность, 5 – на безукоризненность. Если информант затруднялся с однозначным ответом, он имел право дать ответ вида «5–4». Чтобы в дальнейшем с примерами было проще работать, им дается сводная «среднеарифметическая» оценка с помощью традиционных помет «!», «*», «??» или «?», репертуар которых мы ради большей точности расширили за счет гибридов типа «??/*».

(1) ?/??Дорога уже построилась (3, 4, 3, 4, 3, 3, 4).
(2) *Дорога уже построилась нашей фирмой (2, 2, 3, 2, 3, 2, 2).
(3) ?Книга написалась (3, 5, 4, 3, 4, 3, 4).
(4) *Книга написалась Иваном (2, 2, 3, 2, 2, 2, 2).
(5) ??Эта книга напишется не Иваном, а кем-то другим (2, 3, 3, 3, 2, 3, 2-3).
(6) *Эта книга написалась не Иваном, а кем-то другим (2, 2, 2, 3, 3, 2, 2).
(7) ?Машина помылась дождем (4, 2, 3, 4, 3, 3, 5, 4).
(8) ??Машина помоется дождем (3, 3, 4, 3, 4, 3, 3).
(9) ??Машина за считанные минуты помылась дождем (5-4, 2, 3, 3, 3, 4, 3).
(10) ?/??Такая смета составится нашим компьютером (3, 3, 3, 4, 4, 3, 3).
(11) ??Такая смета составилась нашим компьютером (3, 2, 3, 4, 2, 3, 2).
(12) ??Смета составилась компьютером за две минуты (5, 2, 3, 5, 3, 3, 2).
(13) ??Смета составилась компьютером (4, 3, 3, 5, 3, 2, 2).
(14) ?/??Смета хорошо (легко) составилась компьютером (5, 3, 3, 3, 4, 4, 3).
(15) ?Смета составится за пять минут (5, 4, 4, 5, 4, 4, 4).
(16) !/?Книга быстро раскупилась публикой (4, 3, 3, 4, 3, 4, 4).
(17) ??Книга раскупилась публикой (4, 3, 3, 3, 3, 4, 3).
(18) !/?Дорога осилится не простым терпением путника, а каким-то иным терпением (Ю. Нагибин) (5, 4, 5, 4, 5, 5, 4).
(19) ?Дорога осилилась не простым терпением путника, а каким-то иным терпением (3, 4, 3, 4, 4, 4, 4).
(20) !Следовало бы отдать под суд боцмана, если все, что говорил Митюшин, подтвердится дознанием (К. Станюкович; пример заимствован из статьи Н.В. Перцова) (5, 5, 5, 5, 4, 5, 5).
(21) !/?Книга Поля де Крюи «Охотники за микробами» прочитается с большим интересом и специалистом-микробиологом и юношей, не видавшим еще ни одной научной книги (Н. Кольцов; пример заимствован из статьи Н.В. Перцова) (5, 4, 4, 4, 5, 4, 4).

Глядя на этот материал, можно сделать, по крайней мере, три вывода.

Вывод первый, совершенно бесспорный и особенно важный для нас, состоит в том, что интересующая нас страдательная конструкция в той или иной степени *почти всегда отклоняется от нормы*.

Даже предложение (20), получившее у информантов (почти) единогласно позитивную оценку, нельзя рассматривать как контрпример, ибо у него есть очень яркая и редкая особенность.

Обычно субъект действия и само действие друг от друга независимы в том смысле, что это же действие способен совершить и другой субъект, а данный субъект способен совершить и другие действия. Там, где у действия могут быть разные субъекты, вполне возможно, что индивидуальные черты этих субъектов как-то отразятся на его результате (например, когда данную книгу прочел Иван, она вызвала у него только раздражение, а когда Петр – она его вдохновила к собственному творчеству).

В примере (20), чтобы обсуждаемую информацию юридически подтвердить или опровергнуть, необходимы вполне определенные установленные законом действия, позволяющие те или иные утверждения признать истиной или ложью, то есть необходимо

[2] Информантами были в основном филологи очень высокой квалификации. Всем информантам – большое спасибо.

именно *дознание* (либо *расследование*, либо *следствие*; от выбора синонимов ничего не меняется; если говорить, допустим, об *экспертизе* или *опросе свидетелей*, то это опять-таки составная часть дознания). Таким образом, субъект *дознание* здесь ни с каким отчетливо противопоставленным субъектом не альтернирует, а это значит, что на результате действия *подтвердится* особенности этого субъекта сказаться не могут – а позже мы увидим, что именно возможность такого индивидуального отпечатка в конечном счете как раз и ответственна за аномалию в пассивных предложениях интересующего нас типа, так что этот пример является тем исключением, которым подтверждается правило.

Заметим еще, что похожая конструкция с субъектом *свидетели* (*?Следовало бы отдать под суд боцмана, если все, что говорил Митюшин, подтвердится свидетелями*) по самой скромной мерке неловка. С одной стороны, вместо свидетелей подтвердить что-то может и сам провинившийся или – иной обвиняемый. С другой стороны, речь тут идет скорее не об однозначном подтверждающем обвинение *юридическом* выводе, а просто о *словесном действии*, когда кто-то, допустим, сказал «Да, так». Такое подтверждение имеет разную силу в зависимости от нашего доверия к сказавшему. Ввиду этих двух обстоятельств на результате такого подтверждения (на том, насколько мы склонны всерьез с ним считаться) уже *может* отразиться индивидуальность субъекта – и отсюда странность приведенной конструкции.

Таким же подтверждающим правило исключением видится нам и почти безупречный пример (21). Стоит вместо *прочитается с большим интересом и специалистом-микробиологом и юношей, не видавшим еще ни одной научной книги* сказать просто *??прочитается с большим интересом специалистом-микробиологом* или *??прочитается с большим интересом юношей, не видавшим еще ни одной научной книги* – как предложение станет аномальным. Дело в том, что в (21), по общему смыслу этого предложения, оказывается (относительно, конечно) *безразлично*, кто именно будет читать, а тем самым нивелируется потенциальное влияние субъекта (специалиста либо юноши) на то, какого характера будет результат.

Второй подсказываемый нашим материалом вывод состоит в том, что обсуждаемые предложения выигрывают, если в них нет эксплицитного субъекта в творительном падеже[3]. Пример (1) лучше, чем (2), а пример (3) – чем (4). Почти приемлемый пример (15) имеет безусловное преимущество перед похожими, но имеющими эксплицитный субъект примерами (10–14).

Наконец, контраст между фразами (5) и (6), (10) и (11), (18) и (19) показывает, что при прочих равных условиях будущее время несколько лучше прошедшего. Явной неудачей грозит и перевод в прошедшее время фразы (21) (*?/??Книга Поля де Крюи «Охотники за микробами» прочиталась с большим интересом и специалистом-микробиологом и юношей*). Диссонируют с этой закономерностью только примеры (7–8), где форма прошедшего времени *?Машина помылась дождем* была оценена лучше, чем будущее *??Машина помоется дождем*[4].

Разумеется, эти три вывода имеют разную степень достоверности. Первый (что в целом рассматриваемые конструкции не отвечают языковой норме) бесспорен, второй (что они несколько лучше, если не имеют эксплицитного субъекта) почти бесспорен, третий – скорее правдоподобная гипотеза, достойная более тщательной проверки.

---

[3] Ю.Д. Апресян [2004: 27] вообще считает, что «в рассматриваемой конструкции невозможен агенс в форме ТВОР». Учитывая литературные примеры (21) и особенно (20), который признан безукоризненным, мы предпочитаем от такой резкой формулировки воздержаться.

[4] По-видимому, точно так же благоприятно и сослагательное или повелительное (в сослагательном смысле) наклонение глагола. Так, предложение *??Если бы эта книга написалась не Иваном, а кем-то другим, наверняка не разразилась бы такая критическая буря* хоть и неудачно, но все-таки безусловно лучше, чем (4); предложение *?Составься такая смета компьютером, она бы оказалась намного удобнее для чтения* лучше, чем (13). Ради простоты мы такими примерами оперировать не станем. Заметим только, что причина их преимущества та же, что и причина преимущества будущего времени перед прошедшим; см. 11.3.

Наша основная задача состоит в том, чтобы объяснить общую неловкость или ущербность обсуждаемых конструкций, то есть объяснить первый из названных фактов (а одновременно – объяснить, почему *правильны* коррелятивные аналитические конструкции наподобие *Книга написана Иваном*). Что касается таких отчасти «исправляющих» обстоятельств, как отсутствие эксплицитного субъекта, будущее время или референциальная неопределенность субъекта (о которой мы здесь умолчали, но обсудим ее в своем месте), то их анализ составляет скорее побочную линию наших рассуждений, так что некоторая гипотетичность соответствующих посылок основным защищаемым ниже положениям не угрожает.

Чтобы упростить изложение, сперва мы займемся конструкциями с эксплицитным субъектом и с прошедшим временем глагола, а о предположительно смягчающих аномалию факторах скажем отдельно.

**2.1.** Изложим коротко, в чем, по нашему мнению, причина аномалии в предложениях наподобие (2) **Дорога уже построилась нашей фирмой* и (4) **Книга написалась Иваном*.

2.2. Природа страдательного залога состоит в «подавлении» субъекта: он становится синтаксически необязательным, а это значит, что ту же самую ситуацию, какая названа, допустим, фразой *Дом строится нашей фирмой*, мы должны быть готовы назвать и фразой без эксплицитного субъекта – *Дом строится*.

2.3. В конструкциях типа (2) и (4) совершенный вид имел бы перфектное значение ‘для говорящего важно, какой результат действия имеет место в момент речи (или иной опорный момент)’.

Результат, о котором идет речь, должен быть не просто «типовым» результатом данного действия (как, допустим, наличие книги или дороги), но состоять в том, что в момент речи в связи с данным действием важна индивидуальность субъекта: книга несет на себе отпечаток личности Ивана, качество или иные черты дороги связаны с данной фирмой, либо, наоборот, написание книги каким-то значимым образом повлияло на «жизненную историю» Ивана, строительство дороги изменило что-то важное для фирмы.

2.4. При переходе от фраз (2) и (4) к «бессубъектным» *?/?? Дорога построилась*; *? Книга написалась* эта особая, субъектно ориентированная перфектность должна исчезнуть, а вместо нее – появиться перфектность «типовая» (есть дорога, есть книга).

2.5. Если «типовая» перфектность в предложениях (2) и (4) может отсутствовать, а в редуцированном (поверхностно бессубъектном) их варианте она неизбежна, то нельзя считать, будто с помощью редуцированного варианта описывается *та же самая* ситуация, что и с помощью предложений (2) и (4).

Таким образом, предъявляемое страдательным залогом требование, чтобы мы могли ту же ситуацию мыслить в отвлечении от субъекта, здесь нарушается, и отсюда аномалия.

Подробному обоснованию этих тезисов и посвящена наша статья.

**3.1.** В первую очередь нам следует задуматься над природой страдательного залога.

Мы принимаем широко распространенную точку зрения, что существо страдательности состоит в «подавлении» (в английской традиции *demotion*) подлежащего (см. особенно [Grimshaw 1990: 109–118]; ср. также [Siewierska 1988]; тот же взгляд разделяет и Петербургская типологическая школа, ср. [Мельчук 2004; Храковский 2004]), то есть в превращении подлежащего в факультативный, без ущерба опускаемый сирконстант (или – в синтаксический ноль, как в безличном пассиве); ср. *Книга читается Иваном => Книга читается*[5].

[5] Иногда принимают, что конструкции типа *Книга читается* напрямую производны от неопределенно-личных, вроде *Книгу читают*, а не от полного пассива (например, *Книга читается Иваном*). Убедительные доводы против такой точки зрения приводятся в [Храковский 2004: 513–515].

До сих пор остается популярным и другой взгляд: существо пассива – в выдвижении на первый план (в типичном случае – на роль подлежащего) объекта, а не в подавлении субъекта; например, так интерпретирует пассивность Н. Перцов [Перцов 2003: 57][6].

С этим нельзя согласиться по целому ряду причин.

Во-первых, во многих языках встречается высокопродуктивный безличный пассив (обычно типа польского *Przeczytano książkę* букв. 'прочитано книгу'), который по своим важнейшим свойствам смыкается с пассивом «обычным», типа *Книга читается Иваном*, однако никакого выдвижения объекта здесь нет: есть только «подавление» подлежащего; см. подробнее исключительно влиятельную работу [Comrie 1977]; ср. также [Сибатани 1999]. Как пишет по поводу взаимоотношений между личным и безличным пассивом Т. Гивон, «при типологическом изучении пассива важно не слишком сужать наше представление о том, что относится к пассиву, и, таким образом, не выплескивать вместе с ненужной нам водой чудесное дитя – наш страдательный залог. Когда страдательная конструкция исторически восходит к имперсональной сфере, она может сохранить больше черт транзитива / актива, но само по себе это не делает ее менее страдательной» [Givón 1982: 158; перевод наш. – *Г. З.*].

Во-вторых, даже если нас смутят некоторые несомненные различия между личным и безличным пассивом (см. особенно [Blevins 2003]), то и, ограничив наши рассуждения пассивом первым, вывод придется сделать точно такой же. Как известно, объект в личном пассиве уподобляется подлежащему в разной, иногда весьма *незначительной* степени (причем от этого зависят многие свойства соответствующего конкретного пассива; см. [Givón 1982] с дальнейшей литературой), а «подавление» субъекта происходит *всегда*.

В-третьих, связывая страдательность в первую очередь с повышением ранга объекта, мы упустим еще одну типологически важную генерализацию. Интуитивно несомненно близкое родство между пассивом и декаузативом (конструкциями типа *Ваза разбилась*, *Дверь открылась*): в частности, в несовершенном виде, где не заблокирована страдательная интерпретация, они вообще часто трудноразличимы, ср. *Вазы разбивались* ('кем-то' => пассив; 'сами по себе' => декаузатив); *Двери открывались* ('кем-то' => пассив; 'сами по себе' => декаузатив)[7]. Однако так же несомненно и то, что существо декаузатива – не в выдвижении объекта, а *в устранении субъекта-каузатора* [Падучева 2001].

Принимая во внимание глубокую интуитивную аналогию между декаузативом и пассивом, мы должны думать, что в отводе субъекта на второй план состоит и существо страдательности.

В-четвертых, как показал М. Сибатани ([Shibatani 1985: 830–837; Сибатани 1999]; ср. [Зельдович 2007]), в языках мира возможность пассивной трансформации напрямую зависит от агентивности подлежащего: чем оно агентивнее, тем скорее пассивизация окажется возможной, – а с другой стороны, зависимость между ее возможностью и уровнем пациенсности прямого дополнения (если оно вообще есть; напомним, что часто пассив образуется от *непереходного* предложения) хоть и наверняка существует (хотя бы потому, что высокоагентивное подлежащее называет участника ситуации, который в другом участнике вызывает изменения, то есть одновременно предполагает и наличие достаточно типичного пациенса; см. особенно [Dowty 1991]), но намного менее прозрачна, чем зависимость первая. Таким образом, пассивизация в большей степени «контролируется» свойствами субъекта, который, следовательно, и является ее «главным действующим лицом».

---

[6] Из западных работ близка к этой точке зрения статья [Arce-Arenales, Axelrod, Fox 1994], где общей чертой всех возвратных форм признается то, что подлежащее затронуто действием. Применительно к страдательному залогу это значит, что подлежащее объектно, а объект – «подлежащен». Это не совсем то, что предлагает Н.В. Перцов, но ориентация на определение пассива с точки зрения свойств не субъекта («бывшего» подлежащего), а «нынешнего» подлежащего (объекта) здесь точно та же.

[7] Об этом сходстве см. особенно [Siewierska 1984: разд. 2.3].

В-пятых, для трактовки пассива как повышения ранга объекта не очень приятно то обстоятельство, что в ряде языков пассив оказывается вежливой формой [Shibatani 1985: 830–839, особ. 829 и 837–839]. Дело здесь в том, что агенс *не называется прямо*, то есть *понижается в ранге* (известно, что уклонение от прямого упоминания людей – одна из широко распространенных стратегий вежливости).

Разумеется, можно утверждать, что понижение агенса в ранге – только *сопутствующее обстоятельство*: существо пассива в повышении ранга объекта, а как только объект становится подлежащим, субъект автоматически «теряет в весе» – и именно этот побочный результат эксплуатируется там, где у страдательного залога появляется оттенок вежливости. Однако такое рассуждение настораживает: получается, что явно периферийная «вежливая форма» пассива в своей деривации опирается на его *периферийное* семантическое свойство (понижен ранг субъекта). Такое объяснение *сложнее*, чем если мы свяжем эффект вежливости с *центральным* (а потому и прагматически более доступным) признаком страдательного залога, считая таковым как раз «демоцию» субъекта. Принять более сложное объяснение мы имеем право тогда, когда у него есть преимущество в предсказательной силе. Мы такого преимущества не видим.

В-шестых, если признать, что существо пассива заключено в повышении ранга объекта, то ниоткуда не следует, что субъект должен стать именно сирконстантом, а не *обязательным* косвенным дополнением. Между тем принять во внимание факультативный характер субъекта при объяснении целого ряда явлений совершенно необходимо.

В частности, пассив плох там, где индивидуальность субъекта важна и этот субъект *нельзя мыслить обобщенно*.

Посмотрим на примеры ((23) и (26а) взяты из [Israeli 1997: 170, 181]):

(22) *Иваном поднимаются ('Иван может поднять') сто килограммов (ср. **Поднимают сто килограммов*).

(23) ??Мужем выясняется вопрос о поездке по Волге (ср.: **Выясняют вопрос о поездке по Волге*).

(24) ??Моя книга почитывается Иваном (ср.: ??*Мою книгу почитывают*).

(25) ??Ключи часто теряются сотрудниками лаборатории (ср.: ??*Ключи часто теряют*)[8].

(26) а. *Марки собирались Олегом (ср. действительный залог с опущенным субъектом: **Марки собирают*);

б. !Марки собраны в ящик Олегом (ср. !*Марки собрали в ящик*).

(27) а. *Эти факты понимаются учеными (ср.: ??*Эти факты понимают*);

б. !Эти факты понимаются учеными как свидетельство существования снежного человека (ср.: !*Эти факты понимают как свидетельство существования снежного человека*).

(28) а. *Экспонаты музея видятся туристами (ср. ??*Экспонаты видят*);

б. !Экспонаты музея осматриваются туристами (ср. !*Экспонаты осматривают*).

(29) а. *Симфония слышится публикой с большим удовольствием (ср. ??*Симфонию слышат*);

б. Симфония слушается публикой с большим удовольствием (ср. !*Симфонию слушают*)[9].

---

[8] Оба предложения в (23) гораздо лучше с другим порядком слов: ?*Вопрос о поездке по Волге выясняется мужем*; *Вопрос о поездке по Волге выясняют*. Почему так, мы не знаем. Оба предложения в (25) станут лучше, если с помощью оборота *у нас* или другого подобного обстоятельства хотя бы в первом приближении пояснить, *каков* может быть субъект: *Ключи у нас часто теряются*; *Ключи у нас часто теряют*. В обоих случаях для нас важно, что улучшение неопределенно-личной конструкции сопряжено с таким же улучшением пассива.

[9] Полезно помнить, что есть и более сложные примеры. Фраза *Жизнь понимается йогами как путь к самоусовершенствованию* правильна, хотя нельзя сказать ??*Жизнь понимается как путь к самоусовершенствованию*. Видимо, здесь к аномалии приводят посторонние факторы и потому важно только, чтобы соответствующее предложение без явного субъекта было приемлемо в *каком-то* – не обязательно именно таком – контексте. Здесь как раз так и обстоит; ср. правильное: *Если жизнь понимается как путь к самоусовершенствованию, то успех приходит сам собой*.

Здесь видно, что страдательный залог обычно удачен именно там, где удачно соответствующее неопределенно-личное предложение, то есть удачен, когда индивидуальностью субъекта можно пренебречь.

Если принять, что страдательная конструкция делает субъект (факультативным) сирконстантом, приведенные факты получат немедленное простое объяснение: субъект в страдательном предложении сирконстантен, а значит, может быть опущен – однако конкретный смысл аномальных предложений в ряду (22–29) такому опущению принципиально препятствует, и отсюда их аномальность. Если занять противоположную точку зрения и считать главным признаком пассива перевод объекта в подлежащее, то, повторим, синтаксическая факультативность субъекта этим не предопределяется: он может быть не факультативным, а *необходимым* дополнением. В таком случае, чтобы объяснить обсуждаемые примеры, надо признать, что при пассивной трансформации, *во-первых*, повышается синтаксический статус объекта, а *во-вторых* – понижается в статусе субъект. Это объяснение равносильно отказу от тезиса «пассив = продвижение объекта в позицию подлежащего» – в пользу тезиса о его синкретической, двоякой природе. О подходе этого типа мы скажем позднее, а здесь только заметим, что такое представление сложнее нашего «пассив = перевод субъекта в сирконстанты», но не имеет никакого преимущества в объяснительной силе (см. ниже, п. 3.3).

3.2. Сказанное вовсе не противоречит тезису, что в русском языке при переходе от действительного к страдательному залогу ранг объекта повышается. Во-первых, русский пассив почти всегда «повышающий», т. е. падеж объекта принудительным образом меняется с винительного на более «привилегированный» именительный. Во-вторых, то обстоятельство, что при пассивизации понижается ранг субъекта, едва ли могло бы быть достаточным *функциональным* мотивом для употребления страдательного залога: если субъект маловажен, то к услугам говорящего по-русски, как правило, есть неопределенно-личные предложения типа *Книгу читают* с формально не выраженным подлежащим. Отсюда видно, что русский страдательный залог будет употреблен, скорее всего, там, где говорящему *нужно* повысить ранг объекта. Таким образом, в тезисе «пассив = перенесение объекта в позицию подлежащего», безусловно, есть своя правда, только нужно понимать, что речь тут идет *о прагматических особенностях русского страдательного залога*, а не о сущности залога вообще.

Вести же разговор о залоге корректнее в более общих терминах, поскольку залоговая оппозиция есть в огромном числе разнотипных языков (см. особенно [Siewierska 1984; 2005]), и, определяя ее применительно лишь к отдельным языкам (напомним здесь, что объект повышается в ранге далеко не везде, см. выше), мы упустим важную генерализацию.

3.3. Напоследок скажем еще об одном вообразимом решении проблемы, с которым мы тоже не хотим согласиться.

Помимо рассмотренных нами теорий залога, есть и теория синтетическая: категория залога устроена по принципу прототипа, так что в общем случае речь должна идти не об «абсолютной» страдательности (или ее отсутствии), а том, насколько данное предложение близко к соответствующему прототипу, который включает в себя одновременно и понижение ранга субъекта, и продвижение объекта в более привилегированную позицию, и его топикализацию [Shibatani 1985].

Однако из всего нами изложенного вытекает, что превращение субъекта в сирконстант – это не факультативная, а *необходимая* черта пассива; с другой стороны, помещение объекта в позицию подлежащего обязательным не является, но «сирконстантизацией» субъекта лишь с высокой вероятностью имплицируется.

Далее, если в прототипическом случае страдательный залог служит еще и топикализации (см. особенно [Shibatani 1985: 830]), то есть облегчает анафорическое или иное связывание ставшего подлежащим объекта с предыдущим текстом (поскольку именно подлежащее – самый доступный для такого связывания член предложения), то эта черта – лишь следствие (причем, очевидным образом, необязательное; ср. контрпример *Нашей лабораторией проведены сенсационные исследования* с нетопикальным

подлежащим)[10] той синтаксической привилегированности объекта, которая сама предопределяется уходом агенса на второй план.

Таким образом, даже если мы условимся применительно к страдательному залогу говорить о прототипе, необходимо добавить, что организован он достаточно строго: есть *непременная* черта (понижается ранг субъекта), и есть две черты, которые могут появиться как ее следствие (что признает и сам М. Сибатани [Shibatani 1985, особ. 830]). Эта картина настораживает. В большинстве случаев черты прототипа друг от друга не зависят или зависят весьма опосредованным образом. Скажем, для прототипической птицы, которая летает, и величина ее, условно принимая, не меньше, чем у воробья, и не больше, чем у орла, способность летать и определенные размеры – это два *независимых* признака (если не углубляться в рассуждения о том, что при определенном соотношении между размером и весом становится трудно летать и т. п., – в рассуждения, которые наивный носитель языка вести не очень склонен).

В свое время, выступая против безоглядного постулирования прототипов, А. Вежбицкая показала, что если многообразные черты какого-то предмета все с той или иной долей вероятности выводимы из одного его свойства, то именно последнее необходимо и достаточно учесть в соответствующей дефиниции. Разумеется, к ней иногда полезно дать добавления в духе «что еще можно сказать о предмете», но их теоретический статус заведомо ниже, чем у главной части определения [Wierzbicka 1985].

Учитывая эти обстоятельства, определять страдательный залог в терминах прототипа представляется излишним – ибо ориентированная на инвариант формулировка «смысл пассива в том, что понижается ранг субъекта» объясняет интересующие нас факты не хуже, зато выигрывает в простоте и определенности.

**4.** Итак, в страдательном залоге субъект «подавляется», представляется как такой участник ситуации, который легко может оказаться «за кадром», причем это не побочное следствие каких-то *иных* синтаксических передвижений, которым теоретически можно пренебречь, а само *существо* пассивной трансформации.

Это значит, что наряду с пассивной конструкцией вида *OVS*, то есть с эксплицированным субъектом, применительно к данной ситуации уместна и конструкция вида *OV* – с субъектом неэксплицитным. Иначе говоря: ***ситуацию, которую можно назвать полной страдательной конструкцией OVS, можно назвать и соответствующей редуцированной конструкцией OV***. Если исключения из этого правила есть, то они всегда имеют *постороннюю* мотивацию, как, например, отсутствие необходимого антецедента во фразе **Собраны свои вещи* (от *Иваном собраны свои вещи*).

Однако возможность одновременно и эксплицитного, и имплицитного субъекта противоречит свойствам, которые имел бы в таких конструкциях совершенный вид.

**5.** Сначала поясним, как мы себе представляем значение совершенного вида вообще и каковы конкретные типы его употребления.

Разумеется, вести речь о типах употребления синтетических личных форм СВ можно с полным правом только применительно к корректным конструкциям, то есть применительно к действительному залогу. Однако поскольку, за вычетом актуально-длительного варианта, который, по крайней мере, неловок или вообще исключен [Gerritsen 1990: 7–8, 25–26, 131 и др.], в синтетическом пассиве *несовершенного* вида наблюдаются стандартные типы употребления, характерные и для соответствующих активных форм (многократный: *Каждый раз, когда эта книга кем-то читается...*; имперфектный (общефактический): *Эта книга кем-то уже читалась*; потенциальный: *Эта кодировка компьютером читается, а эта – нет*), – постольку и от совершенного вида в синтетическом пассиве – будь он приемлем – разумно было бы ожидать *тех же самых* типов употребления, что и в соответствующих конструкциях действительного залога.

---

[10] В работе [Noonan 1994] показано, что ирландская структурно пассивная конструкция вообще *никогда* не служит топикализации – а если топикализация объекта необходима, то используется *функционально* пассивная модель, которая *структурно не страдательна*.

По нашему мнению, основным и инвариантным значением совершенного вида является единичность, а именно – единичность данной ситуации в некотором множестве ситуаций (этим не исключается множественность *самих таких множеств*, то есть благоприятным образом не исключаются примеры с наглядно-примерным СВ, типа *...всегда придет и нагрубит*). При этом несовершенный вид (который здесь нас специально не интересует) всегда указывает на ту или иную *множественность* ситуаций.

Как мы показали в [Зельдович 2002а; 2002б], такой подход позволяет справиться с огромным числом классических для аспектологии трудностей, в частности, а точнее в первую очередь, объяснить, почему и как возникают отдельные типы употребления видов[11].

Что касается типов употребления совершенного вида, то, помещая соответствующую ситуацию во множество ситуаций, мы должны мыслить как минимум еще одну ситуацию, с ней *соотнесенную*.

Для прошедшего времени очевидны три возможности.

Во-первых, это «цепное» употребление, когда два глагола (из которых, по крайней мере, один – совершенного вида) обозначают два следующих одно за другим или, реже, одновременных однократных события, например: *Я вошел и зажег свет*; *Иван совершил грубый промах и чувствовал стыд*.

Во-вторых, это «соотносительно-кратное» употребление, по сути, та же цепь событий, но – повторяющихся, как, например, в предложении *Иван всегда так: ушел – и забыл погасить свет*.

В-третьих, это перфектное употребление, как в *Я сварил суп* => ‘для говорящего в момент речи (или в другой явствующий из контекста опорный момент; чтоб не утяжелять изложение, всюду, где не оговаривается иное, считаем, что это момент речи; см. [Падучева 1996: 12–15 и мн. др.]) важен результат действия (скорее всего, важно, есть ли суп; в отсутствие противоречащего контекста это, скорее всего, значит, что суп есть)’ (подробнее о перфекте см. ниже).

**Пояснение 1.** Выбор между перечисленными возможностями обычно управляется достаточно простой логикой. Когда подходящая ситуация дана в контексте прямо, то, по принципу экономии мыслительных усилий, на роль соотнесенной выбирается именно она. Так обстоит в цепном и соотносительно-кратном употреблениях СВ. Если такой ситуации нет, выбирается следующая по доступности ситуация, то есть *ситуация речи*, присутствие которой всегда гарантировано самим актом нашего говорения. Так возникает перфект с его вниманием к тому, что есть в момент речи.

**Пояснение 2.** Разумеется, иногда эта логика может усложняться. Если два события укладываются в цепь, то одновременно у них обоих или у одного из них может быть результат, который актуален в момент речи, то есть цепное и перфектное употребление могут быть совмещены; например, фраза *Я вошел и зажег свет* может значить ‘я нахожусь в данном помещении; там (мною) зажжен свет’, то есть два действия представлять не просто в их последовательности, но еще и каждое – в своем результате. Важно не то, что приведенные интерпретации совершенного вида друг друга исключают (это просто неверно), а лишь то, что для удачного употребления СВ необходим *хотя бы один* из приведенных смыслов. Очевидно, в цепи перфектное смысловое «приращение» с точки зрения собственного значения СВ не обязательно и будет возникать лишь там, где это отчетливо подсказывается контекстом. (А если цепи нет, как в *Я зажег свет*, перфект практически неизбежен.)

**Пояснение 3.** Термином «перфект» часто называют не только интересующее нас значение совершенного вида, но и синтаксическую модель, по которой построены кон-

---

[11] Наш *тип употребления* приблизительно соответствует более традиционному понятию частных видовых значений, от которого мы предпочли отказаться, ибо, по нашему мнению, все эти значения не представляют самостоятельных феноменов и хоть и сложным, но предсказуемым путем выводимы из видовых инвариантов, а с понятием частных значений довольно прочно связана противоположная коннотация – их несводимости к инварианту; см. [Зельдович 2002а; 2002б].

струкции типа *Книга (была) написана Иваном* (ясно, что эта конвенция скорее ориентирована на форму, а не на значение; ср. хотя бы так называемый экпериенциальный перфект вроде *Эта работа уже когда-то была сделана*, который по смыслу ближе к общефактическому несовершенному виду). Во избежание путаницы такие конструкции именуются ниже просто аналитическим пассивом.

**6.1.** Принципиально, что первые две возможности (возможность цепного и возможность соотносительно-кратного употребления) для страдательного залога исключены по очень простой причине. В обоих случаях два события друг с другом соотнесены, причем очевидно, что само их взаимосоположение во времени еще полноценной соотнесенности не дает: будь так, оказались бы безукоризненно правильны предложения вроде *?Иван пролил молоко и выглянул на улицу*; *?Иван всегда так: ушел – и позвонил приятелю*, однако принять их можно только в том случае, если мы домыслим (или контекст подскажет) для двух соотнесенных ситуаций какую-то *более содержательную* связь.

Реально эта связь в интересующих нас конструкциях бывает одного из двух типов – причинная (*Я вошел и зажег свет*; *Иван совершил грубый промах и чувствовал стыд*) или противительная (*Иван совершил грубый промах и не чувствовал стыда*; *Иван всегда так: ушел – и забыл погасить свет*).

Напомним: страдательный залог требует, чтобы ситуацию, которую можно назвать полной страдательной конструкцией *OVS*, можно было назвать и соответствующей редуцированной конструкцией *OV*.

Можно ли опустить субъект, если глагол употреблен по цепному или соотносительно-кратному типу? Разумеется, нет – потому что опущение какого-либо участника ситуации может быть безразлично в чисто денотативном плане (имея в виду одну и ту же ситуацию, мы можем сказать и *Иван убил Петра топором*, и *Иван убил Петра*, и *Петра убили*, и *Что-то произошло*, то есть каждый следующий редуцированный вариант может относиться к тому же факту действительности, что и предыдущий), но далеко не безразлично для ее причинно-следственных и противительных связей. Скажем, фраза *Ивана будут судить, потому что он убил Петра* связна даже в нулевом контексте, а фраза *Ивана будут судить, потому что Петра убили* приобретет связность, только если сделать дополнительные и неочевидные предположения (например, Иван должен был охранять Петра, либо Иван – единственный, кто вообще мог убить, и т. п.). Контраст, который есть в предложении *Иван читает книгу о бабочках, а Петр книгу о пчелах*, исчезает (и его отсутствие приводит к аномалии) в редуцированном **Иван читает книгу, а Петр книгу*. Если редуцировать противительное предложение *Иван читает книгу о бабочках, а Петр статью о пчелах* до *Иван читает книгу, а Петр статью*, то правильность оно сохранит, однако характер контраста станет совершенно иным.

Все это значит, что если бы в предложении страдательного залога совершенный вид употреблялся по цепной или соотносительно-кратной модели, то при опущении субъекта первоначальные причинно-следственные или противительные связи между данной ситуацией и другой ситуацией, с которой она соотносится, могли бы быть *искажены*. Следовательно, это была бы уже *не та самая* ситуация, которую обозначает форма с эксплицитным субъектом, и, таким образом, было бы нарушено необходимое для употребления пассива условие.

Отсюда вытекает, что ни цепное, ни соотносительно-кратное употребление совершенного вида в интересующих нас конструкциях не допустимо, и такой вариант мы можем далее не учитывать.

6.2. Сразу сделаем важное пояснение. Против сказанного как будто можно возразить: разве не сталкиваемся мы с вполне корректным цепным и соотносительно-кратным употреблением глагола в страдательном залоге аналитического типа – в примерах наподобие *Книга написана и сдана (...и сожжена)*; *У Ивана так: написана книга – и тут же сдана*?

Ответить можно так. Вообще и идея цепи, и идея кратной соотносительности не обязательно должны передаваться аспектуальными средствами (ср. несовершенный вид:

*Цезарь приходит в Галлию и пишет...*; *Иван всегда так: приходит – и тут же убегает*; ср. безглагольные предложения: *Она сперва в парикмахерскую, потом в химчистку*; *Она всегда так – сперва чай, потом суп*). Там, где глагол совершенного вида выступает в действительном залоге, идея цепи и идея кратной соотносительности передаются, среди прочего, *самим этим глаголом*, а в примерах из предыдущего абзаца – *только его окружением*.

Как мы уже говорили, три перечисленных выше типа употребления СВ – «цепной», соотносительно-кратный и перфектный – выводимы из его инвариантного значения, поэтому цепное и соотносительно-кратное употребление совершенного вида – это не просто контекстный эффект, но *манифестация его собственных семантических свойств*.

Что касается форм наподобие *Книга написана*, *Книга была написана*, то они от синтетического действительного совершенного вида отличаются весьма зримо (из огромной литературы см., например [Маслов 1983]). Во-первых, у этих форм есть *три* времени, а не два, что уже уподобляет их формам *несовершенного* вида. Это не удивительно, ибо вершиной таких форм является глагол *быть*, который к совершенному виду никак не относится. Во-вторых, эти формы по значению часто похожи на имперфектное (общефактическое) употребление все того же *несовершенного* вида; например, для *На защите диссертации выяснилось, что такая работа была уже сделана* вполне убедительна перифраза *...такую работу уже делали*; для *Я заступил на дежурство вечером. Больной уже был осмотрен* – перифраза *...Больного уже осматривали*. В-третьих, многие употребления интересующей нас формы, по крайней мере, похожи на *многократный* НСВ; ср. *Каждый раз, когда сделана работа (больной уже осмотрен), происходят нелепости*. В-четвертых, даже там, где рассматриваемые формы ближе к перфектному совершенному виду, ни о каком тождестве не может быть и речи.

Перфектный СВ показывает, что для говорящего (либо для кого-то другого, на чью точку зрения говорящий становится) *важно*, имеется ли результат действия в момент речи. При этом, с одной стороны, наличие результата никак не гарантируется (*Иван построил себе дом* можно произнести и тогда, когда говорящий не знает, цел этот дом или нет), но с другой стороны, если контекст не мешает такому пониманию, перфектный СВ обычно понимается в смысле ‘результат есть’. Так, для последнего примера в нейтральном контексте наиболее вероятна интерпретация ‘дом есть’; для *Я сварил суп* – интерпретация ‘имеется суп’.

Что касается аналитического пассива, то в *настоящем* времени он *всегда и неукоснительно значит, что результат налицо*. Если дом снесли, то нельзя сказать *Дом построен*; если суп съели – плохо *Суп сварен*; если результаты работы уничтожены – аномально *Работа сделана*. Таким образом, перфектным значение этой формы считать ни в коем случае нельзя, ибо в перфекте результат вероятен, но не обязателен.

Аналитический пассив *прошедшего* времени тоже радикально отличается от перфекта, но уже тем, что последний результативное прочтение делает хоть и не обязательным, но *предпочтительным*, а первый в этом плане совершенно *нейтрален*. Фразы типа *Дом был построен*; *Суп был сварен*; *Работа была сделана* на наличие результата в момент речи даже не намекают. Ср. малосвязные тексты: *Дом был построен.* ??*Теперь его заселяют*; *Суп был сварен.* ??*Прошу к столу* (хотя правильно: *Дом построили, теперь заселяют*; *Суп сварили. Прошу к столу*).

Все это значит, что основное значение аналитических форм от значения совершенного вида в синтетической действительной форме *принципиально отлично* и что постулировать для них инвариант, подобный инварианту совершенного вида в действительном залоге, никоим образом нельзя. Каким бы ни был их собственный инвариант (если таковой найдется), ниоткуда не следует, что он сам по своей природе при определенных условиях будет требовать (а не просто ее допускать) цепной и соотносительно-кратной конкретизации.

Иными словами: если мы имеем дело с аналитическим пассивом типа *Книга написана и сдана*, то цепное и соотносительно-кратное значения – это всего лишь «*контекстные наслоения*» и, избавившись от ситуации, с которой интересующая нас си-

туация соотносится (скажем, сократив *Книга написана и сдана* до *Книга написана*), мы останемся *при той же самой* ситуации, ибо собственное значение слова *написана* соотнесения с *сдана* никак не требует. Будь же здесь употреблен синтетический пассив (типа **Книга написалась и сдалась*), который, как мы заключаем по аналогии, имел бы аспектуальные свойства действительного залога, то, игнорируя соотнесенную ситуацию или изменяя характер соотнесения, мы откажемся от чего-то такого, что в данном контексте предопределяется *значением соответствующего глагола*, то есть данная ситуация станет *не той, какая была*.

Именно поэтому при цепном и соотносительно-кратном употреблении в страдательном залоге синтетический пассив на *-ся* должен оказаться аномальным, а аналитический пассив – нет.

6.3. В итоге наших рассуждений единственно мыслимым для конструкций типа **Книга написалась Иваном* оказывается *перфектное* употребление глагола – употребление, при котором возникает импликатура

(30) ‘в момент речи важно что-то, что связано с названной ситуацией’, которая обычно доосмысляется до более конкретного,

(31) ‘в момент речи важен тот или иной результат соответствующего действия (события)’[12].

Результат надо понимать в самом широком смысле. В простейшем случае это «типовой», наиболее прямой результат соответствующего действия или события, например, для *Маша сварила французский суп* – наличие супа в момент речи, но под влиянием контекста идея результата способна принимать и другие, иногда весьма туманные формы. Так, при дополнительных предположениях приведенная фраза может подразумевать результаты ‘говорящему или кому-то еще теперь известно, что Маша умеет варить французский суп’, ‘Маша выиграла пари, что сварит французский суп, и ей причитается награда’ и т. д. Более того, хотя в огромном большинстве случаев использование перфектного совершенного вида означает, что результат действительно есть, иногда его может *и не быть*: тогда смысл совершенного вида только в том, что для говорящего *важно*, есть или нет результат в момент речи; ср.: *Я прочел эту книгу, но ничего ровным счетом не помню*.

Для нас особенно существенно, что тот или иной результат действия может быть *напрямую связан с индивидуальностью субъекта* – с тем, что субъект у действия именно *этот*, а не какой-то другой (говоря более точно, результат может состоять в том, что *на действии* лежит отпечаток индивидуальности субъекта, либо в том, что действие приводит к каким-то значимым переменам в «*собственной истории*» субъекта). При тематическом субъекте такой случай ощутимо маркирован: чтобы, например, понять (нейтрально интонированную) фразу *Маша сварила французский суп* в «субъектно ориентированном» смысле ‘говорящему или кому-то еще теперь известно, что Маша умеет варить французский суп’ или ‘Маша выиграла пари, что сварит французский суп, и ей причитается награда’, необходим специфический, ненулевой контекст. С другой стороны, при рематизации субъекта осмысление ‘субъект важен’ становится немаркированным и практически обязательным.

Так в предложении

(32) Французский суп сварила Маша

(здесь и ниже принимаем, что подчеркнутые фрагменты являются ремой) наверняка имеется в виду либо ‘Маша заслуживает похвалы (благодарности и т. п.; может быть – и порицания)’, либо ‘французский суп уже не надо варить никому другому’, либо ‘Маша

[12] Добавим, что импликатурный характер перфекта признается не только нашей, но и практически всякой другой аспектологической теорией. Обратим внимание, что в ситуациях, когда несовершенный вид заведомо неприемлем и видовая оппозиция «вырождена», потенциально перфектный совершенный употребляется без тени перфектного значения. Например, ввиду неповторимости действия нельзя сказать **Пушкин рождался в 1799 году*. Поэтому во фразе *Пушкин родился в 1799 году* какой-либо интерес к наличию или отсутствию результата в момент речи усмотреть нельзя. В дальнейшем импликатурность перфектного значения будет весьма важна.

имеет обыкновение класть в суп все овощи, какие есть под рукой, так что уже не удастся приготовить овощной салат', либо что-то еще менее привычное, – но *в любом случае* этот результат связан именно с данным производителем действия и, выполни последнее не Маша, оказался бы иным. Аналогичен пример

(33) (Я получил письмо). Его написала девочка,

где подразумевается, что либо уже по самому письму (по содержанию, стилю, почерку и т. п.) видно, *кто* его писал, либо для говорящего почему-то важно, от кого именно он получил письмо.

Для интерпретации совершенного вида такая «субъектно ориентированная» результативность принципиально важна.

Мы не хотим сказать, что смысл 'в связи с данным действием для говорящего в момент речи важна индивидуальность субъекта' имеется *только* в предложениях с совершенным видом глагола. При несовершенном виде он тоже возникает, ср.:

(34) Французский суп варила Маша.

(35) Письмо писала девочка, –

и, заметим, возникает при рематизации субъекта в безвидовых языках.

Особенность совершенного вида здесь в том, что его перфектное употребление с необходимостью *требует* интерпретации в духе 'в момент речи важно что-то, что связано с названной ситуацией' (см. выше п. 5) и эта потребность как раз и удовлетворяется за счет независимо возникающего, заведомо присутствующего в контексте смысла 'в связи с данным действием для говорящего в момент речи важна индивидуальность субъекта'.

Это значит, что «обычный», не ориентированный на индивидуальность субъекта перфектный смысл уже *не нужен*, чтобы успешно употребить совершенный вид, и потому должен стать *сугубо необязательным*.

О том, что это действительно так, свидетельствует несколько фактов.

Когда не задан особый контекст, заставляющий нас интересоваться особыми, *не непосредственными* результатами соответствующих действий, предложения типа *Маша сварила французский суп*; *Девочка написала письмо* мы воспримем как, соответственно, сообщение о наличии супа и наличии письма[13]. Если кто-то произнес такие предложения, а супа и письма в момент речи нет, допустимо утверждать, что он сказал неправду или во всяком случае пытался ввести адресата в заблуждение, либо что неудачно выразил свою мысль. Если в таком же нейтральном контексте произнести предложения с рематическим субъектом *Французский суп сварила Маша* или *Письмо написала девочка*, наличие супа и письма будет вероятным, но вовсе не обязательным, так что никакое из названных обвинений предъявить говорящему скорее всего нельзя.

Аналогичным образом, фразу *Окно разбил Иван* уместно произнести и тогда, когда окно уже застеклили, а результат состоит только в том, что Ивана надо наказать, осудить и т. п.

О том же самом говорят и примеры (36–39):

(36) Если Иван говорит, что Маша сварила французский суп, пусть покажет этот суп.

(37) Если Иван говорит, что девочка написала письмо, пусть покажет это письмо.

(38) ?Если Иван говорит, что французский суп сварила Маша, пусть покажет этот суп.

(39) ?Если Иван говорит, что письмо написала девочка, пусть покажет это письмо.

Почему неловки последние два предложения? Очевидно, не потому, что само желание увидеть суп или письмо здесь неоправданно (ибо говорящий, посмотрев на суп, в

[13] Ниже, если не очевидно иное, мы будем ориентироваться именно на случай, когда к интерпретации перфектного СВ не примешиваются контекстные факторы. Из уже сказанного должно быть ясно, что при особом контексте наше представление о перфекте конкретного глагола может меняться в неограниченных пределах, так что учет соответствующего материала вылился бы в большую самостоятельную работу.

принципе может сам убедиться, кто его варил, а посмотрев на письмо, – кто его писал), а потому, что здесь наличие супа и письма хоть и вероятно, но отнюдь не гарантировано – а императивом *Пусть покажет...* нормально предполагается, что соответствующий объект *есть*.

Разумеется, примеры можно умножать: *Если Иван говорит, что Петр сделал заказанную работу, пусть покажет эту работу*; ?*Если Иван говорит, что работу сделал Петр, пусть покажет эту работу* и т. д.

Далее, предложение

(40) ?Мое свадебное платье сшил (=> шил) лучший портной,

будучи употреблено самостоятельно, оказывается, по крайней мере, неловким, но вполне приемлемо в контексте

(41) Посмотрите на мое свадебное платье. Его сшил лучший портной.

Здесь не место обсуждать, почему именно так, важно только, что о непосредственном, предопределенном семантикой глагола результате в (41) *говорится прямо*. Если бы он глаголом совершенного вида отчетливо подразумевался, возникла бы плеонастическая аномалия точно такого рода, как в ??*Маша сварила суп, и притом суп есть*.

Наконец, имеются случаи, когда обычный перфектный результат и результат «субъектно ориентированный» друг другу откровенно противоречат.

Сравним предложения:

(42) Заместитель начальника, у которого вовсе нет таких полномочий, уволил Ивана.

(43) Ивана уволил заместитель начальника, у которого вовсе нет таких полномочий.

Если в контексте нет на этот счет дополнительных указаний, то предложение (42) – предложение без рематизированного субъекта – скорее всего значит, что Иван перестал числиться в штате и не числится по настоящий момент, то есть, хоть и не имея таких прав официально, фактически заместитель начальника в полном – и притом перфектном! – смысле *совершил акт увольнения*.

Фразу (43), где субъект рематизирован, естественно понять совсем иначе – как сообщение об изначальной неправомочности увольнения (то есть, хотя Иван уже не числится в каких-то документах, этот факт лишен юридического значения) и/или о том, что акт увольнения уже упразднен.

Как видим, прямой перфектный результат и результат, связанный с субъектом, в данном случае просто несовместимы.

Такую же несовместимость можно увидеть и в примерах

(44) Маша варила суп, так что овощей в доме не осталось.

(45) Суп варила Маша, так что овощей в доме не осталось.

Здесь характер перфекта зависит от дополнительных контекстных предположений, а именно: фраза (44) предполагает стереотип ‘если варят суп, то в него кладут все овощи’, а фраза (45) – стереотип ‘Маша отличается от кого-то другого тем, что если она варит суп, то кладет все овощи’. Ясно, что второе предположение касается именно Маши и ее *отличия* от других, кто варит или мог бы варить суп и при этом *не кладет* или *не клал бы* в него все овощи – и потому *несовместимо* с предположением первым, а значит, не могут здесь совмещаться и результаты двух обсуждаемых типов.

Из изложенного следует, что если в предложении действительного залога выступает глагол совершенного вида и субъект рематичен, то перфектность совершенного вида реализуется как внимание – в связи с данным действием – к индивидуальности субъекта, а внимание к обычному результату данного действия вполне вероятно, но ничем не гарантировано.

**7.** Вернемся к нашему основному предмету – страдательным конструкциям с совершенным видом на *-ся*.

Если взять случай, когда субъект в таких конструкциях рематичен (вроде **Книга написалась Иваном*), то причина их аномалии в свете сказанного совершенно прозрачна. В значении такого предложения должен присутствовать *субъектно ориентированный*

перфектный результат, а «стандартный» перфектный результат ничем не гарантирован. Если мы опустим субъект, то в предложении неизбежным образом будет подразумеваться уже «стандартный» результат (каков бы он ни был в деталях), а это значит, что такое предложение с эксплицитным субъектом и такое предложение без эксплицитного субъекта называют *разные ситуации*.

Поскольку же пассив предполагает, что *ту же самую ситуацию можно мыслить в отвлечении от субъекта (не эксплицируя субъект)*, постольку употребить страдательный залог в этих условиях нельзя.

**8.1.** Что касается предложений, где позиция субъекта не финальная и не ударная (ср. **Иваном написалась книга*; **Иваном книга (в конце концов) написалась*; **Нашей фирмой построилась дорога*; напомним, что интонация везде предполагается нейтральной. Мы сказали «не финальная и не ударная» потому, что называть эту позицию *тематической* неверно, см. чуть ниже), то к такому случаю наши рассуждения – несколько неожиданным образом – тоже полностью приложимы.

У нас есть три аргумента.

8.2. Первый из них – общего и слегка умозрительного характера. Хорошо известно (см., например [Givón 1982: 154]), что в языках самого разного строя коммуникативная парадигма страдательного залога (как это и вообще закономерно для парадигмы маркированного члена в оппозиции) обычно беднее, чем парадигма действительного. Если предположить, что это верно и для русского языка, и учесть несомненную возможность и тематизации объекта в пассиве, и его рематизации, а также то, что глагол и в активе, и в пассиве приблизительно одинаково тяготеет к рематичности, то остается сделать вывод, что субъект в пассиве, скорее всего, окажется неизменно рематическим, чем и будет обеспечена ожидаемая неполнота коммуникативной парадигмы.

8.3. Далее, даже если субъект в страдательных высказываниях наподобие *Иваном написана книга* признать тематическим, это будет тема совсем не того же типа, что в соответствующем активе (вроде *Иван написал книгу*). Это особенно наглядно при попытке такие высказывания контекстуализировать. Ср.:

(46) – Что можно сказать об Иване?
– (Что) Иван написал отчет.
– ?(Что) Иваном написан отчет.

(47) – Каковы успехи в работе?
– Иван написал отчет.
– Иваном написан отчет.

(48) – Что можно сказать о Маше?
– (Что) Маша сварила вкусный суп.
– ?(Что) Машей сварен вкусный суп.

(49) – Как обстоит с обедом?
– Прекрасно, Маша сварила вкусный суп.
– Прекрасно, Машей сварен вкусный суп.

Из этих примеров видно, что пассив хорош, если у него имеется некая *супертема*, не совпадающая с его субъектом: в этом случае успехи данной организации в работе или перспектива хорошего обеда (ясно, что актив тут нейтрален: он допускает контекстуализацию и по линии субъекта, и через такую же супертему).

Обратим внимание, что супертема должна быть весьма *конкретной*, а не, так сказать, «параметрической». Это не может быть просто *работа* или просто *вопрос об обеде*. Если в диалоге

(50) – Как обстоит с обедом?
– Прекрасно. Машей сварен вкусный суп

опустить слово *Прекрасно*, то возникнет ощущение лакуны: адресат должен будет сам домыслить, что супертема – не просто *обед*, но то, что *обед обещает быть очень хорошим*. Аналогично, если вместо вопроса об *успехах* в работе мы просто поинтересуемся *Как **обстоит** с работой?*, то ответ *Иваном написан отчет* будет менее естествен, хуже сообразован с вопросом, чем действительный залог *Иван написал отчет*.

Таким образом, интересующая нас супертема не просто задает определенное пространство возможностей (типа ‘как обстоит с работой’ или ‘как обстоит с обедом’), но предполагает некое вполне *конкретное знание* – знание, что на работе имеются *успехи*, либо, наоборот, *неприятности*, что обед будет *хорошим*, либо, наоборот, *плохим* и т. п.

Помня об этом обстоятельстве, посмотрим на другие подтверждающие необходимость супертемы примеры:

(51) Повара этого ресторана готовят экзотические блюда.

(52) Поварами этого ресторана готовятся экзотические блюда.

(53) Повара этого ресторана готовят несъедобную дрянь.

(54) ?Поварами этого ресторана готовится несъедобная дрянь.

Действительный залог здесь тоже нейтрален (ср. одинаково приемлемые фразы (51) и (53)), а страдательный нет. В отличие от безоговорочно приемлемого (52), предложение (54) допустимо только при дополнительном контексте типа *Вы только подумайте*: *поварами этого ресторана готовится несъедобная дрянь*; *Немыслимо, что поварами этого ресторана готовится несъедобная дрянь*. Очевидное объяснение этому контрасту состоит в том, что конструкция (52) может предполагать супертему наподобие ‘ресторан хороший’, то есть супертему с позитивными коннотациями. Для (54) наиболее вероятная супертема – нечто в духе ‘происходят возмутительные вещи’. Как хорошо известно, позитивный сценарий событий мы часто предполагаем по умолчанию, а сценарий, который нас не удовлетворяет, – нет[14]. Поэтому фраза (54) и требует прямого предварительного указания на возмущение говорящего.

Такого же типа контраст в примерах

(55) Этой фирмой построена новая дорога.

(56) ?Этой фирмой построена негодная дорога,

где для первого предложения супертему легко угадать (допустим, ‘каковы успехи фирмы’ или ‘каковы достижения в дорожном строительстве’), а для второго, если мы хотим корректно его употребить, супертема вроде ‘эта фирма не заслуживает доверия’ должна быть эксплицирована.

Странность фраз

(57) ?Ланцелотом был убит дракон.

(58) ?Здесь фараоном Снофру была построена пирамида

объяснима тем, что тут крайне трудно найти подходящую супертему. (По-видимому, причиной является высокий ранг субъекта: сам субъект – слишком сильный претендент на тематическую роль, чтобы какая-то другая, тем более имплицитная (супер)тема могла с ним соперничать.)

Та же гипотеза о необходимости в пассиве супертемы подтверждается примерами наподобие

(59) Иван не написал отчет, его надо наказать.

(60) Иваном не написан отчет, ??его надо наказать.

(61) Иваном не написан отчет, !это грозит неприятностями (для нас всех).

Говоря абстрактно, если тот или иной актант предыдущего предложения (особенно – актант одушевленный, занимающий на шкале топикальности высшее место) тематичен, то он может стать и темой предложения следующего (ср. пример (59)). Однако в пассиве так не происходит: темой второго предложения здесь может стать домысленная *супер-*

---

[14] Достаточно сказать, что если какое-то событие заведомо нежелательно и о нем в тексте говорится впервые, то соответствующий глагол почти никогда не будет тематическим, то есть не будет выступать в той части предложения, где говорится о саморазумеющихся вещах. Вот примеры, которые в несколько иной связи рассматривает Е.В. Падучева [2004: 500] (интонация нейтральная!): *Отопление включено (*отключено) неделю назад*; *Телега починена (*сломана) вчера*; *Магазин открыт (*закрыт) час назад*. Как пишет Е.В. Падучева, в подобных случаях «позитивные состояния совместимы с временным показателем в большей степени, чем негативные» [Там же]. Это вполне предсказуемо, ибо здесь обстоятельство (*неделю назад*, *вчера*, *час назад*), так сказать, «вытесняет» глагол в тему, а такое естественно, только если глаголом называется «позитивная», «нормальная» ситуация.

*тема* (для (61) – нечто вроде ‘в работе имеются нелады’), но не может – непосредственно выступающий в предложении субъект (пример (60)).

Как же объяснить эту необходимость домысливаемой или явствующей из контекста супертемы в пассиве?

Как мы уже говорили, всякое высказывание должно иметь (неважно, явную или скрытую) *референциально определенную* тему, через которую оно «сцепляется» с языковым или ситуативным контекстом [Yokoyama 1986; Jaeger 2001]. Если хоть одна такая тема есть, то никакие дополнительные темы не обязательны (см. особенно вторую из названных работ). В таком случае приведенные факты свидетельствуют, что субъект в страдательных предложениях *темой не является*, а значит – является хоть и не совсем привычной с виду, но – *ремой*.

Дополнительным подтверждением могут служить примеры

(62) Повара – и приготовили несъедобную дрянь.

(63) Известная фирма – и построила негодную дорогу.

(64) ?Поварами – и приготовлена несъедобная дрянь.

(65) ?Известной фирмой – и построена негодная дорога.

Очевидно, конструкция вида *А – и сделал Р* является хорошим тестом на тематичность А. Поэтому примеры (62–65) показывают, что тематизация субъекта в пассиве весьма проблематична.

8.4. Наконец, независимо от того, будем ли мы считать субъект в пассиве типа *Иваном пишется книга* ремой (хотя логично думать именно так), несомненно, что индивидуальность субъекта здесь для говорящего намного важнее, чем в соответствующем активе (типа *Иван пишет книгу*), а именно: используя пассивную конструкцию, говорящий практически всегда имеет в виду, что либо индивидуальность субъекта отпечатлевается в особенностях действия, либо совершение действия каким-то заметным образом изменяет «жизненную историю» субъекта.

Рассмотрим по очереди оба эти варианта.

Вариант 1: индивидуальность субъекта отпечатлевается в особенностях действия. Сравним примеры:

(66) Иван написал статью, по которой совершенно не видно, кто ее писал.

(67) ??Иваном написана статья, по которой совершенно не видно, кто ее писал.

Чем объяснить их неодинаковую приемлемость? Вполне убедительный ответ состоит в том, что страдательное предложение *Иваном написана статья* не просто привлекает внимание к особенностям статьи, но и заставляет интересоваться, как в этих особенностях проявилась личность автора, – а контекст интересоваться этим, напротив, мешает. Действительное предложение *Иван написал статью* нейтрально: оно не исключает нашего интереса к ее особенностям, но при этом допускает, что особенностей, в которых бы проявилась авторская индивидуальность, нет.

Можно спросить, не состоит ли причина неловкости (67) просто в отсутствии эксплицитной супертемы, которая, как мы убедились, во многих случаях неловкие конструкции способна «спасти». По-видимому, нет. Признать правильным текст наподобие

(68) В редакции все разваливается. Петр устроил скандал, а Иваном написана статья, по которой совершенно не видно, кто ее писал

или несколько экзотический текст вроде

(69) У нас имеется единый стилистический стандарт. Вчера Иваном написана статья, по которой совершенно не видно, кто ее писал

допустимо только при условии, что признак ‘по статье не видно, кто ее писал’ оценивается как негативный или позитивный, но ни в коем случае не нейтральный. Между тем в принципе это отнюдь не обязательно: фразу (66) можно понять как упрек, как похвалу, как беспристрастную констатацию факта или как сообщение о недоумении говорящего, который не знает, оценивать ли это хорошо, плохо и оценивать ли вообще.

Таким образом, чтобы «спасти» конструкцию (67), нужна не только супертема (‘в редакции все разваливается’; ‘у нас имеется единый стилистический стандарт’), но и переосмысление самой этой конструкции – причем именно такое, при котором отсут-

ствие авторских примет стиля становится чем-то плохим или хорошим, то есть чем-то таким, в чем уже *можно* усмотреть отпечаток личности писавшего.

Странен и второй пример в следующей паре:

(70) Они там рассматривают пустячный вопрос.

(71) ??Ими там рассматривается пустячный вопрос.

Не улучшит фразу (71) даже введение супертемы типа *Они там пустозвоны...* Причина аномалии в том, что индивидуальность субъекта должна повлиять на характер действия, но о действии – словом *пустячный* – сказано нечто такое, что с представлением о его «личностной окраске» плохо совместимо (ср. правильное: *Ими там рассматривается важный вопрос*).

Если актер читает стихи, то в манере чтения обычно проявляется его индивидуальность, но индивидуальность священника стереотипно не проявляется в молитве. Отсюда контраст между (72) и (73):

(72) Актерами театра читались стихи Блока.

(73) ??Священником читалась молитва.

Какая эксплицитная супертема могла бы улучшить фразу (73), совершенно не видно. Похоже обстоит в примерах (74–75), где заведомо ослабленное влияние субъекта на характер действия мешает употребить пассив:

(74) Наши сотрудники разрабатывают проект новой дороги. В качестве образца используют давно разработанный типовой проект.

(75) ?Нашими сотрудниками разрабатывается проект новой дороги. В качестве образца используют давно разработанный типовой проект.

В паре предложений

(76) Маша сварила точно такой же суп, как Таня.

(77) Машей сварен точно такой же суп, как Таней

второе правильно, но при этом отчетливо маркировано и уместно, если только предполагается, что Танин суп в чем-то особенный и, повторив ее достижение (или – неудачу), Маша совершила нечто из ряда выходящее, то есть, вновь-таки, на супе отразилось, кто именно его готовил.

Далее, предложение

(78) Если бухгалтер допустил в отчете ошибку, то фирме придется платить штраф

совместимо и со стереотипом ‘если *кто-то* из фирмы допустил в отчете ошибку, то фирма платит штраф’, и со стереотипом ‘если *бухгалтер* ошибся, то фирма платит штраф’, а страдательное предложение

(79) Если бухгалтером допущена ошибка, то фирме придется платить штраф –

только со *второй* из этих предпосылок, то есть с той, которая предполагает особое влияние субъекта на характер действия и его последствия.

Если, допустим, министерство образования разработало подробный проект учебника математики, то в такой ситуации фразу

(80) Иван пишет (написал) учебник математики

наиболее естественно понять в том смысле, что Иван только *исполняет* (*исполнил*) определенное задание и что профессиональная индивидуальность Ивана в содержании учебника не отражается. С другой стороны, при таких же условиях страдательное предложение

(81) Иваном пишется (написан) учебник математики,

вопреки неблагоприятствующему контексту, скорее будет означать, что индивидуальность Ивана в учебнике все-таки *проявлена*.

Ту же закономерность иллюстрируют и следующие тексты:

(82) Новая фирма строит (построила) дорогу к городу. Можете себе представить, что нас ждет.

(83) Новой фирмой строится (построена) дорога к городу. Можете себе представить, что нас ждет.

Сама по себе кода обоих текстов *Можете себе представить, что нас ждет* по значению предельно туманна, всякая конкретизация оставлена тут на усмотрение адресата. Тем выразительнее контраст между интерпретацией этой фразы в (82) и в (83). Если

предположить нейтральную интонацию, при которой *новая фирма* тематична, то текст (82) скорее значит, что дурными последствиями обернется само *появление дороги*, а текст (83) – что неприятности будут связаны именно с тем, что строит или построила *новая фирма*: может оказаться низким качество работ, могут быть не учтены экологические требования и т. п.

Разумеется, если в тексте (82) *новую фирму* сильно акцентировать и этим перевести в рему, он тоже будет значить, что неприятности связываются с новизной фирмы. Для нас, однако, важно то, что в страдательном залоге даже при *не рематическом* субъекте – как в примерах (81) и (83) – действие все равно несет на себе отпечаток *этого* субъекта.

Все сказанное с некоторыми поправками относится и к абстрактным субъектам. Ср.:

(84) Эти рассуждения подтверждают известную истину, что...

(85) ?Этими рассуждениями подтверждается известная истина, что...

Фраза (85) улучшится, если сказать *Этими рассуждениями* ***еще раз*** *подтверждается известная истина, что...*, – улучшится потому, что в таком случае даже очередное подтверждение данной истины для нас значимо и чем-то существенным отлично от иных подтверждений, так что на *этом* подтверждении отпечатлеваются особенности *этих* рассуждений.

Как мы сказали, важность субъекта может иметь и другую манифестацию: не на действии отпечатлелась его личность, но само действие как-то сказывается на его дальнейшей «истории». В этом случае картина аналогичная: если естественно заинтересоваться собственной историей субъекта и тем, что *для него* изменилось в результате действия, но контекст делает такое изменение маловероятным, то действительный залог употребляется без натяжек, а страдательный неловок.

Рассмотрим тексты:

(86) Маша сварила суп, а Петя купил торт – так что оба отличились.

(87) Машей сварен суп, а Петей куплен торт – так что оба отличились.

(88) Маша сварила суп, а Петя купил торт – хотя их заслуги я в этом не вижу: оба сделали то, что были должны.

(89) ?Машей сварен суп, а Петей куплен торт – хотя их заслуги я в этом не вижу: оба сделали то, что были должны.

Финал каждого текста ориентирует наше восприятие не на особенности супа или торта, а на собственную историю сварившего или купившего субъекта. Если при этом о субъекте сообщается нечто определенно новое (*оба отличились*), то страдательная конструкция хороша (ср. (87)), а если признать наличие того нового, что касалось бы субъекта, говорящий отказывается (*их заслуги нет*), то пассив странен (ср. (89)). Ср. дополнительно:

(90) Маша, как всегда, сварила суп, а Петя, как всегда, купил торт.

(91) ?Машей, как всегда, сварен суп, а Петей, как всегда, куплен торт.

О предрасположенности страдательного залога характеризовать «историю субъекта» говорят и примеры несколько иного рода. Страдательная фраза

(92) Этой книгой произведен фурор,

скорее всего, характеризует книгу (как замечательную, страшную, скандальную и т. п.), а соответствующий действительный залог

(93) Эта книга произвела фурор

одинаково допустим и в этом смысле, и как сообщение о самой по себе реакции читателей (они потрясены или возмущены, все бросились книгу покупать и т. п.).

Сказать

(94) Иван разбил машину

можно, имея в виду, что машину придется чинить, а соответствующая страдательная фраза

(95) Иваном разбита машина

сообщает скорее об Иване – о том, что его надо наказать, и т. п.

Активное предложение

(96) Это растение местные индейцы употребляют против боли

легко продолжить в духе *...и ты можешь этим способом воспользоваться* или *...у него замечательные свойства*, а пассив

(97) Это растение местными индейцами употребляется против боли

скорее требует, чтобы речь в продолжении шла об *индейцах* (*...поэтому они его так ценят*; *...поэтому они здоровы*; *...поэтому они так часто опьянены* и проч.).

Особым образом характерная для пассива важность субъекта проявляет себя в вопросах типа (99). Из предложений

(98) Кто сварил (варит) суп?

(99) Кем сварен (варится) суп?

оба допустимы, но второе – только при дополнительном условии, что суп *действительно* сварен или варится (в то время как первое допускает реакцию типа *Супа никто не сварил*, *Супа никто не варит* – то есть это предложение может быть сказано, чтобы просто поинтересоваться, сварен ли или варится ли суп вообще). Это ограничение тоже вытекает из особого внимания к субъекту: и предположение, что индивидуальность субъекта отразилась в действии, и предположение, что в результате действия изменилось что-то важное для субъекта, вполне корректны только в том случае, если действие *состоялось*.

Как видим, хотя субъект страдательной конструкции понижен в синтаксическом ранге, его коммуникативная значимость при этом парадоксальным образом *повышается*.

8.5. Все приведенные факты свидетельствуют, что даже там, где субъект в пассиве занимает безударную позицию (как в *Иваном пишется книга*), он в связи с данным действием определенно важен, а следовательно, будь тут употреблен перфектный совершенный вид, соответствующий результат имеет все шансы оказаться результатом *субъектно ориентированным*.

Поэтому к конструкциям типа **Иваном написалась книга*; **Нашей фирмой построилась дорога* в полной мере относится то объяснение, которое мы дали выше нашим парадигматическим примерам **Книга написалась Иваном* и **Дорога построилась нашей фирмой* – примерам с недвусмысленно рематическим субъектом.

**9.** Теперь нам надо ответить еще на три вопроса: во-первых, почему аналогичная аномалия не возникает в аналитическом пассиве (типа *Книга написана Иваном*); во-вторых, почему при некоторых особых условиях аномалия в синтетическом пассиве на *-ся* с совершенным видом глагола смягчается (напомним, что такое смягчение происходит, когда опущен субъект, когда время глагола будущее, а также в некоторых изолированных примерах типа (20–21); еще один благоприятный фактор будет описан в п. 11.5); в-третьих, почему эта прагматическая по сути аномалия неожиданным образом оказывается столь серьезной. Обычно в противоречащем контексте импликатура просто снимается – без какой бы то ни было неловкости. Следовательно, ущербность примеров типа **Книга написалась Иваном* получит полноценное объяснение, только если мы покажем, что импликатурный смысл «важности субъекта» дополнительно усиливается особыми, далеко не всегда сопутствующими возникновению импликатур обстоятельствами.

Ответу на эти вопросы посвящены, соответственно, разделы 10, 11 и 12.

**10.** Почему нормален синтетический пассив типа

(100) а. Книга написана Иваном;

б. Книга была написана Иваном.

(101) а. Дорога построена нашей фирмой;

б. Дорога была построена нашей фирмой,

объяснить нетрудно.

Безусловно, здесь результат действия, скорее всего, несет на себе «отпечаток субъекта»: на книге сказалось (скажется), что писал (будет писать) ее именно Иван. Однако при переходе от таких конструкций с эксплицитным субъектом к конструкции без фор-

мального субъекта (типа *Книга написана*) никаких наращений в связанных с результативностью смыслах *не происходит*.

Как мы уже упоминали по другому поводу в п. 6.2, конструкции в настоящем времени (100а–101а) всегда и без исключений результативны в том смысле, что самый прямой, непосредственный результат действия сохранен в момент речи: фраза (100а) значит, что есть книга, фраза (101а) – что имеется дорога. Ср. неприемлемые тексты: **Книга написана Иваном. К сожалению, она уже уничтожена*; **Дорогу, которая построена нашей фирмой, разрушил оползень*.

Этот же результат *сохраняется* – а не появляется(!) – и в конструкциях с опущенным субъектом, вроде *Книга написана*, *Дорога построена*. Поэтому опущение субъекта и исчезновение «субъектно ориентированной» результативности не ведет здесь к появлению какого бы то ни было *нового* смысла, так что в приведенных фразах смысл соответствующей конструкции с эксплицитным субъектом подвергается только редукции, но никак не амплификации. Поэтому с помощью только что приведенных предложений мы можем представлять *ту же* самую ситуацию, что и с помощью (100а) и (101а), а следовательно, то налагаемое страдательным залогом требование, которое нарушено в конструкциях типа **Книга написалась Иваном*, **Дорога построилась нашей фирмой*, здесь *выполняется*.

Выполняется оно и в (100б–101б) – но по другой причине.

В п. 6.2 по поводу пассива прошедшего времени мы говорили, что он о наличном в момент речи результате просто ничего не сообщает. В этом его отличие от перфектного СВ, который в нейтральном контексте заставляет нас думать, что результат есть. Напомним примеры: правильно *Суп сварили. Прошу к столу* с перфектным СВ, но аномально *Суп был сварен. ??Прошу к столу* с аналитическим пассивом; правильно *Дом построили, теперь заселяют*, но не *Дом был построен. ??Теперь его заселяют*.

Если же о результате в конструкциях типа (100б–101б) просто не сообщается, то неоткуда и взяться аномалии описанного нами рода.

Таким образом, отличие аналитического пассива СВ от (предположительно перфектного) синтетического в том, что последний говорит о результате, но эту информацию мы на прагматических основаниях должны доосмыслить – причем делать это будем по-разному при эксплицитном субъекте и при его отсутствии, – а первый либо (когда время настоящее) *кодирует* представление о результате как непременно наличном в момент речи, либо (если время прошедшее) о наличии результата в момент речи вообще не говорит. Ни в том, ни в другом случае устранение субъекта не чревато переосмыслением результативности, а значит – и аномалией[15].

**11.1.** Теперь обратимся к факторам, которые смягчают аномалию в предложениях типа **Книга написалась Иваном*.

11.2. Как мы видели в п. 1.3, такие предложения лучше, если у них нет эксплицитного субъекта. Пример (1) лучше, чем (2); (3) – лучше, чем (4); (15) – лучше, чем (10–14):

(1) ?/??Дорога уже построилась.
(2) *Дорога уже построилась нашей фирмой.
(3) ?Книга написалась.
(4) *Книга написалась Иваном.
(15) ?Смета составится за пять минут.
(10) ?/??Такая смета составится нашим компьютером.
(11) ??Такая смета составилась нашим компьютером.
(12) ??Смета составилась компьютером за две минуты.
(13) ??Смета составилась компьютером.
(14) ?/??Смета хорошо (легко) составилась компьютером.

---

[15] Что касается аналитического пассива будущего времени, как в *Книга будет написана*, *Дом будет построен*, то здесь результативность и ее отсутствие вообще противопоставлены крайне слабо.

Думаем, объяснение очевидно: если субъект должен здесь как-то влиять на интерпретацию результата и именно в этом состоит в конечном счете источник аномалии, то субъект эксплицированный будет это делать в большей степени, чем субъект скрытый. В последнем случае надо говорить о нашей принципиальной *готовности* назвать субъект и о том, что этот субъект *способен* повлиять на характер результата: фразы без эксплицитного субъекта и фразы с эксплицитным субъектом различаются по своей приемлемости настолько, насколько по своей явленности, очевидности различаются (злокачественная) потенция и свершившийся факт.

11.3. Далее, нужно объяснить, почему синтетический пассив СВ обычно несколько лучше там, где время глагола будущее, ср.:

(5) ??Эта книга напишется не Иваном, а кем-то другим.

(6) *Эта книга написалась не Иваном, а кем-то другим.

(10) ?/??Такая смета составится нашим компьютером.

(11) ??Такая смета составилась нашим компьютером.

(18) !/?Дорога осилится не простым терпением путника, а каким-то иным терпением (Ю. Нагибин).

(19) ?Дорога осилилась не простым терпением путника, а каким-то иным терпением.

Что же меняется при переводе глагола в будущее время?

Если глагол будущего времени употреблен не по цепному и не по соотносительно-кратному типу (эти возможности, как мы убедились в п. 6.1, в пассиве заблокированы), то есть два варианта.

Во-первых, значение глагола может быть перфектным, только точкой отсчета служит не момент речи, а заданный в контексте момент будущего. Разумеется, к этому варианту в полной мере относится все то, что сказано выше по поводу перфектного значения в прошедшем времени, и потому возникающая здесь аномалия весьма серьезна. Ср. контрастную пару, где фразой *В следующем году мы здесь поселимся* в будущем задается конкретная точка отсчета:

(102) а. ?В следующем году здесь и электричество появится, и дорога построится.

б. В следующем году мы здесь поселимся. Будет уже электричество, *дорога (уже) построится.

Во-вторых, значение глагола может быть *квази*перфектным: соотносительной ситуацией оказывается тоже результат действия, но результат, не приуроченный ни к какому определенному моменту (силой вещей обычно это время, наступающее непосредственно после события).

Разумеется, если нет мощной поддержки контекста, из двух этих вариантов – собственно перфектного и квазиперфектного – намного вероятнее второй.

При этом принципиально, что по сравнению с перфектным квазиперфектное значение *более тривиально* [Зельдович 2002а; 2002б].

Всякий глагол совершенного вида (возможно, за вычетом делимитативов) называет событие, то есть изменение мира. Будем ли мы сообщать о событии, используя глагол совершенного вида, используя несовершенный вид, используя лишенный вида глагол, – если мы изъясняемся на безвидовом языке – или даже вообще на языке жестов, остается верным, что, делая такое сообщение, мы практически всегда интересуемся *результатом* этого события.

Если же мы захотим дополнительно приурочить результат к конкретному времени, то для этого потребуется серьезная поддержка контекста (когда, допустим, нас *заведомо* интересует результат, как он явлен *сразу же* после события, либо, наоборот, какое-то время *спустя* и т. п.) и/или определенный выбор глагольной видо-временной формы (так, русский совершенный вид в прошедшем времени специально привлекает внимание к моменту речи).

Отсюда следует, что, по крайней мере, в тех случаях, где нет рематизированного субъекта (который сильно меняет наши изначальные представления о результате), внимание к результату при квазиперфекте более естественно – и меньше бросается в глаза.

Иными словами: если в страдательной конструкции интересующего нас типа устранить рематический субъект, вместо субъектно ориентированного перфектного результата должен появиться результат, содержательно такой же «стандартный», как в случае с прошедшим временем, но при этом не привязанный к конкретному моменту (наиболее вероятно, повторим, что он локализован во времени непосредственно после события), а потому, так сказать, более «саморазумеющийся» – и менее заметный. Соответственно, менее заметным должно оказаться и то *противоречие* между субъектно ориентированным результатом и результатом стандартным, которое ответственно за обсуждаемую аномалию.

Заметим под конец, что наше объяснение целиком приложимо и к высказываниям с совершенным видом в сослагательном или повелительном наклонении, таким как ??*Если бы эта книга написалась не Иваном, а кем-то другим, наверняка не разразилась бы такая критическая буря*; ?*Составься такая смета компьютером, она бы оказалась намного удобнее для чтения*. Ясно, что если неиндикативный глагол помещает соответствующее событие в ирреальный мир, то и собственно перфектному значению – значению, соотносящему действие с неизбежно помещенным в *реальный* мир моментом речи, – возникнуть чрезвычайно трудно. Поэтому здесь более вероятен *квази*перфект, и аномалия несколько мягче, чем, соответственно, в (4) **Книга написалась Иваном* и в (13) ??*Смета составилась компьютером*.

11.4. Что касается безукоризненного примера

(20) !Следовало бы отдать под суд боцмана, если все, что говорил Митюшин, подтвердится дознанием (К. Станюкович; пример заимствован из статьи Н.В. Перцова)

и почти безукоризненного

(21) !/?Книга Поля де Крюи «Охотники за микробами» прочитается с большим интересом и специалистом-микробиологом и юношей, не видавшим еще ни одной научной книги (Н. Кольцов; пример заимствован из статьи Н.В. Перцова),

то дело объясняется просто.

Как мы уже говорили, *дознание* – это не самостоятельно существующий агенс, а *способ* что-то подтвердить. Если мы стремимся что-то (юридически значимым способом) подтвердить или опровергнуть, то это значит, что имеет место дознание. В таком случае на особенностях действия особенности данного субъекта отразиться *не могут*. Субъектно ориентированный перфектный результат и результат стандартный в данном случае суть одно и то же, так что приводящее в других подобных конструкциях к аномалии противоречие здесь целиком снято.

Снято оно и в (21) – только не за счет выбора субъекта, а благодаря прямому указанию, что субъект *безразличен*: кто бы ни читал книгу, будет читать с интересом. (Выше мы уже говорили, что если структуру *и специалистом-микробиологом и юношей* редуцировать до одного только *специалистом-микробиологом* или до одного только *юношей*, предложение станет плохим, ср. ??*...прочитается с большим интересом специалистом-микробиологом* и ??*...прочитается с большим интересом юношей, не видавшим еще ни одной научной книги*.)

11.5. Напоследок стоит упомянуть еще об одном «исправляющем» факторе, который пока не привлек нашего внимания, но действие которого в свете нашей гипотезы хорошо объяснимо.

Сравним примеры в парах:

(103) а. ?Такая смета составится любым бухгалтером;
б. *Такая смета составится нашим бухгалтером Петровым.

(104) а. ?Такая смета составится нашим компьютером;
б. *Такая смета составится нашим бухгалтером Петровым.

(105) а. ?Такая дорога уложится даже самыми неквалифицированными рабочими;
б. *Такая дорога уложится даже рабочими Ивановым и Сидоровым.

(106) а. ?Такая дорога уложится даже самым примитивным асфальтоукладчиком;
б. *Такая дорога уложится даже рабочими Ивановым и Сидоровым.

Как видим, при прочих равных условиях лучше, если субъект нереферентен (ср. (103а) и (103б), (105а) и (105б)), и лучше, если субъект неагентивен (ср. (104а) и (104б), (106а) и (106б)). По-видимому, и референтный, то есть конкретизированный, и агентивный субъект имеет больше шансов оказать ощутимое влияние на характер результата – то влияние, которое правильности подобных конструкций идет в ущерб.

**12.1.** Обратимся теперь к третьему и самому сложному из поставленных выше, в п. 9, вопросов.

Напомним: аномалия в предложениях типа **Книга написалась Иваном* возникает оттого, что (а) в страдательном предложении непременно должна иметься возможность мыслить эту же самую ситуацию в отвлечении от субъекта, но (б) перфектное значение совершенного вида здесь ориентировано на субъект и потому, игнорируя конкретику субъекта, мы эту же ситуацию мыслить не можем.

Требование (а) неотменимо, ибо оно прямо вытекает из дефиниции страдательного залога. С другой стороны, как мы уже говорили в п. 5, ориентированное на субъект перфектное значение вида – это всего лишь *импликатура*, то есть смысл, который не закодирован в значении совершенного вида, но восстанавливается по определенным правилам на основании того, что собственно *сказано*, а потому – этот смысл в принципе отменим (ср. [Грайс 1985]).

Вообще говоря, если из двух ожидаемых от высказывания несовместимых смыслов один принадлежит к *закодированной* информации, а другой импликатурен, то импликатура просто *подавляется*, и никаких аномалий не возникает.

Например, слово *некоторые* обычно несет импликатуру ‘не все’, но ее нет в противоречащем ей контексте типа *некоторые и даже все* (другие примеры с этим словом приводятся в [Matsumoto 1995]). Слово *все* (‘нет таких, которые не...’) несет импликатуру существования соответствующих объектов, например, фраза *Все слоны – млекопитающие* прагматически предполагает реальное существование слонов, хотя с чисто логической точки зрения она была бы истинна и в случае, если бы слонов не было: ведь ее логическое содержание – всего лишь ‘нет слона, который не является млекопитающим’ (ср. [Moravčsik 1991]). Тем не менее, в противоречащем контексте даже эта весьма устойчивая импликатура может исчезать, ср.: *Все опоздавшие на мою лекцию, если таковые найдутся, будут наказаны* (адаптировано из [Moravčsik 1991]).

Должен возникнуть вопрос, почему же нежелательная в конструкциях типа **Книга написалась Иваном* импликатура ‘результат действия несет на себе индивидуальный отпечаток данного субъекта’ *не* подавляется, оказываясь настолько сильной, что ее конфликт со смыслом ‘ситуацию можно мыслить в отвлечении от субъекта’ порождает аномалию.

Ответ состоит из двух частей.

1. Эта импликатура имеет не один, а *два* независимых источника.

2. Имеющая сразу *два* независимых источника импликатура вообще оказывается исключительно устойчивой, неотменимой.

Ниже мы покажем сначала первое (это сравнительно легко), а потом – второе (и здесь аргументация будет более пространной).

12.2. Если задуматься, каковы в точности источники импликатуры ‘на результате действия отразились особенности данного конкретного субъекта’, станет ясно, что их *два*.

Во-первых, это сам по себе *выбор страдательного залога*.

Стандартные определения страдательного залога (например, в [Мельчук 2004]) обычно оговаривают, что по материальному, денотативному содержанию пассивное предложение не отличается от соответствующего активного. Мы думаем, что это не совсем так. Например, временная отнесенность у страдательной конструкции далеко не всегда та же, что у действительной: пассив нередко используется для того, чтобы не

просто описать какую-то в принципе хорошо локализуемую во времени ситуацию, но чтобы через это описание дать *более общую* характеристику подлежащего (объекта)[16].

Другая – и важная сейчас – особенность страдательных предложений с эксплицированным субъектом состоит в том, что к этому субъекту – даже если он тематичен – *обращено особое внимание*: ср. многочисленные примеры из п. 8.4. (Примеры (70–75), (80–85), (96–97) дополнительно демонстрируют *полную независимость* между высоким прагматическим статусом субъекта и выбором именно совершенного вида.)

Во-вторых, это *выбор совершенного вида*. Перфектный СВ используется там, где нас интересует результат действия, и если этот результат – заведомо субъектно ориентированный, то нас уже не обязательно интересует (а в некоторых случаях – и *не может* интересовать) результат «стандартный» (см. выше анализ примеров (36–45)). Поэтому СВ в страдательном контексте удовлетворяет свою потребность в соотнесенной ситуации именно за счет такого – заведомо присутствующего – интереса к тому, как на характере действия отразилась индивидуальность субъекта или как само действие сказалось на его «истории». Поскольку перфектный СВ отличен от имперфектного НСВ лишь тем, что привлекает внимание к результату, то выбор СВ в интересующих нас предложениях сигнализирует об интересе к субъектно ориентированному результату *дополнительно и совершенно самостоятельно*.

Поэтому в конструкциях типа **Книга написалась Иваном* импликатура ‘в связи с результатом действия важна индивидуальность субъекта’ действительно должна иметь сразу *два* источника. Первый – это выбор пассивной конструкции, второй – это совершенный вид глагола, причем эти источники друг от друга не зависят: образовать страдательный залог, в принципе, можно от предложения и с совершенным, и с несовершенным видом глагола, а выбрать совершенный вид, в принципе, можно и в действительном, и в страдательном залоге.

12.3. Теперь нам осталось убедиться, что импликатура будет устойчивой, если она возникает благодаря одновременному действию двух независимых факторов.

12.4. Вообще говоря, хотя основоположник современной прагматики П. Грайс считал отменимость одним из диагностических свойств импликатуры (и – наоборот – неотменимость, способность влиять на истинностное значение соответствующих высказываний, – признаком *семантически* выраженного смысла), современные исследователи от этого взгляда все решительнее отходят. Так, в замечательной книге С. Левинсона [Levinson 2000] специально исследуется «пограничье» между семантикой и прагматикой и анализируются многочисленные ситуации, когда от импликатуры зависит истинностное значение соответствующих высказываний – то есть импликатура столь же сильна, устойчива, сколь и семантически выраженные смыслы[17].

Приведем примеры.

Давно обращалось внимание на неоднозначность названий числа: скажем, в зависимости от контекста, *три* может значить ‘ровно три’, ‘три или меньше’ и ‘три или больше’, причем природа у всех этих вариаций несомненно прагматическая (см., например [Ariel 2002]): смыслы ‘ровно’, ‘меньше’ и ‘больше’ суть не что иное, как импликатуры[18].

---

[16] См. подробнее [Зельдович 2009 (ркп.)]. Имеется, кстати, типологически тенденция к стативизации пассива по сравнению с действительным залогом. См. в особенности работы Т. Гивона, например [Givón 1982].

[17] Работа С. Левинсона выполнена в русле грайсовской прагматики. Другое господствующее течение – так называемая теория релевантности – от тезиса о *принципиальной отменимости* прагматически вычислимых смыслов отказывается еще решительнее; ср. хотя бы [Carston 2002].

[18] *Ср. соответственно*:

(i) – Сколько у тебя машин?
– Три (‘ровно три’).

(ii) Тот, у кого три машины, платит повышенный экологический налог (=> ‘тот, у кого больше трех машин, (тоже) платит повышенный экологический налог’).

(iii) Тот, у кого три машины, освобождается от экологического налога (=> ‘тот, у кого меньше трех машин, (тоже) освобождается от экологического налога’).

Тем не менее, такая импликатура способна влиять на истинность высказывания. Например, сообщение *Вон тот мужчина, у которого в руках три цветка, – мой брат, а тот, у которого пять, – мой шурин* не могло бы состояться, если бы импликатура 'ровно' (ровно три цветка, ровно пять) не была «жесткой»: в ином случае выражение «мужчина, у которого в руках три цветка» допускало бы интерпретацию 'мужчина, у которого три цветка *или больше*', а выражение «тот, у которого пять» – 'тот, у которого пять *или меньше*', – и различить этих мужчин приведенная фраза никак бы не помогала.

Разумеется, на общем фоне сильные импликатуры все-таки остаются скорее исключением, и источники их силы еще ждут исследования. Тем не менее, об одном из этих источников здесь можно уверенно говорить[19].

12.5. Рассмотрим примеры:

(107) а. До Южного полюса лежал еще долгий-долгий путь;

б. Небо было светло-синим.

Предложение (а) *логически* ничем не отличается от такого же предложения без редупликации *долгий-долгий* (*До Южного полюса лежал еще долгий путь*), но имплицирует еще, что путь был *необычно*, *очень* долгий [Levinson 2000]. Предложение (б) не исключает логически, что небо было *голубым* (ибо *голубой* – безусловно разновидность *светло-синего* и даже, скорее всего, наиболее прототипический представитель этого цвета), однако, поскольку слово *голубым* не употреблено, прагматически имплицирует, что оттенок неба был иной, такой, что *голубым* к нему не подходит [McCawley 1978].

Примеры (107а) и (107б) в одно и то же время и сходны, и не сходны.

Сходство состоит в том, что (пользуемся исконно Грайсовской терминологией) названные импликатуры в обоих случаях возникают благодаря так называемому «постулату способа выражения» (*Maxim of manner*). Он гласит, что обо всем, что происходит *обычным* образом, *обычным* же образом следует и говорить (см. подробнее [Levinson 2000]). Очевидно, если путь ***по-обычному*** *долгий*, то и сказать надо просто *долгий*; если небо ***по-обычному*** *голубое*, то и сказать надо – *голубое*. Поскольку в примерах (107) выбран необычный способ изъяснения, эти фразы несут импликатуру «необычности»[20].

Таким образом, с точки зрения источника импликатур (107а) и (107б) предельно похожи. Это важно для корректности наших рассуждений, ибо импликатуры, имеющие свой источник *в разных* прагматических постулатах, обладают заведомо разной силой [Levinson 2000: 153–166].

С другой стороны, между предложениями (107а) и (107б) есть огромное различие, и это различие – в устойчивости порожденных ими импликатур. Если мы попробуем последние отменить, результат будет совершенно различный:

(108) а. До Южного полюса лежал еще долгий-долгий путь. *Впрочем, не хочу сказать, что он был особенно долгий[21];

б. Небо было светло-синим, то есть я хочу сказать – голубым.

---

[19] Следующий раздел работы повторяет многие наши рассуждения из [Зельдович 2005]. Однако в данном контексте они столь важны, что не воспроизвести их нельзя.

[20] В параллель к предложению (107б) можно вспомнить популярный английский пример *John caused Peter's death* 'Джон каузировал смерть Питера', где употреблением оборота *to cause death* 'каузировать смерть' вместо *to kill* или *to murder* 'убить' имплицируется, что Джон сделал это каким-то *необычным* образом, т. е., во всяком случае, не застрелил Питера и не зарезал [McCawley 1978].

[21] Ср. без редупликации: *До Южного полюса лежал еще долгий путь. ?Впрочем, не хочу сказать, что он был особенно долгий.* Самое большее, что есть в этом тексте, – лишь некоторая неловкость, но отнюдь не та режущая ухо аномалия, что в (108а).

Заметим еще, что обсуждаемая импликатура, подобно другим сильным импликатурам и в отличие от импликатур обычных, попадает в сферу действия включающих предикатов. Так, во фразе *Боюсь, некоторые уже пришли* предметом опасения ни в коем случае не является то, что пришли *не все*, а в *Боюсь, предстоит еще долгий-долгий путь* говорящий боится именно того, что путь окажется не по-обычному долгим.

Текст (а) вопиюще бессвязен, текст (б) – совершенно естественный.

В чем тут дело?

Повторим: все интересующие нас импликатуры возникают потому, что говорящий вместо какой-то единицы U' употребил достаточно близкую тематически, но противопоставленную ей единицу U, причем предполагается, что выбор U предпочтительно перед U' – осознанный или, по крайней мере, (бессознательно) *значимый*.

И в этом плане ситуация в (107а) и (107б) совершенно различная. В (107а) единица U', которую говорящий не употребил, – это нередуплицированное *долгий*. В (107б) U' – слово *голубой*. В первом случае отвергнутое U' *присутствует* в произнесенном предложении – в составе оборота *долгий-долгий*, а во втором U' *голубой* прямо в предложении не представлено.

Таким образом, хотя мы и предполагаем, что предпочтение U перед U' *значимо*, в интерпретации (107б) может играть свою роль и тот факт, что, допустим, в момент речи слово *голубой* просто не подвернулось говорящему на язык, он его в момент речи *не вспомнил*. Что же касается (107а), то здесь наличие U' *долгий* в составе U *долгий-долгий* ***гарантирует*** значимость сделанного говорящим выбора, и отсюда – исключительная сила импликатуры 'путь не по-обычному (сверх обычного) долгий'.

Обобщить этот вывод можно следующим образом:

(109) Импликатура очень сильна (трудноотменима и, следовательно, принадлежит к тому, что сказано, от чего зависят условия истинности данного предложения), если

(а) она возникает за счет выбора единицы U вместо противопоставленной ей единицы U';

(б) контекст дает хорошие гарантии, что выбор единицы U *не случаен*.

Раньше, чем использовать принцип (109) для объяснения аномалии в **Книга написалась Иваном* и т. п., мы бы хотели показать его объяснительную силу на дополнительном материале.

Неслучайность выбора может обеспечиваться различными факторами, например – прагматической доступностью противопоставленной – и не употребленной! – единицы U'. Эту доступность единицы U' можно понимать как (а) ее наличие в формальной и/или семантической структуре предложения или (б) как ее заведомое присутствие в сознании говорящего, гарантированное уже употреблением той единицы U, которая реально употреблена. Вариант (а) иллюстрировался предложением (107а), а примером случая (б) послужит слово *мало*, которое мы рассмотрим немного подробнее.

12.6. Для простоты (детали изложены в [Зельдович 1999]) будем предполагать, что речь идет о прототипической для него экзистенциальной конструкции

(110) Где-то есть мало X-а,

как, допустим, во фразе

(111) В чайнике мало воды.

Очевидно, (110) означает, что X присутствует, т. е., скажем, предложение (111) употребимо тогда, когда вода в чайнике *есть*. Следует ли отсюда, что слово *мало* в (110) выражает идею 'X есть' *семантически*, что эта идея в значении слова *мало* ***закодирована***? Ответить надо отрицательно, и вот почему.

Во-первых, хотя идея существования X-а отменима гораздо хуже, чем многие «образцовые» импликатуры, но все-таки попытка ее отменить порождает не настолько грубую аномалию, как попытка отменить смыслы, чья принадлежность к собственно семантике несомненна. Так, пример

(112) ??В чайнике мало воды – то есть ее там вовсе нет,

хоть и неуклюж, но значительно лучше, чем, допустим,

(113) *Джон бросил курить – то есть он никогда и не был курильщиком.

Во-вторых, будь идея 'X есть' частью семантики *мало*, по своему коммуникативному статусу она, вне всяких сомнений, оказалась бы пресуппозицией (ср. хотя бы *В чайнике мало воды* и *Неверно, что в чайнике мало воды*, где смысл 'вода есть' присутствует в обоих случаях).

Но эта гипотеза ведет к серьезным осложнениям.

Рассмотрим предложение:

(114) В чайнике есть немало накипи.

Оно допускает интерпретацию, при которой подчеркнутый фрагмент составляет одну (сложную) рему[22]. Примем, что слово *немало* точно так же, как и *мало*, ***предполагает*** бытие соответствующего объекта (почему это делается, будет видно немного ниже). В таком случае нужно признать, что смысл 'X (= накипь) наличествует' выражен в (114) дважды (во-первых, словом *есть*, во-вторых, словом *немало*), причем один раз в виде *ассерции* (ибо *есть* рематично и его смысл 'наличия' не может быть ничем, кроме ассерции), а второй раз – в виде *презумпции*.

На посторонних примерах можно продемонстрировать, что такая ситуация законами построения коммуникативной структуры не допускается (ср. [Зельдович 1998: 92–93]).

Так, можно сказать:

(115) а. Вагонетка поднимается вверх;

б. Вагонетка спускается вниз.

Смысл этих предложений отчасти тавтологичен, так как идея движения, соответственно вверх и вниз, выражена в каждом дважды – глаголом *подниматься / спускаться* и наречием *вверх / вниз*. Поэтому мы можем понимать фрагменты *поднимается вверх* и *спускается вниз* либо как одну сложную рему, либо как одну сложную тему[23], но ни в коем случае не имеем права считать (и соответствующим образом интонировать эти предложения), что главной ремой является само по себе наречие или сам по себе глагол. Ср. неправильные примеры (жирным шрифтом обозначен акцент на соответствующем слове):

(116) а. *Вагонетка поднимается **вверх**;

б. *Вагонетка **поднимается** вверх;

в. *Вагонетка спускается **вниз**;

г. *Вагонетка **спускается** вниз[24].

Если освободить глаголы от смысла 'вверх'/'вниз', то конструкции этого типа вполне нормальны; ср. (117) с не конкретизирующим направления глаголом *ползти*:

(117) а. Вагонетка ползет **вверх**;

б. Вагонетка **ползет** вверх;

в. Вагонетка ползет **вниз**;

г. Вагонетка **ползет** вниз.

Отсюда следует, что в нашем примере (114) *В чайнике есть немало накипи* слово *есть (накипь)* к реме не принадлежит и принадлежать не может, – вывод, интуитивно абсурдный и заставляющий что-то пересмотреть в наших исходных установках, а именно – отказаться от мысли, что у *немало (X-а)* имеется пресуппозиция 'X есть'.

---

[22] Фраза *В чайнике есть немало воды* тоже допускает аналогичное прочтение, только наличие в чайнике воды более естественно, чем наличие накипи, и оттого *вода* тяготеет все-таки к тематичности, так что оперировать примером (114) будет удобнее.

[23] Второй вариант малоестествен и предполагает, что акцент делается на слове *вагонетка*.

[24] Предполагается, что рема здесь обычная, а не контрастная. Если рема контрастная, как, допустим, в ситуации, когда *наперед* известно, что вагонетка может подниматься *прямо* вверх, *влево* вверх или *вправо* вверх, то эти фразы допустимы. Однако здесь мы имеем дело уже с другими, омонимичными, предложениями. Когда рема обычная, то *независимо* от того, идет ли вагонетка просто вверх, направо вверх или налево вверх, можно сказать: *Вагонетка движется **вверх***. Когда рема контрастная, то эта фраза означает 'вагонетка движется *вертикально* вверх, *не* влево и *не* вправо', так что логические свойства, т. е. условия истинности, оказываются разными. Контрастная рема ***вверх*** потому и уместна, что здесь она *не повторяет полностью* того, что уже предполагалось в теме. Тема *Вагонетка поднимается* в такой ситуации допускает *ряд* возможностей: «строго вверх – вверх и вправо – вверх и влево», – и рема хороша потому, что из этого ряда какие-то (вторую и третью) *исключает* – как и полагается реме, ср., например [Bogusławski 1977].

Ввиду изложенного, либо первоначальный анализ слова *мало* как содержащего семантическую пресуппозицию ‘данный объект X [= объект, которого мало] есть’ также должен быть отвергнут, либо нужно доказать, что отрицание *немало* в (114) имеет свойства, принципиально иные, нежели слово *мало*, которое нас интересует.

Говоря конкретнее, нужно доказать, что отрицание *не* обладает здесь свойством «отменять» присущую слову без отрицания пресуппозицию, т. е. речь должна идти о том, что *не* в *немало* – это отрицание *металингвистическое* [Horn 1985], то отрицание, которое в принципе способно относиться к любому аспекту семантики (и не только даже семантики) соответствующего высказывания. Хрестоматийный пример такого отрицания –

(118) Король Франции не лыс – потому что во Франции нет никакого короля.

Однако признать отрицание *не* в *немало* металингвистическим мешают, по крайней мере, два обстоятельства. Во-первых, интуитивно оно совсем иного рода, чем отрицание в (118). Во-вторых, у отрицания в *немало* есть неоспоримое добавочное, фразеологическое значение, которое грубо можно представить как ‘сравнительно много’ [Богуславский 1985: 24–38]. Однако нам неизвестен пример, где бы фразеологизированное отрицание было вместе с тем металингвистично и «снимало» пресуппозиции.

Изложенное показывает, что смысл ‘X есть’ в значении *мало X-а* ***семантически не выражается***.

С другой стороны, этот смысл всегда сопровождает употребления слова *мало* – даже и там, где он никак не подсказывается контекстом: если, допустим, фразу

(111) В чайнике мало воды

можно считать синтаксически и семантически производной от

(119) В чайнике вода

и утверждать, что наличие воды в (111) *закодировано*, то ничто подобное не будет справедливо для ответа в диалоге (120):

(120) – В чайнике есть вода?
– Мало.

На заданный здесь вопрос вполне могло быть отвечено – *Нет*; следовательно, нигде в контексте смысл ‘вода есть’ не присутствует или во всяком случае может не присутствовать, а между тем он во второй реплике (120) есть и, таким образом, связан, во-первых, со словом *мало*, а во-вторых, с его *прагматикой*, а не семантикой.

Зная теперь, что ‘X есть’ – это порождаемая словом *мало* импликатура[25], обратим внимание на ее исключительную устойчивость. Пример

(112) ?? В чайнике мало воды – то есть ее там вовсе нет

показывает, что отделаться от обсуждаемого смысла весьма тяжело.

Источник трудностей – в значении слова *мало*, которое мы пытались уже истолковать в другом месте [Зельдович 1999], и здесь нашу экспликацию приведем без подробных комментариев.

Существо в том, что, во-первых, слово *мало* можно (и нужно, ибо альтернативы не видно) истолковать в аргументативном ключе, учитывая те *следствия*, к которым ведет или способно вести соответствующее высказывание (ср. [Ducrot 1980]), во-вторых, по своему влиянию на эти следствия слово *мало* хоть и не тождественно, но в высокой степени подобно обычному отрицанию (ср.: *В чайнике* ***нет*** *воды, так что чаю мы не выпьем*; *В чайнике* ***мало*** *воды, так что чаю мы не выпьем*). Предложенное в [Зельдович 1999] толкование выглядит приблизительно так:

*Есть мало X-а* =

(121) ‘об экзистенциальной пропозиции «есть X» можно сказать что-то такое, что из этого можно вывести такие следствия, как если бы X-а не было’.

---

[25] *Механизмы* ее порождения для нас не важны. Скажем лишь, что здесь входит в игру уже известный нам Грайсов постулат способа выражения. Если бы говорящий хотел просто сказать, что ‘X-а нет’, он сказал бы это прямо, а не так усложненно, как представляет вещи слово *мало* (см. ниже его толкование).

Теперь нетрудно понять, отчего слово *мало* имплицирует наличие X-а с такой необычной силой. Дело в том, что, используя *мало*, говорящий автоматически должен иметь в виду ту единицу U' ('X-а нет'), которая противостоит реально осуществившейся импликатуре 'X есть', – ибо эта единица входит – на правах фрагмента – в семантику слова *мало*.

**Замечание.** Не исключено также, что играет здесь роль и примитивность, «базовость» структуры 'X есть' и отрицания в любом естественном языке. Может считаться компетентным носителем языка человек, не знающий, допустим, слова *трискаидекафобия* (боязнь числа 13), но едва ли – человек, не способный сообщить о наличии чего-то и не способный это наличие отрицать.

В пользу принципа (109) говорит и то, что он позволяет легко справиться с одной исключительно неприятной для Грайсовской прагматической теории трудностью.

По П. Грайсу, в структуре $P_1$, *и* $P_2$ ни союз ***и*** как таковой, ни порядок конъюнктов на истинность соответствующих предложений никак не влияют. В качестве контрпримера предлагается следующий текст ([Saul 2002: 362]; даем русский перевод, где все нас интересующее обстоит так же, как в английском оригинале):

(122) Если Георгина и Гораций поженились и обзавелись детьми, то традиционалисты будут их уважать; если же Георгина и Гораций обзавелись детьми и поженились, то традиционалисты их уважать не будут.

Очевидно, здесь порядок конъюнктов исключительно важен, и связанные с ним импликатуры 'сначала поженились, *потом* обзавелись детьми' или 'сначала обзавелись детьми, *потом* поженились' влияют на условия истинности, т. е. явно принадлежат к *сказанному*.

Очень не хотелось бы объяснять этот факт, постулируя для союза ***и*** особое значение, при котором $P_1$, *и* $P_2$ просто в силу своей семантики значит '$P_1$, и *затем* $P_2$', – ибо здесь мы возвращаемся к тому, от чего отталкивался П. Грайс и что противоречит всему духу современной прагматики (ср. хотя бы [Rad. pragm. 1981]).

С другой стороны, более или менее ортодоксальный последователь Грайса вынужден будет признать, что текст (122), имеющий структуру 'если $P_1$ и $P_2$, то $P_3$; если $P_2$ и $P_1$, то *не* $P_3$', попросту внутренне противоречив. Так и сделано в [Saul 2002: 362–364]: автор считает, что истинный, коммуникативно важный смысл данного текста формируется на уровне импликатур ('если $P_1$ и *потом* $P_2$, то $P_3$; если $P_2$ и *потом* $P_1$, то *не* $P_3$'), а его противоречивость на семантическом уровне как-то остается незаметной.

Однако можно ли признать, что текст (122) подобен предложениям вроде *Он высокий* ***и не*** *высокий*; *Сейчас темно* ***и не*** *темно*? Кажется, вся наша интуиция против такого вывода восстает.

Чтобы получить истинное решение задачи, нужно, по-видимому, во-первых, признать, что импликатура «последовательности» ('раньше $P_1$, потом $P_2$' или наоборот) принадлежит к тому, что в (122) *сказано*, а во-вторых, объяснить, *почему* это так.

Первое сделано Р. Карстон (см. снова [Saul 2002: 361–364]), а второе очень легко сделать, вспомнив наш принцип (109).

Допустим, кто-то сказал предложение, имеющее структуру *Если* $P_1$ *и* $P_2$, *то* $P_3$. Очень вероятно, здесь имплицируется, что *сначала* (было бы, если бы было) $P_1$, а потом – (было бы) $P_2$. Вместе с тем, такая импликатура достаточно слаба – и как раз потому, что могло быть и так, что говорящему $P_1$ и $P_2$ просто вспомнились именно в таком порядке[26].

Если же кто-то сказал предложение типа (122), чья структура – *Если* $P_1$ *и* $P_2$, *то* $P_3$; *если* $P_2$ *и* $P_1$, *то* ***не*** $P_3$, – то, поскольку говорящим предъявлены сразу же (очень важно, видимо, что в рамках некоего интонационного единства) и вариант '$P_1$ и $P_2$', и вариант '$P_2$ и $P_1$', *случайность* выбора практически исключается, а соответствующая импликатура '*сначала* одно, *после* другое' становится очень сильной, т. е. частью *сказанного*.

[26] Ср. нормальный текст: *Если он включил свет и вошел в комнату, то наверняка заметил пропажу телевизора. То есть я хотел сказать – если вошел в комнату и включил свет.*

12.7. Вернемся теперь к нашему основному предмету – страдательному залогу типа **Книга написалась Иваном*.

Мы выяснили, во-первых, что противоречащая природе пассива (а именно – исключающая возможность мыслить ситуацию в отвлечении от субъекта) импликатура ‘в связи с результатом важен конкретный субъект’ возникает здесь из *двух независимых* источников (см. п. 12.2), во-вторых, что такая импликатура *должна* быть сильной (12.4–12.6).

Учитывая это, аномалию в интересующих нас конструкциях можно считать объясненной.

**13.** Таким образом, страдательный залог предполагает, что ситуацию можно мыслить в отвлечении от субъекта, но употребление совершенного вида на *-ся*, который должен был бы иметь в страдательном залоге перфектное значение – причем такое, при котором в связи с результатом важна индивидуальность данного субъекта, – мыслить ситуацию в отвлечении от субъекта мешает – ибо при переходе к (формально) бессубъектной конструкции изменится тип результата и это уже не будет *та же самая* ситуация. Внимание к субъекту является импликатурой, но эта импликатура имеет сразу два источника, поэтому она оказывается устойчивой и в противоречащем ей страдательном контексте не снимается, но порождает аномалию.

Как видим, причина неправильности предложений наподобие **Книга написалась Иваном* не стилистическая, но именно смысловая.

Что касается приемлемых предложений такого типа (*Белье постиралось*, *Книга у меня прочиталась взахлеб* и т. п.), то ввиду сказанного к страдательным их причислить никак нельзя. Считать их декаузативными тоже было бы странно, ибо в декаузативе каузатор всегда неопределенный, в принципе не конкретизируемый (мы говорили об этом в п. 1). Поскольку здесь очевидным образом нельзя вести речь также ни о медиальности (источником действия является *само* белье, *сама* книга), ни о возвратности в узком смысле, то, скорее всего, такие предложения формируют совершенно новый, промежуточный класс возвратных конструкций, оказывающийся своего рода гибридом между пассивом и декаузативом.

Возможно, пассив и декаузатив – это две крайние точки на шкале «явленности» каузатора, который в декаузативе всегда укрыт и всегда неодушевленный, а в пассиве очень нагляден и тяготеет к одушевленности (в русском языке он всегда может получить поверхностное выражение; вероятность, что пассив можно образовать, тем выше, чем этот каузатор агентивнее, а стало быть, «явленнее» [Shibatani 1985: 830–837; Сибатани 1999]; важный русский материал см. в [Зельдович 2007]). В таком случае срединное пространство данного континуума логично было бы тоже заполнить – что язык и делает с помощью конструкций типа *Белье постиралось*.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ


Апресян 2004 – *Ю.Д. Апресян*. Принципы организации центра и периферии в лексике и грамматике // Типологические обоснования в грамматике. М., 2004.

Богуславский 1985 – *И.М. Богуславский*. Исследования по синтаксической семантике. М., 1985.

Грайс 1985 – *П. Грайс*. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVI. М., 1985.

Зельдович 1998 – *Г.М. Зельдович*. Русские временные квантификаторы // Wiener Slawistischer Almanach. Sbd. 46. 1998.

Зельдович 1999 – *Г.М. Зельдович*. О типологии квантификаторов // ИАН СЛЯ. 1999. Т. 58. № 5–6.

Зельдович 2002а – *Г.М. Зельдович*. Семантика и прагматика совершенного вида // ВЯ. 2002. № 4.

Зельдович 2002б – *Г.М. Зельдович.* Русский вид: Семантика и прагматика. Toruń, 2002.
Зельдович 2005 – *Г.М. Зельдович.* Русское предикативное имя. Toruń, 2005.
Зельдович 2007 – *Г.М. Зельдович.* Страдательный залог и шкала агентивности // Glottodydaktyka i jej konteksty interkulturowe. Warszawa, 2006.
Зельдович 2009 (ркп.) – *Г.М. Зельдович.* Почему русские глаголы бывают двувидовыми? (рукопись).
Маслов 1983 — *Ю.С. Маслов.* Результатив, перфект и глагольный вид // Типология результативных конструкций. Л., 1983.
Мельчук 2004 — *И.А. Мельчук.* Определение категории залога и исчисление возможных залогов // 40 лет Санкт-Петербургской типологической школе. М., 2004.
Падучева 1996 – *Е.В. Падучева.* Семантические исследования. Семантика времени и вида в русском языке. Семантика нарратива. М., 1996.
Падучева 2001 – *Е.В. Падучева.* Каузативные глаголы и декаузативы в русском языке // Русский язык в научном освещении. 2001. № 1.
Падучева 2004 – *Е.В. Падучева.* Динамические модели в семантике лексики. М., 2004.
Перцов 2003 – *Н.В. Перцов.* Возвратные страдательные формы русского глагола в связи с проблемой существования в морфологии // ВЯ. 2003. № 4.
Сибатани 1999 – *М. Сибатани.* Переходность и залог в свете фактов японского языка // Типология и теория языка. От описания к объяснению. М., 1999.
Храковский 2004 – *В.С. Храковский.* Концепция диатез и залогов // 40 лет Санкт-Петербургской типологической школе. М., 2004.
Arce-Arenales, Axelrod, Fox 1994 – *M. Arce-Arenales, M. Axelrod, B. Fox.* Active voice and middle diathesis // B. Fox, P. Hopper (eds.). Voice. Form and function. Amsterdam, 1994.
Ariel 2002 – *M. Ariel.* Privileged interactional interpretations // Journal of pragmatics. 2002. V. 34. № 8.
Blevins 2003 – *J. Blevins.* Passives and impersonals // Journal of linguistics. 2003. V. 39. № 3.
Bogusławski 1977 – *A. Bogusławski.* Problems of the thematic-rhematic structure of sentences. Warszawa, 1977.
Carston 2002 – *R. Carston.* Thoughts and utterances. The pragmatics of explicit communication. Oxford, 2002.
Comrie 1977 – *B. Comrie.* In defense of spontaneous demotion: The impersonal passive // P. Cole, J.M. Sadock (eds.). Syntax and semantics. V. 8. New York, etc., 1977.
Comrie 1982 – *B. Comrie.* Grammatical relations in Huichol // P. Hopper, S. Thompson (eds.). Studies in transitivity. Syntax and semantics. V. 15. New York, etc., 1982.
Croft 1994 – *W. Croft.* Voice: beyond control and affectedness // P. Hopper, B. Fox (eds.). Voice: Form and function. Amsterdam, 1994.
Dowty 1991 – *D. Dowty.* Thematic proto-roles and argument selection // Language. 1991. V. 67. № 3.
Ducrot 1980 – *O. Ducrot.* Les échelles argumentatives. Paris, 1980.
Gerritsen 1990 – *N. Gerritsen.* Russian reflexive verbs: In search of unity in diversity (Studies in Slavic and general linguistics. 15). Amsterdam; Atlanta, 1990.
Givón 1982 – *T. Givón.* Transitivity, topicality, and the Ute impersonal passive // P. Hopper, S. Thompson (eds.). Studies in transitivity. Syntax and semantics. V. 15. New York, etc., 1982.
Givón 1984 – *T. Givón.* Direct *object* and dative shifting: Semantic and pragmatic case // F. Plank (ed.). Objects. London, 1984.
Grimshaw 1990 – *J. Grimshaw.* Argument structure. MIT Press, 1990.
Haig 1982 – *H. Haig.* Passivization in modern Western Armenian // P. Hopper, S. Thompson (eds.). Studies in transitivity. Syntax and semantics. V. 15. New York, etc., 1982.
Hopper, Thompson 1980 – *P. Hopper, S. Thompson.* Transitivity in grammar and discourse // Language. 1980. V. 56. № 2.
Horn 1985 – *L. Horn.* Metalinguistic negation and pragmatic ambiguity // Language. 1985. V. 61. № 1.

Israeli 1997 – *A. Israeli.* Semantics and pragmatics of the «Reflexive» verbs in Russian. München, 1997.
Jaeger 2001 – *G. Jaeger.* Topic-comment structure and the contrast between stage level and individual level predicates // Journal of semantics. 2001. V. 18. № 2.
Levinson 2000 – *S. Levinson.* Presumptive meanings. Cambridge, 2000.
Matsumoto 1995 – *Y. Matsumoto.* The conversational condition on Horn scales // Linguistics and philosophy. 1995. V. 18. № 1.
McCawley 1978 – *J. McCawley.* Conversational implicature and the lexicon // Syntax and semantics. V. 9. Pragmatics. New York, etc., 1978.
Moravčsik 1991 – *J. Moravčsik.* 'All A's are B's': Form and content // Journal of pragmatics. 16. 1991.
Noonan 1994 – *M. Noonan.* A tale of two passives in Irish // B. Fox, P. Hopper (eds.). Voice. Form and function. Amsterdam, 1994.
Rad. pragm. 1981 – *P. Cole* (ed.). Radical pragmatics. New York, 1981.
Saul 2002 – *J.M. Saul.* What is said and psychological reality // Linguistics and philosophy. 2002. V. 25.
Shibatani 1985 – *M. Shibatani.* Passive and related constructions: A prototype analysis // Language. 1985. V. 61. № 4.
Siewierska 1984 – *A. Siewierska.* The passive. London, 1984.
Siewierska 2005 – *A. Siewierska.* Passive constructions // M. Haspelmath, M.S. Dryer, D. Gil, B. Comrie (eds.). World atlas of language structure. Oxford, 2005.
Wierzbicka 1985 – *A. Wierzbicka.* Lexicography and conceptual analysis. Ann Arbor, 1985.
Yokoyama 1986 – *O. Yokoyama.* Discourse and word order. Amsterdam, 1986.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 2010

© 2010 г. Т.В. СКУЛАЧЕВА, М.В. БУЯКОВА

# СТИХ И ПРОЗА: СОЧИНЕНИЕ И ПОДЧИНЕНИЕ*

Как следует из определения стиха, главный, родовой признак стиха, отличающий его от прозы, – деление на строки. Тем не менее до сих пор не ясно, что такое стихотворная строка и зачем она нужна в стихотворном тексте. В статье перечисляются известные на настоящий момент механизмы построения стихотворной строки, действующие на всех уровнях организации речи, делаются предположения об их возможной функции в стихотворном тексте, а также дается подробное описание одной из устойчивых синтаксических закономерностей, обнаруженных в стихотворном тексте. Исследуется соотношение связей между частями сложного предложения с сочинительной и подчинительной семантикой в стихе и прозе: у каждого из исследованных русских и французских авторов (27 000 предложений) в стихе по сравнению с прозой возрастает количество сочинительных связей между предложениями и бессоюзных связей с сочинительной семантикой. Закономерность присутствует у всех проанализированных авторов в разных языках (русский, французский), разных периодах и литературных направлениях, разных системах стихосложения. Закономерность особенно отчетливо проявляется в позиции между строками. По-видимому, данная особенность поддерживает сопоставимость («парадигматичность») стихотворных строк, упоминаемую во всех современных определениях стиха.

Что такое стихотворная речь? По наиболее привычному сейчас в стиховедении определению – это речь, которая делится на строки. (Стих – это «речь, четко расчлененная на относительно короткие “ряды”, отрезки, соотносимые и соизмеримые между собой» [Гаспаров 2001: 6].)[1] Итак, если текст делится на строки – это стих, если нет – проза. (Такое определение пригодно почти для всех текстов, хотя сейчас мы не будем останавливаться на пограничных явлениях между стихом и прозой, которыми успешно занимались Ю.Б. Орлицкий [Орлицкий 1991; 2002], С.И. Кормилов [Кормилов 1995] и другие ученые, написавшие по этому поводу подробные исследования.)

Авторы данной статьи полностью согласны с таким определением. Оно простое, удобное и достаточно общепринятое. Тем не менее, если мы хотим определить сущность стиха в отличие от прозы, нам следовало бы также решить следующую важную проблему, неразрывно связанную с определением стиха: что такое стихотворная строка и зачем она нужна в стихотворном тексте.

То, что стихотворная строка играет очень существенную роль в структуре стихотворного текста и что она жизненно важна для самого его существования, подтверждается наличием целого комплекса лингвистических механизмов, поддерживающих ее

* Работа выполнена в рамках гранта РГНФ № 09-04-00359а (руководитель Т.В. Скулачева).

[1] Определение стиха, данное М.И. Шапиром [Шапир 2000: 83] («Стих – это система сквозных принудительных парадигматических членений, структурирующих дополнительное измерение текста»), остается за пределами данной статьи, так как заслуживает отдельного подробного обсуждения. На наш взгляд, однако, оно гораздо ближе по своей сути к определению Гаспарова, чем обычно считается: термины «сопоставимости» у Гаспарова и «парадигматичности» у Шапира – по сути две попытки определить одно и то же интуитивно ощущаемое, но до сих пор не поддающееся строгому лингвистическому описанию понятие, подразумевающее психологическую равноправность, равновесность строк (Гаспаров), напоминающую равноправность членов парадигмы в языке (Шапир).

единство и целостность. При этом возникает ощущение, что найденные нами механизмы, обеспечивающие существование стихотворной строки, представляют собой лишь верхушку айсберга, лишь незначительную часть сложной и сбалансированной системы, обеспечивающей существование стиха.

Какие же механизмы обнаружены нами на данный момент?

**I.** Во-первых, это несколько **синтаксических закономерностей**, поддерживающих единство и целостность стихотворных строк, а также их сопоставимость и соизмеримость. Они связаны:

1) с распределением более тесных и более слабых синтаксических связей внутри строки;

2) с распределением более тесных и более слабых связей между строками;

3) с расположением и количественным соотношением сочинительных и подчинительных связей в стихотворном тексте.

**1. Распределение тесных и слабых синтаксических связей внутри стихотворной строки.** Тесные и слабые синтаксические связи распределяются в стихе не так, как в прозе. Если в прозе каждая синтаксическая связь, как тесная, так и слабая, имеет свой собственный, особый тип распределения, связанный с ее семантикой и синтаксической функцией, то в стихе тесные связи, с одной стороны, и слабые связи, с другой стороны, распределяются как единые группы, причем типичное расположение тесных связей зеркально противоположно расположению слабых.

Тесных связей довольно много в начале строки, мало в середине и очень много ближе к концу строки. Слабых связей, напротив, очень много в середине строки, довольно мало в начале и ничтожно мало ближе к концу строки. На практике это означает, что строки типа «И пышный цвет, и сладкий плод...» встречаются чаще, чем «Забудет мир меня; но ты...». Таким образом, наиболее тесно связанными оказываются слова ближе к границам строки, что обеспечивает целостность строки и контраст со слабой связанностью между строками.

Эта закономерность повторяется на большом материале и наблюдается в силлаботоническом, тоническом, силлабическом и свободном стихе, написанном на разных языках (русском, английском, французском), в рамках разных литературных направлений и индивидуальных стилей (ср. [Гаспаров 1981; Tarlinskaja 1984; Скулачева 1989; 1990; 1992; 1996; 2006; 2007; Гаспаров, Скулачева 2004]).

**2.** Вторая синтаксическая закономерность – то, что **в позиции между строками чаще всего оказываются слабые связи**. Это было замечено еще Б.И. Ярхо в его «Методологии точного литературоведения» [Ярхо 1969; 2006]. Он определял тесноту связи по тому, насколько часто она встречается в положении между строками: чем чаще синтаксическая связь появляется между строками, тем она слабее. Наши подсчеты подтверждают, что между строками предпочитаются более слабые связи [Скулачева 1990; Гаспаров, Скулачева 2004]:

Внемли, повсюду весть отрадная несется,
Повсюду гордый клик веселья раздается,
По стогнам шум, везде сияет торжество,
И ты среди толпы, России божество...

(А.С. Пушкин. На возвращение Государя императора из Парижа в 1815 г.)

Люблю я критиков моих.
На шее одного из них,
Благоуханна и гола,
Сияет антиголова!..

(А. Вознесенский. Антимиры)

Таким образом, подчеркивается целостность и отдельность строки как основной единицы стихотворного текста. Данная закономерность сильнее выражена в классическом стихе и несколько ослабляется в направлении к современному [Шапир 2003].

**3.** Третья синтаксическая особенность стиха – **преобладание в стихе по сравнению с прозой сочинительных связей между предложениями и бессоюзных связей с сочинительной семантикой**. В прозе же в большинстве случаев преобладают связи между предложениями с подчинительной семантикой. Такой подсчет был проведен нами на материале «Евгения Онегина» и «Пиковой дамы» А.С. Пушкина [Скулачева 1996]. Затем мы исследовали более 27 000 предложений в стихе и прозе русских авторов XVII–XX вв. и французских авторов XVIII–XX вв. и доказали, что в стихе между частями сложного предложения связей с сочинительной семантикой всегда больше, чем в прозе [Буякова 2007; 2008]. Преобладание связей с сочинительной семантикой в стихе подчеркивает сопоставимость и соизмеримость стихотворных строк.

Очевидно, что строки, соединенные сочинительной связью, в большей степени ощущаются как равноправные, сопоставимые, равновесные, чем строки, соединенные подчинительной связью. Ведь смысл сочинительной связи – перечень равноправных единиц текста, а суть подчинительной связи – задание иерархии между главными и второстепенными единицами текста. Позже мы подробно остановимся на этой закономерности построения стихотворного текста.

**II.** Помимо преобладания связей с сочинительной семантикой существует еще один, уже не синтаксический, а **интонационный механизм** обеспечения сопоставимости и соизмеримости стихотворных строк. Это увеличение частотности интонационных завершителей перечислительного типа среди интонационных завершителей, оформляющих концы стихотворных строк [Златоустова 1981; Ерешко 1996]. Ясно, что увеличение связей с сочинительной семантикой между строками способствует появлению именно такой интонации.

Однако перечислительная интонация или интонация, напоминающая перечислительную, может появляться не только на месте реально реализованной сочинительной синтаксической связи, но и там, где в прозе она была бы категорически невозможна: между глаголом и его дополнением («Не понять Золотого Глагола / Изнуренной железом мечте» (А. Блок)), между подлежащим и сказуемым («Где взвился огневой багряницей / Засыпающий праздничный флаг» (А. Блок)) и т. д. [Ерешко 1996; Скулачева 1996]. Т. е. в стихе предпочитаются не только не-логические, равноправные, равновесные сочинительные связи между предложениями и строками, но и интонационные завершители, подчеркивающие равноправность, сопоставимость, равновесность стихотворных строк, причем перечислительная интонация помогает уравнивать между собой не только действительно равновесные и равноправные семантически и синтаксически части перечислений или других конструкций с сочинительной связью между элементами, но и синтаксически и семантически совершенно неравноправные элементы, связанные подчинительной связью, между которыми в прозе требовалась бы самая логическая из всех интонаций – интонация незавершенности. Таким образом, стих всеми доступными лингвистическими средствами добивается психологической равноправности и равновесности стихотворных строк. Собственно, такая психологическая равноправность и равновесность с другими строками – главный признак стихотворной строки. Как нам кажется, именно эту особенность стихотворного текста имел в виду М.И. Шапир, когда говорил о «парадигматичности» стихотворного текста (ср. [Шапир 1996; 2000]).

**III. Семантический механизм.** Мы проанализировали распределение более и менее информативных (семантически значимых) слов в стихотворной строке в сопоставлении с прозаической синтагмой. Оказалось, что в прозе семантически значимые слова предпочитают конец синтагмы (что согласуется с данными фонетистов о том, что синтагматическое ударение чаще всего падает на конец синтагмы), в стихе же наиболее информативные слова распределены по строке более равномерно, без резкого преобладания в конце строки. (Это также согласуется с данными фонетистов о том, что стихотворная строка отличается более ровной и монотонной интонацией, выровненной частотой основного тона, без резких логических выделений.) Очевидно, что и семантическая организация стихотворного текста работает на то, чтобы подать стихотворные

строки как выровненные, соположенные, равновесные отрезки речи независимо от степени их логической и семантической важности.

Мы подошли к одному из главных вопросов, который необходимо решить, если мы хотим определить разницу между стихом и прозой: зачем нужно в стихе деление на строки, каковы его функции?

Можно предположить, что в мозг одновременно идут два противоположных по своему смыслу сигнала – с одной стороны, синтаксическая и семантическая связность текста и его синтаксическое и смысловое членение на синтагмы и предложения подсказывают, что сегменты текста, оформленные как стихотворные строки, представляют собой логически организованный текст, т.е. текст, где одни элементы главные, другие второстепенные, одни элементы управляют, другие подчиняются, т.е., как в любом логически организованном тексте, задана ступенчатая иерархия зависимых друг от друга компонентов. С другой стороны, вся стиховая структура, т.е. не-логическая стиховая сегментация текста на стихотворные строки, сочинительность, перечислительная интонация, равномерное распределение семантически значимых слов по всей строке подсказывают, что те же самые сегменты текста логически равновесны, равноправны, сопоставимы друг с другом, как это было бы в перечне, списке, отличающемся гораздо более слабой логической организацией, чем обычная прозаическая речь.

**IV.** Результатом становится то, что Тынянов называл **«деформацией смысла ритмом»** [Тынянов 1924]. Двойная сегментация стихотворного текста выполняет роль триггера, заставляющего как бы пробуксовывать наше логическое мышление. На более раннем этапе развития нейрофизиологии можно было бы сказать, что обработка текста передается другому полушарию мозга: вместо логического мышления включается образное. Однако более подробное исследование деятельности мозга в последние десятилетия показало, что обработка любого текста в мозгу представляет собой очень сложную картину и в ней так или иначе задействованы оба полушария мозга. Требуется более подробное исследование совместно с нейрофизиологами для выяснения, что именно меняется в деятельности мозга при обработке стихотворного текста. Пока же можно предположить, что вся структура стихотворного текста нацелена на то, чтобы частично отключить наше логическое мышление.

Перейдем к описанию конкретных закономерностей, которые складываются в описанную нами систему. Все закономерности невозможно описать в пределах одной статьи, поэтому мы остановимся на одной из перечисленных лингвистических особенностей – резком увеличении количества связей с сочинительной семантикой между предложениями в стихе по сравнению с прозой. Это одна из немногих известных нам на настоящий момент закономерностей, отличающих стих от прозы во всем проанализированном на настоящий момент материале. В пределах проанализированного нами достаточно обширного материала данная закономерность воспроизводилась всегда, независимо от языка (русский, французский), системы стихосложения (силлаботоника, силлабика, освобожденный и свободный стих), периода развития литературы (XVII–XX вв.), литературного направления и индивидуального стиля.

Данная закономерность заключается в том, что в прозе между частями сложного предложения преобладают связи с подчинительной семантикой, а в стихе – с сочинительной, причем эта разница носит устойчивый и капитальный характер и, как правило, составляет десятки процентов.

Под связями с сочинительной семантикой мы понимаем связи между частями сложносочиненного предложения и связи между частями бессоюзного предложения с сочинительной семантикой. Под связями с подчинительной семантикой мы понимаем связи между частями сложноподчиненного предложения и связи между частями бессоюзного предложения с подчинительной семантикой. Промежуточные случаи между сочинением и подчинением (*Пошел дождь, мы пошли домой*) исключались из под-

счета. Вопреки распространенному мнению, не основанному на реальных подсчетах, такие случаи малочисленны и составляют единичные проценты (даже в достаточно логично построенном романе в стихах «Евгений Онегин» их количество составляет не более 3,6%).

Исследовались русские и французские стихотворные и прозаические тексты XVII–XX вв. 21 автора: фольклорные стихотворные и прозаические тексты XVII в., стих и проза Симеона Полоцкого, М.В. Ломоносова, В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, М. Кузмина, А.А. Блока, В. Хлебникова, А.А. Ахматовой, А.Т. Твардовского, И. Бродского[2]. На французском языке изучались стихотворные и прозаические тексты Вольтера, В. Гюго, Ж. де Нерваля, Ш. Бодлера, С. Малларме, П. Верлена, П. Валери и П. Элюара[3]. Общий объем проанализированного материала составил 27 600 предложений. Нами преднамеренно были выбраны тексты на языках разных групп (славянском и романском) с хорошо развитой и притом разной стиховой традицией (силлаботоника с XVIII в. в русском стихе, силлабика во французском стихе), были использованы также русская силлабика XVII в., французский освобожденный и свободный стих, русский свободный стих, стих, принадлежащий к разным литературным направлениям и очень различным индивидуальным стилям.

В стихе учитывались только связи между предложениями, приходящиеся на концы стихотворных строк. Такой тип подсчета был принят после проверочного подсчета по двум разным методикам: в одном случае учитывались все связи между предложениями в стихе, во втором – только те, которые приходились на границы стихотворных строк. Оба подсчета подтвердили выявленную закономерность, но при учете связей только на границах строк данные получались более контрастными: по-видимому, выявленная нами закономерность нужна стиху именно для подчеркивания соположенности стихотворных строк.

Нами использовалась простая и базовая классификация сложных предложений, принятая «Русской грамматикой» [Русск. гр. 1982; Грам. русск. яз. 1954] и французской грамматикой Р. Вагнера и Ж. Пэншон «Grammaire du français classique et moderne» [Wagner, Pinchon 1982]. Предложения делились на сложносочиненные, сложноподчиненные и бессоюзные. Учитывая цель нашей работы, бессоюзные предложения дели-

---

[2] Симеона Полоцкого («Вертоград многоцветный»; «Вечеря душевная»); М.В. Ломоносова (оды; «Краткое руководство к красноречию»); В.А. Жуковского (лирика (Я4); художественная проза и критические статьи); А.С. Пушкина («Евгений Онегин»; «Капитанская дочка»); М.Ю. Лермонтова (поэмы; «Герой нашего времени»); Ф.И. Тютчева (лирика (Я4); письма); А.А. Фета (лирика (Я4); «Воспоминания. Ранние годы моей жизни»); М. Кузмина («Александрийские песни» (верлибр); «Приключения Эме Лебёфа», «Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа Калиостро»); В. Хлебникова (поэмы в стихах (полиметрия); рассказы); А.А. Блока (стихотворения (Я4); лирическая проза); А.А. Ахматовой (лирика (Я5); воспоминания о современниках); А.Т. Твардовского (лирика (Я5), поэма «За далью-даль»; рассказы); И. Бродского (лирика (Я5); эссе). В качестве сравнительного фольклорного материала были взяты «Демократическая поэзия XVII в.» под редакцией В.П. Адриановой-Перетц (М.; Л., 1962) и «Сказки Белозерского края» под редакцией Б.М и Ю.М. Соколовых (М., 1915).

[3] Вольтера («La Henriade» (александрийский стих); «Candide, ou l'Optimisme» и «L'ingénu»); В. Гюго («La légende des siècles» (александрийский стих); «Notre-Dame de Paris»); Ж. де Нерваля («Les chimères» (романтический 12-сложник); «La bohème galante»); Ш. Бодлера («Les fleurs du mal», «Les épaves» (романтический 12-сложник); «Le poème du haschisch»); С. Малларме («Les vers», «Album de vers et de prose», «La poésie de circonstance» (весь имеющийся в наличии стихотворный материал – 12, 10, 8-сложники); эссе из сборника «Les Pages»); П. Верлена (лирика («освобожденный стих»); «Confessions»); П. Валери («Album des vers anciens», «Charmes», «La jeune Parque» (александрийский стих и 10-сложник); эссе из сборника «Regards sur le monde actuel»); П. Элюара (лирические сборники (свободный стих): «Le devoir et l'inquiétude», «Poème pour la paix», «Les animaux et leurs maîtres», «Les nécessités de la vie», «Répétitions», «Mourir de ne pas mourir», «La capitale de la douleur», «Défense de savoir», «A toute épreuve»; эссе того же автора из сборника «Poèmes retrouvés»).

лись на две крупные группы – бессоюзные предложения с сочинительной семантикой и бессоюзные предложения с подчинительной семантикой. Сложноподчиненные предложения делились на предложения с придаточными определительными, изъяснительными и обстоятельственными.

Результаты подсчетов количества связей с сочинительной и подчинительной семантикой между простыми предложениями внутри сложного по стиху и прозе русских и французских авторов приводятся в Таблицах 1–4. Достоверность выводов обеспечивается объемом проанализированного материала и использованием количественных методов. Устойчивость выявленных закономерностей проверялась промежуточными подсчетами после каждых ста предложений.

У всех русских и французских авторов видна одна общая закономерность. В стихе связей с сочинительной семантикой всегда больше, чем в прозе. Эта закономерность выполняется во всем исследованном на данный момент материале, независимо от языка, периода, системы стихосложения, литературного направления и индивидуального стиля.

Приведем упрощенные таблицы, где укажем только доли связей с сочинительной семантикой в стихе и их доли в прозе у каждого русского и французского автора (Таблицы 5, 6).

Как мы уже сказали, преобладание связей с сочинительной семантикой в стихе над их количеством в прозе – закономерность, выполняющаяся во всем исследованном материале.

Эта закономерность несколько более слабо выражена на раннем этапе развития русской поэзии. Так, уже в фольклорном и литературном силлабическом стихе XVII в., а так же в силлабо-тоническом стихе XVIII в. сочинительных связей больше, чем в прозе, хотя разница не столь велика, как в XIX в. Данная закономерность становится гораздо более отчетливой в XIX в. в пору расцвета русской поэзии. Так, у А.С. Пушкина сочинительных связей в стихе очень резко больше, чем в прозе. Выявленная закономерность достигает своего пика в середине XIX в. у Тютчева и Фета и затем ослабляется в XX в., давая отдельные возвраты к более высокому уровню у классически-ориентированных авторов (например, у Ахматовой). Несмотря на колебания в степени выраженности данной закономерности, сочинение в стихе преобладает над сочинением в прозе у всех исследованных авторов[4].

Французский стих, в отличие от русского, к XVIII в. уже достиг своего расцвета. Поэтому у Вольтера разница между сочинением в стихе и прозе уже достаточно значительна. Однако описываемая закономерность достигает своего максимума так же, как и в русском стихе, в середине XIX в.: у Гюго и де Нерваля. Резкое падение со-

[4] Мы использовали точный статистический критерий на основе сравнения статистики

$$\hat{z} = \frac{|\hat{p}_1 - \hat{p}_2| - \frac{1}{2}\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}{\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}},$$

(где $\hat{p}_1$ – частота сочинительных связей в стихе, $\hat{p}_2$ – частота сочинительных связей в прозе, $\hat{p}$ – частота сочинительных связей независимо от принадлежности к стиху или прозе: $\hat{p} = \frac{n_1\hat{p}_1 + n_2\hat{p}_2}{n_1 + n_2}$, $n_1$ – число случаев сочинительной связи в стихе, $n_2$ – число случаев сочинительной связи в прозе) с критическими значениями $z_{кр}$ = 2,58 для 1% уровня значимости и $z_{кр}$ = 1,96 для 5% уровня значимости для проверки того, является ли значимой разница между количеством сочинительных связей в стихе и сочинительных связей в прозе одного и того же автора. Результаты оказались значимыми для всех русских и французских авторов, включая Малларме (даже для Малларме $\hat{z}$ = 3,2). Таким образом, вывод о том, что в стихе каждого из исследованных авторов сочинительных связей больше, чем в прозе того же автора, справедлив при уровне значимости 5% и даже 1%. Мы благодарим А.В. Прохорова за помощь в статистической обработке данных.

*Таблица 1*

**Общее количество связей с сочинительной и подчинительной семантикой в прозе русских авторов**

| Количество связей, % (в скобках даны абсолютные числа) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Проза | Тип связи | Сказки XVII в. | Симеон Полоцкий (1629–1680) | Ломоносов (1711–1765) | Жуковский (1783–1852) | Пушкин (1799–1837) | Лермонтов (1814–1841) | Тютчев (1803–1873) | Фет (1820–1892) | Кузмин (1875–1936) | Блок (1880–1921) | Хлебников (1885–1922) | Ахматова (1889–1966) | Твардовский (1910–1971) | Бродский (1940–1996) |
| | Связи с сочинительной семантикой, % | 68,4 (288) | 46 (566) | 22,8 (278) | 62 (439) | 36,3 (186) | 57 (880) | 28,6 (366) | 30,6 (309) | 40,5 (510) | 42,8 (496) | 46,7 (268) | 36,4 (256) | 32,6 (240) | 29 (308) |
| | Связи с подчинительной семантикой, % | 31,6 (133) | 54 (666) | 77,2 (939) | 38 (268) | 63,7 (327) | 43 (666) | 71,4 (914) | 69,4 (702) | 59,5 (748) | 57,2 (662) | 53,3 (306) | 63,6 (448) | 67,4 (496) | 71 (751) |

*Таблица 2*

**Общее количество связей с сочинительной и подчинительной семантикой в стихе исследованных русских авторов**

| Количество связей, % (в скобках даны абсолютные числа) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стих | Тип связи | Фольклор XVII в. | Симеон Полоцкий (1629–1680) | Ломоносов (1711–1765) | Жуковский (1783–1852) | Пушкин (1799–1837) | Лермонтов (1814–1841) | Тютчев (1803–1873) | Фет (1820–1892) | Кузмин (1875–1936) | Блок (1880–1921) | Хлебников (1885–1922) | Ахматова (1889–1966) | Твардовский (1910–1971) | Бродский (1940–1996) |
| | Связи с сочинительной семантикой, % | 92,2 (712) | 62,3 (208) | 54,7 (461) | 81,7 (367) | 74,1 (545) | 77,5 (648) | 78,6 (526) | 79,8 (445) | 62,5 (105) | 70,9 (314) | 76,4 (334) | 77,6 (316) | 65,1 (394) | 51,5 (139) |
| | Связи с подчинительной семантикой, % | 7,8 (60) | 37,7 (126) | 45,3 (382) | 18,3 (82) | 25,9 (190) | 22,5 (188) | 21,4 (143) | 20,2 (113) | 37,5 (63) | 29,1 (129) | 23,6 (103) | 22,4 (91) | 34,9 (211) | 48,5 (131) |

*Таблица 3*

**Общее количество связей с сочинительной и подчинительной семантикой в стихе французских авторов**

| Стих | Тип связи | Вольтер (1694–1778) | Гюго (1802–1885) | де Нерваль (1808–1855) | Бодлер (1821–1867) | Малларме (1842–1898) | Верлен (1844–1896) | Валери (1871–1945) | Элюар (1895–1952) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Связи с сочинительной семантикой, % | 71,7 (725) | 73,7 (937) | 73 (154) | 57,8 (258) | 39,2 (91) | 57 (383) | 54,5 (251) | 76,5 (348) |
| | Связи с подчинительной семантикой, % | 28,3 (286) | 26,3 (335) | 27 (57) | 42,2 (188) | 60,8 (141) | 43 (288) | 45,5 (210) | 23,5 (107) |

*Таблица 4*

**Общее количество связей с сочинительной и подчинительной семантикой в прозе французских авторов**

| Проза | Тип связи | Вольтер (1694–1778) | Гюго (1802–1885) | де Нерваль (1808–1855) | Бодлер (1821–1867) | Малларме (1842–1898) | Верлен (1844–1896) | Валери (1871–1945) | Элюар (1895–1952) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Связи с сочинительной семантикой, % | 38,7 (637) | 26,3 (274) | 32,5 (264) | 34,5 (330) | 28,6 (442) | 27 (512) | 26,8 (477) | 34 (394) |
| | Связи с подчинительной семантикой, % | 61,3 (1009) | 73,7 (768) | 67,5 (548) | 65,5 (625) | 71,4 (1102) | 73 (1384) | 73,2 (1301) | 66 (769) |

чинительности в стихе наблюдается только у С. Малларме. Дело в том, что Малларме достигает алогичности текста другими лингвистическими приемами. Он строит свою поэтику на контрастном сочетании формального подчинения и крайней алогичности текста, наполняющего эти формально-подчинительные конструкции. Поэтому, несмотря на обилие подчинительных союзов, логическая организация текста у него оказывается даже ниже, чем у большинства французских авторов. Тем не менее, даже у Малларме не исчезает описываемая нами закономерность: у него связей с сочинительной семантикой больше в стихе, а не в прозе (см. сноску 4). В конце XIX – начале XX в. контраст между стихом и прозой по уровню сочинительности слегка снижается. Дело в том, что в эпоху французского символизма начались первые опыты расшатывания традиционного силлабического стиха: такой стих получил название «освобожденного». Вероятно, и выявленная нами синтаксическая закономерность стала менее жесткой вместе с другими параметрами организации стихотворного текста. Возврат к прежнему высокому уровню сочинительности отмечается в верлибре Элюара.

Нужно обратить внимание, что Таблицы 1–6 демонстрируют две разные закономерности:

*Таблица 5*

**Количество связей с сочинительной семантикой в стихе и прозе русских авторов**

| | Фольклор | Симеон Полоцкий (1629–1680) | Ломоносов (1711–1765) | Жуковский (1783–1852) | Пушкин (1799–1837) | Лермонтов (1814–1841) | Тютчев (1803–1873) | Фет (1820–1892) | Кузмин (1875–1936) | Блок (1880–1921) | Хлебников (1885–1922) | Ахматова (1889–1966) | Твардовский (1910–1971) | Бродский (1940–1996) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Связи с сочинительной семантикой в стихе (% от всех связей в стихе) | 92,2 (712) | 62,3 (208) | 54,7 (461) | 81,7 (367) | 74,1 (545) | 77,5 (648) | 78,6 (526) | 79,8 (445) | 62,5 (105) | 70,9 (314) | 76,4 (334) | 77,6 (316) | 65,1 (394) | 51,5 (139) |
| Связи с сочинительной семантикой в прозе (% от всех связей в прозе) | 68,4 (288) | 46 (566) | 22,8 (278) | 62 (439) | 36,3 (186) | 57 (880) | 28,6 (366) | 30,6 (309) | 40,5 (510) | 42,8 (496) | 46,7 (268) | 36,4 (256) | 32,6 (240) | 29 (308) |

*Таблица 6*

**Количество связей с сочинительной семантикой в стихе и прозе французских авторов**

| | Вольтер (1694–1778) | Гюго (1802–1885) | де Нерваль (1808–1855) | Бодлер (1821–1867) | Малларме (1842–1898) | Верлен (1844–1896) | Валери (1871–1945) | Элюар (1895–1952) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Связи с сочинительной семантикой в стихе (% от всех связей в стихе) | 71,7 (725) | 73,7 (937) | 73 (154) | 57,8 (258) | 39,2 (91) | 57 (383) | 54,5 (251) | 76,5 (348) |
| Связи с сочинительной семантикой в прозе (% от всех связей в прозе) | 38,7 (637) | 26,3 (274) | 32,5 (264) | 34,5 (330) | 28,6 (442) | 27 (512) | 26,8 (477) | 34 (394) |

1. Из Таблиц 5–6 видно, что количество сочинительных связей в стихе больше их количества в прозе **у всех без исключения** исследованных на сегодняшний день авторов[5].

2. Из Таблиц 1–4 видно, что соотношение сочинительных и подчинительных связей в тексте зависит от его принадлежности к стиху или прозе[6], при этом в стихе, как правило, больше сочинительных связей, а в прозе – подчинительных.

Вернемся теперь к Таблицам 1–4 и обратим более пристальное внимание на индивидуальные особенности авторов и периодов.

Романтически ориентированная проза (Жуковский, Лермонтов, Блок) склонна к большей поэтичности и напевности, что достигается, среди прочих приемов, и обилием сочинительных конструкций, напоминающим поэтический текст. Так, у Жуковского сочинительных связей в прозе – 62%, у Лермонтова – 57%, у Блока – 42,8%. Тем не менее, у всех этих авторов сочинения больше именно в стихе, и контраст между стихом и прозой по количеству связей с сочинительной семантикой сохраняется и у них. У Жуковского более высокий, чем у других авторов, процент связей с сочинительной семантикой и в стихе, и в прозе объясняется также свойственной романтикам ориентацией на фольклор: как мы видим из Таблиц 1 и 2, фольклор XVII в. отличается высочайшей долей сочинительности (выше 90% в стихе).

Остановимся отдельно на данных по бессоюзным предложениям, которые традиционно считались особенностью стиха [Ширяев 1982; 1985; 1986].

Действительно, бессоюзных конструкций на порядок больше в стихе, чем в прозе. Бессоюзные сложные предложения очень широко представлены в русской поэзии разных эпох и направлений, являясь регулярной особенностью стихотворного синтаксиса.

---

[5] См. сноску 4.

[6] Гипотеза о связи соотношения сочинения и подчинения в тексте с принадлежностью текста к стиху или прозе проверялась с помощью критерия $\chi^2$. У всех исследованных русских и французских авторов вычисленные значения статистики Пирсона превзошли критические значения для всех стандартных уровней значимости (0,05 и 0,01), на основании чего гипотеза о независимости указанных параметров от принадлежности к стиху или прозе была отклонена. Стоит отметить, что даже для стиха и прозы М. Кузмина значимость статистики Пирсона соответствует уровню значимости 0,0005, а для стиха Малларме – уровню значимости 0,001. Таким образом, даже при максимально строгом подходе соотношение сочинения и подчинения зависит от принадлежности текста к стиху или прозе у **всех без исключения** исследованных на сегодняшний день авторов.

По мнению Е.Н. Ширяева, в стихотворном тексте, который по ряду признаков сближается с разговорной речью, преобладают бессоюзные сложные предложения с недифференцированным значением [Ширяев 1982; 1985; 1986; Ковтунова 1986].

В отличие от Е.Н. Ширяева, мы доказали, что бессоюзные конструкции в стихе, как правило, имеют именно сочинительную семантику. Очевидно, что высокий процент бессоюзных предложений напрямую увеличивает сочинительность стихотворного текста, а следовательно, сопоставимость и соизмеримость стихотворных строк. Эта тенденция прослеживается как у всех русских, так и у всех французских авторов. Тем не менее, методика Ширяева, в том числе очень удобная подробная классификация типов смысловых отношений между частями бессоюзного предложения, дополненная количественными методами, может в дальнейшем оказаться очень полезной при характеристике индивидуальных предпочтений каждого из исследуемых авторов.

Мы также не считаем правильным преувеличивать сходство синтаксиса поэзии с синтаксисом разговорной речи. Как совершенно верно утверждали Е.А. Земская, М.В. Китайгородская и Е.Н. Ширяев в книге «Разговорная речь. Общие вопросы. Словообразование. Синтаксис», «одни и те же по форме единицы и конструкции могут нести разную функциональную нагрузку в разговорной речи и языке художественной литературы» [Земская и др. 1981: 156]. Необходимо в дальнейшем исследовать соотношение связей между предложениями с сочинительной и подчинительной семантикой в разговорной речи и сопоставить их с данными по стиху. Мы предполагаем, что разговорная речь может показать более высокий процент бессоюзных предложений с подчинительной семантикой.

Подсчеты по бессоюзным предложениям приведены в Таблицах 7, 8, 9.

Кроме того, когда мы делали подсчеты по двум языкам, то обнаружили ряд закономерностей, касающихся количественного соотношения разных типов придаточных в русских и французских сложноподчиненных предложениях. Мы выделяли три типа придаточных предложений: изъяснительные, определительные и обстоятельственные (ср. [Русск. гр. 1982]). Данные представлены в Таблицах 13–16.

Данные по французским авторам приведены в Таблицах 15, 16.

Основные особенности соотношения придаточных разных типов следующие.

1) У всех авторов в русском и французском языке от стиха к прозе увеличивается количество придаточных изъяснительных:

Ямщик изъяснил мне, что облако предвещало буран.

Или:

И сразу не разберешь, что поет, о чём поет.
(А.С. Пушкин. Капитанская дочка)

Очевидно, что чаще всего придаточные изъяснительные передают косвенную речь. А по нашим предварительным подсчетам, косвенная речь более характерна для прозы, чем для стиха.

2) У всех русских поэтов в стихе стабильно преобладают придаточные обстоятельственные:

Не мог он ямба от хорея,
Как мы ни бились, отличить.
(А.С. Пушкин. Евгений Онегин)

В русской прозе же преобладание того или иного типа придаточных зависит от конкретного автора.

У большинства же французских авторов и в стихе, и в прозе устойчиво преобладают придаточные определительные:

Je rêve de toutes les belles
Qui se promènent dans la nuit.
(P. Eluard. Poème pour la paix)

*Таблица 7*

**Количество бессоюзных связей от всех связей между предложениями в стихе и прозе русских авторов**
(за 100% принимается общее количество связей с сочинительной и подчинительной семантикой)

| Процент бессоюзия от общего количества связей (в скобках указано количество связей в абсолютных числах) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип текста | Фольклор XVII в. | Симеон Полоцкий (1629–1680) | Ломоносов (1711–1765) | Жуковский (1783–1852) | Пушкин (1799–1837) | Лермонтов (1814–1841) | Тютчев (1803–1873) | Фет (1820–1892) | Кузмин (1875–1936) | Блок (1880–1921) | Хлебников (1885–1922) | Ахматова (1889–1966) | Твардовский (1910–1971) | Бродский (1940–1996) |
| Стих | 68 (524) | 50 (167) | 44 (371) | 59,2 (266) | 54,8 (403) | 48,8 (408) | 47,2 (316) | 47 (262) | 36,9 (62) | 39,3 (174) | 47,4 (207) | 36,1 (147) | 43 (260) | 28,5 (77) |
| Проза | 35,2 (148) | 30 (371) | 14,5 (177) | 56 (396) | 25 (128) | 43 (663) | 13,5 (174) | 8,3 (84) | 20,5 (258) | 33 (383) | 31 (178) | 17,3 (122) | 21,3 (157) | 18,7 (198) |

*Таблица 8*

**Соотношение бессоюзных связей с сочинительной и подчинительной семантикой в стихе русских авторов**

| Количество связей, % (в скобках указаны абсолютные числа) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стих | Тип связи | Фольклор XVII вв. (эпический стих) | Симеон Полоцкий (1629–1680) | Ломоносов (1711–1765) | Жуковский (1783–1852) | Пушкин (1799–1837) | Лермонтов (1814–1841) | Тютчев (1803–1873) | Фет (1820–1892) | Кузмин (1875–1936) | Блок (1880–1921) | Хлебников (1885–1922) | Ахматова (1889–1966) | Твардовский (1910–1971) | Бродский (1940–1996) |
| | Бессоюзные связи с сочинительной семантикой, % | 97,7 (512) | 98,8 (165) | 81,9 (304) | 97,7 (260) | 87,8 (354) | 95,8 (391) | 96,8 (306) | 97 (254) | 92 (57) | 77 (134) | 97,6 (202) | 99,3 (146) | 94,6 (246) | 85,7 (66) |
| | Бессоюзные связи с подчинительной семантикой, % | 2,3 (12) | 1,2 (2) | 18,1 (67) | 2,3 (6) | 12,2 (49) | 4,2 (17) | 3,2 (10) | 3 (8) | 8 (5) | 23 (40) | 2,4 (5) | 0,7 (1) | 5,4 (14) | 14,3 (11) |

*Таблица 9*

**Соотношение бессоюзных связей с сочинительной и подчинительной семантикой в прозе русских авторов**

| Количество связей, % (в скобках указаны абсолютные числа) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Тип связи | Сказки Белозерского края | Симеон Полоцкий (1629–1680) | Ломоносов (1711–1765) | Жуковский (1783–1852) | Пушкин (1799–1837) | Лермонтов (1814–1841) | Тютчев (1803–1873) | Фет (1820–1892) | Кузмин (1875–1936) | Блок (1880–1921) | Хлебников (1885–1922) | Ахматова (1889–1966) | Твардовский (1910–1971) | Бродский (1940–1996) |
| Проза | Бессоюзные связи с сочинительной семантикой, % | 78,4 (116) | 87,6 (325) | 97,2 (171) | 89,4 (354) | 68,8 (88) | 85,7 (568) | 72,3 (126) | 54,8 (46) | 91,5 (236) | 72,6 (278) | 82 (146) | 82,8 (101) | 77 (121) | 70,2 (139) |
| | Бессоюзные связи с подчинительной семантикой, % | 21,6 (32) | 12,4 (46) | 2,8 (6) | 10,6 (42) | 31,2 (40) | 14,3 (95) | 27,7 (48) | 45,2 (38) | 8,5 (22) | 27,4 (105) | 18 (32) | 17,2 (21) | 23 (36) | 29,8 (59) |

*Таблица 10*

**Количество бессоюзных связей от всех связей между предложениями в стихе и прозе французских авторов**
(за 100% принимается общее количество связей с сочинительной и подчинительной семантикой)

| Процент бессоюзия от общего количества связей ( в скобках указаны абсолютные числа) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип текста | Вольтер (1694–1778) | Гюго (1802–1885) | де Нерваль (1808–1855) | Бодлер (1821–1867) | Малларме (1842–1898) | Верлен (1844–1896) | Валери (1871–1945) | Элюар (1895–1952) |
| Стих | 64 (648) | 64 (815) | 48,8 (103) | 36,8 (164) | 26 (60) | 32,8 (220) | 36,2 (167) | 59 (269) |
| Проза | 25,7 (423) | 13,2 (138) | 19 (155) | 16,2 (155) | 18,5 (285) | 13 (247) | 15 (267) | 22 (257) |

*Таблица 11*

**Соотношение бессоюзных связей с сочинительной и подчинительной семантикой в стихе французских авторов**

| Количество связей, % (в скобках указаны абсолютные числа) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Тип связи | Вольтер (1694–1778) | Гюго (1802–1885) | де Нерваль (1808–1855) | Бодлер (1821–1867) | Малларме (1842–1898) | Верлен (1844–1896) | Валери (1871–1945) | Элюар (1895–1952) |
| Стих | Бессоюзные связи с сочинительной семантикой, (%) | 95,2 (617) | 98,2 (800) | 100 (103) | 100 (164) | 98,3 (59) | 98,2 (216) | 100 (167) | 99,3 (267) |
| | Бессоюзные связи с подчинительной семантикой, (%) | 4,8 (31) | 1,8 (15) | 0 (0) | 0 (0) | 1,7 (1) | 1,8 (4) | 0 (0) | 0,7 (2) |

*Таблица 12*

**Соотношение бессоюзных связей с сочинительной и подчинительной семантикой в прозе французских авторов**

| Количество связей, % (в скобках указаны абсолютные числа) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Тип связи | Вольтер (1694–1778) | Гюго (1802–1885) | де Нерваль (1808–1855) | Бодлер (1821–1867) | Малларме (1842–1898) | Верлен (1844–1896) | Валери (1871–1945) | Элюар (1895–1952) |
| Проза | Бессоюзные связи с сочинительной семантикой, (%) | 90,3 (382) | 96,4 (133) | 96,8 (150) | 98 (152) | 98,2 (280) | 84,2 (208) | 93,6 (250) | 91,4 (235) |
| | Бессоюзные связи с подчинительной семантикой, (%) | 9,7 (41) | 3,6 (5) | 3,2 (5) | 2 (3) | 1,8 (5) | 15,8 (39) | 6,4 (17) | 8,6 (22) |

*Таблица 13*

**Соотношение типов придаточных у русских авторов в стихе**

| Стих | Тип придаточных | Фольклор XVII в. | Симеон Полоцкий (1629–1680) | Ломоносов (1711–1765) | Жуковский (1783–1852) | Пушкин (1799–1837) | Лермонтов (1814–1841) | Тютчев (1803–1873) | Фет (1820–1892) | Кузмин (1875–1936) | Блок (1880–1921) | Хлебников (1885–1922) | Ахматова (1889–1966) | Твардовский (1910–1971) | Бродский (1940–1996) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество связей, % (в скобках указаны абсолютные числа) | | | | | | | | | | | | | |
| | Определительные, % | 10 (6) | 19 (24) | 38,7 (148) | 31,7 (26) | 8,6 (16) | 19,1 (36) | 12 (17) | 20,4 (23) | 19 (12) | 14 (18) | 14,6 (15) | 27,5 (25) | 24,6 (52) | 19,1 (25) |
| | Изъяснительные, % | 43,3 (26) | 12 (15) | 16 (61) | 19,5 (16) | 22,2 (41) | 28,2 (53) | 30 (43) | 26,6 (30) | 19 (12) | 24 (31) | 22,3 (23) | 7,7 (7) | 30,8 (65) | 20,6 (27) |
| | Обстоятельственные, % | 46,7 (28) | 69 (87) | 45,3 (173) | 48,8 (40) | 69,2 (128) | 52,7 (99) | 58 (83) | 53 (60) | 62 (39) | 62 (80) | 63,1 (65) | 64,8 (59) | 44,6 (94) | 60,3 (79) |

*Таблица 14*

**Соотношение разных типов придаточных в прозе русских авторов**

| Проза | Тип придаточных | Сказки Белозерского края | Симеон Полоцкий (1629–1680) | Ломоносов (1711–1765) | Жуковский (1783–1852) | Пушкин (1799–1837) | Лермонтов (1814–1841) | Тютчев (1803–1873) | Фет (1820–1892) | Кузмин (1875–1936) | Блок (1880–1921) | Хлебников (1885–1922) | Ахматова (1889–1966) | Твардовский (1910–1971) | Бродский (1940–1996) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество связей, % (в скобках указаны абсолютные числа) | | | | | | | | | | | | | |
| | Определительные, % | 13,6 (18) | 15 (100) | 34,3 (322) | 44,8 (120) | 31,5 (103) | 22,3 (148) | 23,3 (213) | 28,8 (202) | 25,8 (193) | 26,1 (173) | 31,4 (96) | 30,1 (135) | 31,4 (156) | 23 (172) |
| | Изъяснительные, % | 33,8 (45) | 6,3 (42) | 21 (197) | 23,2 (62) | 37,9 (124) | 34 (227) | 48 (439) | 34,9 (245) | 38 (284) | 29,3 (194) | 34,6 (106) | 42,4 (190) | 35,3 (175) | 35 (264) |
| | Обстоятельственные, % | 52,6 (70) | 78,7 (527) | 44,7 (420) | 32 (86) | 30,6 (100) | 43,7 (291) | 28,7 (262) | 36,3 (255) | 36,2 (271) | 44,6 (295) | 34 (104) | 27,5 (123) | 33,3 (165) | 42 (315) |

*Таблица 15*

**Соотношение придаточных предложений в стихе французских авторов**

| Количество связей, % (в скобках указаны абсолютные числа) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стих | Тип придаточных | Вольтер (1694–1778) | Гюго (1802–1885) | де Нерваль (1808–1855) | Бодлер (1821-1867) | Малларме (1842–1898) | Верлен (1844–1896) | Валери (1871–1945) | Элюар (1895–1952) |
| | Определительные, % | 50 (143) | 33,4 (112) | 35 (20) | 65,4 (123) | 41,8 (59) | 54 (156) | 63,3 (133) | 50 (53) |
| | Изъяснительные, % | 10 (29) | 16,1 (54) | 10,7 (6) | 3,7 (7) | 10 (14) | 7 (19) | 2,9 (6) | 6 (7) |
| | Обстоятельственные, % | 40 (114) | 50,5 (169) | 54,3 (31) | 30,9 (58) | 48,2 (68) | 39 (113) | 33,8 (71) | 44 (47) |

*Таблица 16*

**Соотношение придаточных предложений в прозе французских авторов**

| Количество связей, % (в скобках указаны абсолютные числа) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Проза | Тип придаточных | Вольтер (1694–1778) | Гюго (1802–1885) | де Нерваль (1808–1855) | Бодлер (1821–1867) | Малларме (1842–1898) | Верлен (1844–1896) | Валери (1871–1945) | Элюар (1895–1952) |
| | Определительные, % | 39 (393) | 56,9 (452) | 60,4 (331) | 51,7 (323) | 52,4 (577) | 55 (762) | 50 (646) | 52,1 (401) |
| | Изъяснительные, % | 33 (332) | 19,8 (158) | 20,3 (111) | 28,6 (179) | 15,4 (170) | 13 (179) | 27,2 (354) | 23,9 (183) |
| | Обстоятельственные, % | 28 (284) | 23,3 (185) | 19,3 (106) | 19,7 (123) | 32,2 (355) | 32 (443) | 22,8 (301) | 24 (185) |

Пока не ясно, чем вызвана эта – достаточно устойчивая – закономерность. Одно из возможных объяснений – что в русском языке слово *который* – трехсложное, а его формы *которая*, *которого* и т.д. и вовсе четырехсложные, и поэтому плохо укладываются в стихотворную речь, предпочитающую более короткие слова. Построить определительное придаточное, избегая союза *который*, в русском языке можно (например, используя *что* в значении *который*), но только в именительном и винительном падежах. Кроме того, французской конструкции с *qui* в русском языке нередко соответствует не финитное предложение, а причастие или причастный оборот. Хотя в русском стихе причастия встречаются гораздо реже, чем в прозе, тем не менее (приносим за эти подсчеты благодарность Д.В. Сичинаве), по данным Национального корпуса русского языка, в миллионном подкорпусе поэзии 1800–1850 гг. причастия все же встречаются в 17 раз чаще, чем лексема *который*, в том числе причастия действительного залога – в 4 раза (реально цифра может быть не вполне точна из-за различного разграничения причастия и прилагательного, омонимии и т. п., но на порядок отношения это не влияет). Разумеется, нельзя исключать и влияние на это соотношение языковой картины мира, стоящей за каждым из исследованных языков.

Во французском же языке конструкции с *qui*, *que* очень продуктивны и гораздо употребительнее причастий.

Итак, из нашей работы можно сделать следующий основной вывод. У всех исследованных авторов сочинительных связей в стихе больше, чем в прозе.

Тот факт, что данная закономерность встречается не только в русской силлаботонике разных периодов и литературных направлений, но и во французском языке, т.е. в другом языке и другой системе стихосложения, позволяет нам предположить, что мы имеем дело с некоторой общей закономерностью, отличающей стих от прозы.

Выявленная закономерность усиливает один из основных признаков стиха, а именно: сопоставимость, соизмеримость, психологическую равноправность строк в стихотворном тексте. Важность описанного нами синтаксического механизма для существования стихотворной формы подтверждается тем, что это одно из немногих известных сегодня лингвистических отличий стиха от прозы, присутствующее во всем исследованном на данный момент материале. По-видимому, это один из лингвистических механизмов, стоящих за базовым для стиховедения понятием сопоставимости («парадигматичности») стихотворных строк.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ


Буякова 2007 – *М.В. Буякова*. Сочинительные и подчинительные связи в стихе и в прозе в русском и французском языке // Лингвистика и поэтика в начале третьего тысячелетия. М., 2007.

Буякова 2008 – *М.В. Буякова*. Сочинение и подчинение в стихе и прозе в русском и французском языке // Русский язык в научном освещении. 2008. № 16 (2).

Гаспаров 1981 – *М.Л. Гаспаров*. Ритм и синтаксис: происхождение лесенки Маяковского // Проблемы структурной лингвистики 1979. М., 1981.

Гаспаров 2001 – *М.Л. Гаспаров*. Русский стих начала XX в. в комментариях. М., 2001.

Гаспаров, Скулачева 2004 – *М.Л. Гаспаров*, *Т.В. Скулачева*. Статьи о лингвистике стиха. М., 2004.

Ерешко 1996 – *А.Е. Ерешко*. Интонационное оформление строки стихотворного текста // Славянский стих: стиховедение, лингвистика и поэтика. М., 1996.

Земская и др. 1981 – *Е.А. Земская*, *М.В. Китайгородская*, *Е.Н. Ширяев*. Русская разговорная речь. Общие вопросы. Словообразование. Синтаксис. М., 1981.

Златоустова 1981 – *Л.В. Златоустова*. Фонетические единицы русской речи. М., 1981.

Ковтунова 1986 – *И.И. Ковтунова*. Поэтический синтаксис. М., 1986.

Кормилов 1995 – *С.И. Кормилов*. Маргинальные системы русского стихосложения. М., 1995.

Николаева 1969 – *Т.М. Николаева*. Интонация сложного предложения в славянских языках. Опыт экспериментального исследования. М., 1969.

Орлицкий 1991 – *Ю.Б. Орлицкий*. Стих и проза в русской литературе: Очерки истории и теории. Воронеж, 1991.

Орлицкий 2002 – *Ю.Б. Орлицкий*. Стих и проза в русской литературе. М., 2002.

Русск. гр. 1982 – Русская грамматика. Т. II. Синтаксис. М., 1982.

Грам. русск. яз. 1954 – Грамматика русского языка. Т II: Синтаксис. Часть вторая. М., 1954.

Скулачева 1989 – *Т.В. Скулачева*. К вопросу о взаимодействии ритма и синтаксиса в стихотворной строке: английский и русский четырехстопный ямб // ИАН СЛЯ. Т. 48. 1989. № 2.

Скулачева 1990 – *Т.В. Скулачева*. Взаимодействие ритмической организации и синтаксического построения стихотворного текста: Дис. … канд. филол. наук. М., 1990.

Скулачева 1992 – *Т.В. Скулачева*. Синтаксическая организация строк Попа и Байрона // Актуальные проблемы англистики. Архангельск, 1992.

Скулачева 1996 – *Т.В. Скулачева*. Лингвистика стиха: структура стихотворной строки // Славянский стих: стиховедение, лингвистика и поэтика. М., 1996.

Скулачева 2006 – *Т.В. Скулачева*. Взаимодействие ритма, морфологии и синтаксиса в русском и английском стихе (четырехстопный ямб) // Стих, язык, поэзия. Памяти М.Л. Гаспарова. М., 2006.
Скулачева 2007 – *Т.В. Скулачева*. Стих и проза: зачем нужна стихотворная строка? // Лингвистика и поэтика в начале третьего тысячелетия. М., 2007.
Тынянов 1924 – *Ю.Н. Тынянов*. Проблема стихотворного языка. Л., 1924.
Шапир 1996 – *М.И. Шапир*. Стих и проза: пространство-время поэтического текста (Основные положения) // Славянский стих: стиховедение, лингвистика и поэтика. М., 1996.
Шапир 2000 – *М.И. Шапир*. Universum versus: язык – стих – смысл в русской поэзии XVIII–XX веков. Кн. 1. М., 2000.
Шапир 2003 – *М.И. Шапир*. Три реформы русского стихотворного синтаксиса // ВЯ. 2003. № 3.
Ширяев 1982 – *Е.Н. Ширяев*. Бессоюзное сложное предложение: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1982.
Ширяев 1985 – *Е.Н. Ширяев*. Бессоюзные сложные предложения в стихотворной поэтической речи // Восточные славяне: языки, история, культура. М., 1985.
Ширяев 1986 – *Е.Н. Ширяев*. Бессоюзное сложное предложение в современном русском языке. М., 1986.
Ярхо 1969 – *Б.И. Ярхо*. Методология точного литературоведения // Труды по знаковым системам. Вып. 4. Тарту, 1969.
Ярхо 2006 – *Б.И. Ярхо*. Методология точного литературоведения / Под ред. М.И. Шапира. М., 2006.
Tarlinskaja 1984 – *M. Tarlinskaja*. Rhythm – Morphology-Syntax – Rhythm // Style. 1984. V. 18. № 1.
Wagner, Pinchon 1982 – *R. Wagner, J. Pinchon*. Grammaire du français classique et moderne. Paris, 1982.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 2010

© 2010 г. А.Л. ШИЛОВ

# ТОПОНИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ПУТЕЙ ЭКСПАНСИИ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН В ПОДМОСКОВЬЕ

Несмотря на то, что диалекты восточных славян были весьма близки, в них имелись и специфические термины (или специфические варианты общеславянских терминов), и свои фонетические особенности. Это дает возможность, на основе ареального анализа некоторых групп топонимов, уточнить пути миграции и области преимущественного расселения летописных племен (вятичи, кривичи, северяне) в Центральной России. Детальный анализ, произведенный для территории Суздальской Руси, показал, что первая волна кривичей, чей диалект лег в основу русских говоров этой территории, шла не по Верхней Волге (из полоцко-смоленских земель), а севернее – по Мсте, а затем по Тверце и Мологе, т.е. из псковско-новгородских пределов.

Ареальный метод в исследовании топонимии (проще говоря – картографирование топонимов или их элементов – основ, топоформантов) неоднократно приводил к ярким и достоверным результатам, верифицирующим данные археологии, этнографии, языкознания (или, напротив, верифицируемым данными указанных наук). Топонимические данные издавна широко и плодотворно используются для реконструкции границ расселения той или иной этнической (языковой, диалектной) группы, равно как и маршрутов древних миграций населения.

Перенос топонимов, как и местных географических и хозяйственных терминов (особенно тех, что являлись диалектизмами еще на прародине будущих мигрантов, либо ставших таковыми уже в новых местах обитания – в соседстве с иными родственными диалектами, либо, наконец, заимствованными на путях миграции), а также специфических словообразовательных моделей является свидетельством перемещения самих носителей топонимии. О.Н. Трубачев неоднократно подчеркивал значение ономастики как «сигнала об особых этнолингвистических отношениях древности» [Трубачев 1971; 1974: 63]. Ср. также: «Подлинно тождественные названия драгоценны для науки: раз они одинаковы не случайно, значит они отражают общность тех, кто их создал <...> Основных причин тождественности две: миграции населения и параллельное возникновение из одинаковых условий» [Никонов 1965: 114]. Справедливо и следующее утверждение «Принято считать, что топоним этнического происхождения – это такое географическое название, в основе которого лежит обозначение какого-либо этноса – племени, рода или более мелкого родо-племенного ответвления. Но этнической, т.е. заключающей в себе этническую информацию, делает топонимию и просто возможность соотнесения ее с каким-либо этносом <...> В таком случае в топонимах (преимущественно гидронимах) отражается не название этноса, а признаки его языка» [Смолицкая 1987: 23].

Приведем некоторые примеры, ограничиваясь восточнославянской топонимией. Распространение апеллятива *лоск* ‘овраг, низина, лощина’ по данным топонимии в целом совпадает с территорией расселения вятичей по ПВЛ; он носил диалектный характер [Смолицкая 1978]. Совпадение ареала гидронимии от общеславянских **dьbrъ/*dъbrъ* (р. *Дебря* и др.) с ареалом археологической культуры кривичей в бассейне нижнего течения Вислы, Верхнего Поднепровья и среднего левобережного Поочья дает основание считать, что в языке кривичей было активно слово *дебрь*. Точно так же совпадение

ареала топонимии от общеславянского **dolъ* с ареалом культуры вятичей, выявленным археологами, – тоже факт этнического характера [Смолицкая 1987].

В народной ботанической терминологии хорошо известны названия растительных сообществ озерных, стоячих или медленно текущих водоемов *сита* и *рогоз*. Исследования по географии этих терминов показывают, что *сита* и производные от него топонимы распространены на севере и северо-западе славянских территорий, преимущественно к северу от параллели 50° с.ш., что позволяет связать их с областью расселения кривичей и новгородских словен. Термин *рогоз* и соответствующая топонимия хорошо представлены в среднем Поднепровье и на Карпатах, что говорит о вятичской (очевидно – и полянской и др.) принадлежности этого термина [Смолицкая 1981].

В подсечном земледелии этап вырубки леса и раскорчевки вырубленного участка характеризуется терминами, образованными от корней *дор* и *теребе*. Хотя значение этих терминов практически одинаково, области их распространения оказались различными. Термины от корня *дор* господствуют к северу от Москвы, вплоть до Архангельской области, и к западу до нижней и средней Вислы, а от корня *теребе* – к югу и юго-западу, вплоть до Карпат, Чехии и Венгрии [Там же]. Такое географическое положение областей с преобладанием этих терминов позволяет связывать *дор* с областью расселения кривичей и новгородских словен, а *теребе* – вятичей, полян и иных южных восточнославянских племен.

Некоторые ареалы имеют более узкое распределение. Они особенно показательны и ценны, если соответствующий апеллятив являлся диалектным или вовсе специфичным на славянском фоне. Так, специфический ареал в вятичских землях верхнего и среднего Поочья образует земледельческий термин *корь/корёк* (на фоне более распространенного *корч-*) [Смолицкая 1970] (поддержано в [Трубачев 1997: 108–109]). Ареал гидронимов *Чечера*, *Чечора* (*чечера* ‘старица’) маркирует путь расселения вятичей в Восточной Европе [Шилов 2006]. Ареал гидронимов *Обыток/Обиток* (*обыток* ‘речной остров’ на фоне общевосточнославянского *оток*) указывает на область первоначального расселения и зоны позднейшей экспансии северян [Шилов 2002; 2005; 2007а].

Сложнее дело обстоит с гидронимами, основанными на термине *плота* ‘лог, балка’. Ареал соответствующих топонимов охватывает древние земли как вятичей, так и северян, а истоки самого славянского слова неясны (конкурируют славянская, балтская и финская (через балтское посредство) версии; топонимия указывает на юго-восток Прибалтики как на возможный исток ареала) [Трубачев 1994: 9; 1997: 303; Шилов 2007а].

Теперь сузим поле зрения и обратимся к Подмосковью – будущей юго-западной периферии Владимиро-Суздальского княжества и к некоторым соседним территориям.

Археолог В.В. Седов, активно привлекавший в своих работах топонимические данные, в свое время писал: «Славяно-русский гидронимический пласт в Центре относительно поздний. Археологи разработали детали славянского освоения этой территории – выявлено несколько разновременных потоков колонизационного движения, намечены племенные ареалы славян. Однако каких-либо различий в славянской гидронимии этих ареалов пока не обнаруживается (выделено нами. – *А.Ш.*). Отчасти это оправдывается тем, что славяне в период освоения рассматриваемой территории не были четко дифференцированы в диалектном отношении. Тем не менее, детали славянской колонизации должны были бы отразиться в гидронимии. Очевидно, тема “Славянское расселение в Центре по данным гидронимии” еще ждет исследователей» [Седов 1974: 33].

Однако уже в 1971 г. появилась статья О.Н. Трубачева, в которой излагались основные критерии присутствия той или иной славянской племенной группы по топонимическим данным (применительно к Подмосковью речь шла о полянах и вятичах)[1] [Трубачев 1971]. Позднее этими вопросами активно и успешно занималась Г.П. Смолицкая (см. о ее работах выше). Нами, как уже говорилось, была показана вятичская принадлежность гидронимов *Чечера* (исток которых можно видеть в западнославянских землях), а также инновационных (вятичских же) гидронимов *Нахабна* [Агеева, Шилов 2005].

[1] Не говорим уже об еще более ранней работе Ф. Буяка [Bujak 1949].

Но, как известно, в Подмосковье и ближайших к нему территориях встретились два колонизационных славянских потока: юго-западный вятичский (о топонимических проявлениях которого достаточно сказано выше) и северо-западный кривичский (к кривичам, по мнению многих авторов, добавились позднее и новгородские словене)[2]. Историк В.А. Кучкин пишет: «Земли Верхнего Поволжья и Волго-Окского междуречья, с течением времени ставшие географическим ядром русской государственности <...>, были заселены славянами в сравнительно позднее время. Работы археологов выявили три основных направления славянской колонизации этой территории: с северо-запада по рекам Мсте, Мологе, Волге и далее по правым притокам Волги и левым притокам Клязьмы шла колонизационная волна новгородских словен, ославянившейся веси и, возможно, чуди; с запада, с верховьев Днепра и Волги сюда двигались смоленские кривичи; со стороны юго-запада и юга по Оке и далее вверх по ее левым притокам расселялись вятичи. Начало проникновения словен в междуречье Волги и Оки приходится на рубеж IX и X вв. Примерно в то же время началась и кривичская колонизация этого региона. Вятичи появились здесь несколько позднее – в конце X – начале XI в.» [Кучкин 1984].

Собственно говоря, вслед за А.А. Шахматовым, считается, что в основу говоров Владимиро-Суздальского княжества лег восточнокривичский (он же южнокривичский, смоленско-полоцкий) диалект [Мельниченко 2007; Николаев 1988; Зализняк 1988: 176]. Археолог В.В. Седов полагает, что кривичская колонизация Волго-Окского междуречья началась в основном в XI в., и подчеркивает: «не подлежит сомнению, что осуществлялась она из Смоленской земли» [Седов 1982: 189][3]. Не только археологические, но и лексические данные [Николаев 1988: 118–119, карта 2] рисовали «кривичский пояс» по Верхней Волге и ее правобережью вплоть до Оки южнее, без захвата более северных территорий[4].

В то же время, топонимические признаки кривичского диалекта во Владимирско-Суздальских землях, как кажется, в литературе специально не рассматривались. Между тем, явно кривичские по происхождению топонимы на данной территории оказались достаточно выразительными. Забегая вперед, позволим себе утверждать, что указывают они, вопреки вышесказанному, вовсе не на южных и восточных (полоцко-смоленских) кривичей или новгородских словен, а на северных (псковских) кривичей как первых славянских насельников Суздальской земли.

Для начала рассмотрим два специфических топонимных ареала, маркирующих, по нашему мнению, древний «северный» путь кривичей на восток – вплоть до Ростово-Суздальской Руси (см. также наши ранние работы [Шилов 2002; 2005]). Первый (и основной) из них содержит элемент *гвозд*[5]:

*Гвоздово, Гвоздовичи, Гвозды* (3) – селения в Белоруссии [Жучкевич 1971];

*мохъ Гвоздавской* (близ р. Олтица и оз. Ольшанское) в Смоленской обл., 1729 г.;

---

[2] «Словене и восточные кривичи, в силу стеснявших их с запада и с юга условий, направляют свои колонизационные движения на восток и северо-восток... Москва лежала на самой племенной границе между восточными кривичами и вятичами: первые сидели восточнее и севернее Москвы, вторые – западнее и южнее от нее» [Шахматов 1915: 111–112].

[3] Согласно В.В. Седову, ареал кривичских браслетообразных височных колец с завязанными концами от Верхнего Поднепровья уходил на восток. Сначала он узкой полосой тянулся между поречьем тверского течения Волги, Москвы-реки и Клязьмы, затем расширялся, охватывая Ярославское Поволжье и всю Владимирско-Суздальскую землю. На Владимирщине кривичи пересекли Клязьму и заселили часть мещерско-муромских земель, включая северные районы будущей Рязанской земли.

[4] Ср.: «Следует обратить внимание на то, что на старой кривичской территории все показанные на карте изоглоссы “кривичского пояса” одновременно засвидетельствованы лишь на южно-псковской территории, приблизительно в районе Опочки» [Николаев 1988: 138].

[5] Помимо указанных ниже источников, использованы топографические карты 1 : 200000 и материалы каталога [Смолицкая 1976].

*Загвоздье* у р. Можайка в истоках Зап. Двины;
*Загвоздье* на р. Скоковка в правобережье Верхней Волги;
*Гвоздянский погост* – центр *Гвоздинской губы* к юго-востоку от Чудского озера, 1585–1587 гг. [Янин 1998: 117];
*Гвоздово* на р. Ждыня, лп р. Полы басс. оз. Ильмень;
*Гвоздец* – дер. в СЗ Приильменье (1497/98 г.) [Анкудинов 2007: 289];
*Загвоздье* на Волхове, в 8 км выше Старой Ладоги;
*Гвоздки* на оз. Холмское в верховьях Березайки – лп Мсты;
*Гвоздень* (*Гвозденский ручей*) – пр. Чагодощи (не позднее 1598 г.);
*Гвоздино* (ныне *Старое Гвоздино*) в Бежецком Верхе (в верховьях Мологи), XV в. [АСЭИ, 3: № 82];
*Гвозды* Городецкого уезда (близ Бежецка на Верхней Мологе), ок. 1570 г. [ПКНЗ, 3: 212];
*лес Гвоздевский* у р. Сохоть басс. Мологи;
*Гвоздни* на р. Могоча близ Торжка (XVI в. [АСЭИ, 3]; чертеж 1680 г. [Кусов 1993: № 445]);
р. *Гвозденка* у Переяславля-Залесского (XV в. [АСЭИ, 3: № 472]);
*Гвоздинка* (*Гвосковка*)[6] – пр. Горковки, л.пр. Нерли, л.пр. Клязьмы;
*Гвоздня* – пп Вельги, лп Нудоли, пп Истры (1567–1569 г. [РУПК]);
*Гвоздня* (план 1663 г. [Кусов 1993: № 236]), *Гвозденка*, ныне *Гвоздянка* – лп Пахры;
*Гвоздна* (*Гвоздня*) – волость (1336 г. [ДДГ: 7]) по р. *Гвоздна* басс. Цны – лп Оки;
*Гвоздня* – пп Москвы меж Пахрой и Северкой;
*Гвоздянка* (*Гвоздевка*) – лп Оки ниже Москвы-реки;
*Гвоздня* и *Гвозденка* – рр. басс. р. Устань, пп Щуровца, лп Оки ниже Цны;
*Гвоздовка* – пп Черепети, пп Оки;
*Гвозденка* (*Гвоздевка*) – лп Скниги, пп Оки.

Ареал этот является продолжением южно- и западнославянского массива топонимов (см. *Гвозд* в Черногории, *Загвозд* в Хорватии, *Гвозд* и р. *Гвозднице* в Словакии, *Гвоздец, Гвоздов, Гвоздовка, Загвоздье* на западе Украины и др.), которые связаны со слав. **gvozdъ*, ср. старое диалектн. серб.-хорв. *гвозд* ‘лес’, др.-чеш. *hvozd* ‘лесистые горы’, чеш., слвц. *hvozd* ‘большой густой лес’, др.-польск. *gwozd* ‘лес в гористой местности’ [ЭССЯ, 7: 185]). В исторических и диалектных словарях русского языка слова *гвозд* ‘лес, лес на возвышенности’ нет, хотя оно присутствует в рязанском документе XV в.: «в вотчине в Обедовце за рекою… по *гвость* к Салотче прямя» [АСЭИ, 3: № 341а]. Заметим, что еще А.М. Селищев справедливо связывал название древней подмосковной волости *Гвоздна* не с *гвоздем*, а с *гвоздом* в значении ‘лес’, ничуть не сомневаясь в реальности этого слова у восточных славян [Селищев 1968: 64]. Но здесь необходимо существенное уточнение.

На восточнославянской территории топонимный ареал «гвозд» весьма специфичен. Западная его часть практически совпадает с исходной областью летописных кривичей в Восточной Европе: «кривичи же седять верхъ Днепра и верхъ Двины и верхъ Волги». Как можно видеть, из Белоруссии он разреженно уходит на северо-восток – к верховьям Западной Двины, Днепра и Волги (район летописного Оковского леса), и... затем к востоку обрывается. Подобные названия появляются лишь в Подмосковье. Если довериться выводам археологов и лингвистов (см. выше), может создаться впечатление, что восточные кривичи, достигнув верховьев Волги, быстро по ней пробежали (проплыли), утерев пот лишь в Суздальских (мерянских) землях. Это, конечно, несерьезно.

Зато мы видим, что очень четко выраженная топонимическая изоглосса наводит скорее на мысль о «северных», псковско-новгородских кривичах, которые появились в Восточной Европе, очевидно, ранее своих полоцких и смоленских сородичей [Седов

[6] Колебание формы названия соответствует севернокривичскому преобразованию **stj, *zdj* > [ш'к'] ([с'к']), [ж'г'] [Зализняк 1988: 168].

1994][7]. Эта изоглосса уходит от Белоруссии сначала на север, в Причудье и Приильменье, затем – на восток (Помостье и Помоложье), а потом – на юг по Тверце и Шексне до Волги – до древних Ростово-Суздальских земель, включая Подмосковье, и до северных пределов древней Рязанской земли. Таким образом, кривичи, видимо, впервые прошли (в Суздальские земли) тем путем, что имплицитно «закреплялся» за более поздней миграцией новгородских словен.

Особенно выразительна описанная изоглосса на фоне аморфного ареала топонимов с элементами *гост/гоща*, который, развивая на восток соответствующий общеславянский топонимический тип, очерчивает в целом область раннего славянского освоения Восточной Европы. Этот ареал, надо сказать, гетерогенен. Часть соответствующих топонимов явно происходит из йотовых посессивов от двухосновных личных имен на *-гостъ* [Васильев 2005: 123–168], другая, и очень значительная, – от общеславянского **gostъ* (вариантом которого и является **gvozdъ*), др.-русск. **гостъ* 'лес' и производного от него **гоща* 'подсека, пожога; сведенный лес' [Шилов 1996: 79–85; 2007б]. Подобные названия особенно массовы в областях расселения как новгородских словен, так и полян и вятичей, но не в кривичских областях. Соответствующие топонимы, доходящие на северо-востоке до западной части Вологодской области, а на юго-востоке – до Рязанской, Тульской, Орловской и Воронежской областей, выклиниваются в восточной части *гвозд*-ареала[8], т.е. в Ростово-Суздальских землях [Смолицкая 1974: 60–61][9].

Любопытно, что, как указано выше, археологические и лексические данные рисовали «кривичский пояс» южнее – по Верхней Волге и ее правобережью вплоть до Оки, без захвата бассейнов Мсты и Мологи.

Приведенные же топонимические (см. ниже и *вельга*) и новые археологические данные по бассейну Мологи [Башенькин 1993; 1999] свидетельствуют об очень раннем проходе кривичей по «северной дуге», проходе, завершившемся в Подмосковье и некоторых ближайших к нему территориях[10]. На «южном» же, т.е. верхневолжском маршруте (до устья Тверцы), подобных названий нет именно по той причине, что кривичская миграция на восток и юго-восток из смоленско-полоцких пределов осуществлялась позже, когда термин *гвозд* уже ушел из речи этой кривичской группы.

Вторая («вспомогательная») группа топонимов, рассматриваемая в данной работе, содержит элемент *вельга*. Формально к соответствующему ареалу можно отнести следующие названия:

*Вельга* (*болотом Вельгою* в Пинском р-не Белоруссии, 1561–1566 г. [ПКПС: 91]).

*Вельго* – оз. в Псковской земле;

*Вельгия* – пп Мсты у Боровичей;

*Вельга* (и оз. *Велго*) – р. басс. р. Глубокая басс. Паши;

*Белая Вельга* – болото в левобережье Колпи – пп Суды;

*Вельга* – ручей, *Глухая Вельга, Туманова Вельга* – болота в Кадуйском р-не Вологодской обл.

*Семеновские Вельги* – торфяной массив, *Крылошенская Вельга* – болото в Хвойнинском р-не Новгородск. обл.;

*Заболотская Вельга* – болото у р. Смердомка – пп Чагоды;

---

[7] Есть много оснований полагать, что первым разделением славян являлось разделение на кривичей и всех прочих славян. Этим объясняется не только архаичность кривичского (древненовгородского) диалекта, но и ряд его сепаратных инноваций (см. [Соколянский 2003: 270–271, с лит.]).

[8] Равным образом, выклинивается этот ареал и в псковских землях – в бассейне р. Великой [Васильев 2005: 166; карта 6].

[9] Эта лакуна особенно бросается в глаза на фоне отсутствия таковой для ареала топонимов с *l*-epentheticum (сводку соответствующих названий см. в [Агеева, Микляев 1969]), также маркирующего область раннего восточнославянского расселения.

[10] Ср.: «Славяно-русское население проникает в Залесскую землю уже в IX столетии. Сюда по Мсте – Мологе – Волге хлынул поток переселенцев с северо-запада из районов новгородских земель» [Дубов 1990: 96].

*Перечерские Вельги* – болото в левобережье Чагоды;
*Вельги* – урочище в Устюженском р-не Вологодской обл.;
*Вельга* – озерко в болотах меж верховьев Орши и Сози – лп Волги;
*Вельга* – пп Ламы, пп Волги (XV в.) [АФЗХ, 2: № 2];
*Вельга* – лп Нудоли, пп Истры в Подмосковье (1510 г.) [АФЗХ, 2: № 47];
*Вельга* – пр. Поли, пп Клязьмы;
*Велго* – оз. в бывшем Спасском уезде Рязанской обл.

Топонимы этого типа полагали славянскими, причем перенесенными именно кривичами из бассейна Вислы, где уже с XIV в. известно употребление слова «большой» в форме *wielgi* (ср. там р. *Wielga*, бол. *Wielgi Rów*, оз. *Wielgie Głuche* и др.) [Агеева 2004: 158–159]. Ряд обстоятельств не позволяет, однако, принять данное объяснение для большей части приведенных названий. С некоторой долей вероятия оно может быть принято разве что для первых двух приведенных топонимов (т.е. они потенциально могут рассматриваться как восточная периферия западнославянского ареала «wielgi»). Но уже мстинское название *Вельгия*, в силу своей финали, является, скорее всего, «чудским» по происхождению. Далее к востоку наблюдается необъяснимый (в предположении единства ареала) разрыв.

В большинстве остальных случаев понятие «большой» вступает в резкое противоречие с размером соответствующих объектов – небольших речек, озер (как правило, в болотистой местности) или болот. Поэтому более оправданно связывать эти названия с термином *вельга*, ныне известным на северо-востоке Новгородской и северо-западе Вологодской областей в значении ‘чистое травянистое или моховое болото; топкое место, топь на болоте; низкое сырое заболоченное место; сухое место на болоте; покос на болотистом месте; болотная трава’. Его связывают с прибалтийско-финскими лексемами типа фин. *väljä* ‘обширный, широкий, большой, обильный (о воде); редкий; общественный лес, выгон, пастбище’, *välkeä* ‘обширный, просторный, редкий’, *välkky* ‘редкий, просторный, обширный; открытое место (в лесу), невсхожее место, проталина’ и т. п. [МСФУЗС: 79–81]. Нам более оправданным здесь видится иной источник – саамский (в указанном регионе бытования термина *вельга* саамских субстратных названий немало). Ср. с саам. *vielgad* ‘белый’ (*Vielgij* – кличка белолобого оленя) [KKLS: 741–742], а типологически – с русск. диалектн. *бель* (из *белый*) ‘моховое чистое болото; сенокос на сыром месте’, *белевина* ‘болотистое место, осока’ [СГРС: 90, 97].

Впрочем, то, что термин *вельга* отчетливо заимствован, для нас не столь существенно (как не существен, в конечном итоге, конкретный источник его заимствования), ибо основанные на нем названия являются уже заведомо славянскими по происхождению. Нам важно их распределение. А соответствующий ареал выразительно дублирует восточную часть «северно-кривичской трассы» термина *гвозд* (вплоть до того, что истринская *Вельга* имеет притоком речку *Гвоздню*).

Мы видим, что многие из обсуждаемых названий, несмотря на относительно малый размер соответствующих географических объектов, достаточно рано упоминаются в письменных документах, а точнее – столь рано, с какого времени эти документы для данных территорий вообще известны. Естественно, что письменная фиксация тех или иных топонимов (независимо даже от времени возникновения деловой и государственной документации как таковой) заведомо существенно отстает от времени их возникновения. Тем не менее, указанный факт присутствия ряда интересующих нас «кривичских» топонимов в ранних актах деловой письменности весьма показателен. Археология же на настоящий момент фиксирует наличие кривичских курганов VIII в. в Верхневолжье (Валдай, р. Шлина), VII в. на Мсте (у устья Белой) и V–VI вв. в басс. Мологи (рр. Чагода, Кабожа, Песь); в Московском регионе – минимум с XI в.

Но может быть, рассмотренные названия – это все-таки онимотворчество восточных кривичей, которые, по неясным для нас причинам, двинулись на восток не прямым путем по Верхней Волге (скажем, из-за противодействия местных неславянских племен), а огромной северной дугой, прошествовав мимо северных, т.е. псковских кривичей?

Нет. Если мы от исторической лексики перейдем к исторической фонетике, то увидим следующее. Надежно установлено, что в древнепсковском (resp. севернокривичском) диалекте реализовался рефлекс *kl*, *gl* праславянского **dl*, **tl* (на фоне рефлекса *л* иных восточнославянских, в том числе – и южнокривичских диалектов): *виглы*, а не *вилы, егла*, а не *ель*, *клещ*, а не *лещ*, *мыгло*, а не *мыло*, *сегло*, а не *село* и т. д. [Зализняк 1995: 40–41][11]. На основании данных писцовых книг, А.А. Зализняк говорит о том, что в западных новгородских пятинах (Водской и Шелонской) топонимы, в которых отражено это явление, господствуют, в то время как в восточных (Обонежской, Деревской и Бежецкой) с ними активно конкурируют топонимы с *л* (типа *Лещево*, *Елино*, *Вилино*) [Зализняк 1988: 167]. В целом это совершенно верно, но географическая привязка топонимов с *гл* в восточных пятинах показывает, что они там распределены отнюдь не равномерно, а почти исключительно сосредоточены вдоль вышеописанной северной «трассы кривичей» (с особым сгущением в районе верховьев Мсты и Мологи, где также часты топонимы с элементом *гвозд*)[12]. Нами найдены следующие примеры.

*Виглино* – дер. Покровского в Сорогошине погосте Бежецкой пятины (1568 г.) [ПКНЗ, 3: 155, 156], ныне дер. Лесновского р-на Тверской обл. меж двух истоков р. Обретинка – лп Сарагожи, лп Мологи; *Вигла* – пп Трубежа (Рязанского), пп Оки.

*Еглинская* – дер. Никольского на Оште погоста; *Еглино* и *Еглино на горе* – дер. Михайловского в Озерах погоста на Тихвине (1563 г.) [ПКОП: 56, 226]; оз. *Еглино* на р. *Еглинка* – пп Поломети; *Егла* – дер. на Мсте выше Боровичей; *Еглино* – дер. на оз. *Еглино* басс. оз. Городно в правобережье Песи; *Егловка* – пр. Каменки, пп Гуся, лп Оки в Мещере.

*Сеглино* – дер. на р. Мста в Бологовском р-не Тверской обл.; *Зеглино* – дер. у оз. Городно в правобережье Песи.

Наибольшую известность из подобных названий имеет, конечно, озеро *Клещино* (ныне *Плещеево*), на котором стоит Переславль-Залесский, ибо оно упомянуто уже Начальной летописью: «На Ростовьском озерѣ Меря а на *Клещинѣ озере* Меря же» [ПСРЛ, 1: 11]. Название это отнюдь не одиноко, см.: волостка *Клещево Поле* (позднее *Клещеполье*) в Турчасовском уезде на р. Онега (1550 г.) [АСМ: 101]; оз. *Верх., Ниж. Клещино* и дер. *Клещино* басс. оз. Городно в правобережье Песи; оз. *Клещино* и дер. *Бол., Мал. Клещино* в басс. оз Пирос на Березайке (граница Тверской и Новгородской обл.); дер. *Клещово* Покровского погоста на ЮЗ Бежецкой пятины (1498/99 г.) [ПКНЗ, 3: 242]; дер. *Клещино* и оз. *Клещино* Удомельской волости в Бежецкой пятине (1498/1499 г.) [ПКНЗ, 1: 158, 159] (север Тверской области в междуречье верховьев Мсты и Мологи); оз. *Клещино* на р. *Клещиница* (ныне *Клещенка*) – пр. Руны, пп Волги при ее выходе из оз. Стерж (1493 г.) [ДДГ, № 77: 290–291]; дер. *Клещево* Конаковского р-на на ЮВ Тверской обл.; овраг *Клещевский* у р. Чусловка – лп Москвы выше Рузы; руч. *Клещинский* – лп Яузы; вершина *Клещинская* – исток Язвы, лп Беспуты, пп Оки (выше устья Осетра); р. *Клещевая* – пр. Вожи, пп Оки выше Рязани.

Таким образом, весь комплекс рассмотренных топонимических данных хорошо согласуется с новейшими данными археологии, свидетельствующими о реальности ранней «северной» трассы кривичской экспансии на восток – вплоть до восточно-вепсских и мерянских земель, в которых позднее и возникло государственное образование, условно именуемое Ростово-Суздальской Русью. Проникновение туда южных (полоцко-смоленских) кривичей, равно как и ильменских словен, – дела уже заведомо более поздних времен.

---

[11] Явного проявления иных фонетических севернокривичских особенностей (см. о них [Зализняк 1988; Николаев 1988]) в топонимии ожидать (вернее – надежно выявить) трудно; еще в большей степени это относится к особенностям морфологическим.

[12] См. высказывание В.А. Никонова «Подлинное тождество доказательно только в соответствии целого комплекса топонимов» [Никонов 1965: 115].

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ


Агеева 2004 – *Р.А. Агеева.* Гидронимия Русского Северо-Запада как источник культурно-исторической информации. 2-е изд., испр. М., 2004.

Агеева, Микляев 1969 – *Р.А. Агеева, А.М. Микляев.* Топонимы с *-ля, -ль* на Северо-Западе СССР и проблема восточнославянского расселения // Проблемы восточнославянской топонимии. М., 1969.

Агеева, Шилов 2005 – *Р.А. Агеева, А.Л. Шилов.* Нахабино // Рр. 2005. № 2.

Анкудинов 2007 – *И.Ю. Анкудинов.* Предварительные итоги историко-географического изучения Ильменского Поозерья конца XV в. // Новгород и Новгородская земля. История и археология. Вып. 21. Великий Новгород, 2007.

АСМ – Акты Соловецкого монастыря 1479–1571 гг. Л., 1988.

АСЭИ – Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV – начала XVI в. Т. 1–3. М., 1952–1964.

АФЗХ – Акты феодального землевладения и хозяйства XIV – начала XVI в. Ч. 1–3. М., 1951–1961.

Башенькин 1993 – *А.Н. Башенькин.* Сопки и длинные курганы в юго-западном Белозерье // Славянская археология. 1990. Этногенез, расселение и духовная культура славян. Материалы по археологии России. Вып. 1. М., 1993.

Башенькин 1999 – *А.Н. Башенькин.* Финно-угры и славяне на Кобоже и Чагодоще // Чагода. Историко-краеведческий альманах. Вологда, 1999.

Васильев 2005 – *В.Л. Васильев.* Архаическая топонимия Новгородской земли (Древнеславянские деантропонимные образования). Великий Новгород, 2005.

ДДГ – Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. М.; Л., 1950.

Дубов 1990 – *И.В. Дубов.* Новые источники по истории Древней Руси: Учебное пособие. Л., 1990.

Жучкевич 1971 – *В.А. Жучкевич.* Краткий топонимический словарь Белоруссии. Минск, 1971.

Зализняк 1988 – *А.А. Зализняк.* Древненовгородский диалект и проблемы диалектного членения позднего праславянского языка // Славянское языкознание. X Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1988.

Зализняк 1995 – *А.А. Зализняк.* Древненовгородский диалект. М., 1995.

Кусов 1993 – *В.С. Кусов.* Чертежи земли Русской XVI–XVII вв. М., 1993.

Кучкин 1984 – *В.А. Кучкин.* Формирование государственной территории северо-восточной Руси в X–XIV вв. М., 1984.

Мельниченко 2007 – *Г.Г. Мельниченко.* К вопросу об этническом составе русского населения на территории Владимиро-Суздальского княжества XII – начала XIII в. (на материале современных говоров) // Г.Г. Мельниченко. Региональная лексикология и лексикография. Ярославль, 2007.

МСФУСЗ – Материалы для словаря финно-угро-самодийских заимствований в говорах Русского Севера. Вып. 1. Екатеринбург, 2004.

Николаев 1988 – *С.Л. Николаев.* Следы особенностей восточнославянских племенных диалектов в современных великорусских говорах. I. Кривичи // Балто-славянские исследования 1986. М., 1988.

Никонов 1965 – *В.А. Никонов.* Введение в топонимику. М., 1965.

ПКНЗ – Писцовые книги Новгородской земли. Т. 1. М., 1999; Т. 3. М., 2001.

ПКОП – Писцовые книги Обонежской пятины 1496 и 1563 гг. Л., 1930.

ПКПС – Писцовые книги Пинского староства 1561–1566 гг. Ч. 1. Вильна, 1874.

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей. Т. 1. М., 1997.

РУПК – Рузский уезд по писцовой книге 1567–1569 годов / Сост. С.Н. Кистерев, Л.А. Тимошина. М., 1997.

СГРС – Словарь говоров Русского Севера. Т. 1. Екатеринбург, 2001.

Седов 1974 – *В.В. Седов.* Гидронимические пласты и археологические культуры Центра // Вопросы географии. Сб. 94. М., 1974.

Седов 1982 – *В.В. Седов.* Восточные славяне в VI–XIII вв. М., 1982.
Седов 1994 – *В.В. Седов.* Первый этап славянского расселения в бассейнах озер Ильменя и Псковского // Новгородские археологические чтения. Новгород, 1994.
Селищев 1968 – *А.М. Селищев.* Избранные труды. М., 1968.
Смолицкая 1970 – *Г.П. Смолицкая.* Географический термин *корь/корёк* // Вопросы географии. Сб. 81. М., 1970.
Смолицкая 1974 – *Г.П. Смолицкая.* Картографирование гидронимии Поочья // Вопросы географии. Сб. 94. М., 1974.
Смолицкая 1976 – *Г.П. Смолицкая.* Гидронимия бассейна Оки (список рек и озер). М., 1976.
Смолицкая 1978 – *Г.П. Смолицкая.* Топонимический ареал и вопросы реконструкции лексической системы языка // ВЯ. 1978. № 4.
Смолицкая 1981 – *Г.П. Смолицкая.* Гидронимия бассейна Оки в ее отношении к истории словарного состава русского языка (проблема реконструкции): Дис. ... докт. филол. наук. М., 1981.
Смолицкая 1987 – *Г.П. Смолицкая.* Об одном этническом аспекте топонимики // Этническая топонимика. М., 1987.
Соколянский 2003 – *А.А. Соколянский.* Откуда есть пошел новгородский *хлѣбе* (историко-морфологический этюд) // Берестяные грамоты: 50 лет открытия и изучения. М., 2003.
Трубачев 1971 – *О.М. Трубачов.* Етимологічні споспереження над стратиграфією ранньої східнослов'янської топонимії // Мовознавство. 1971. № 6.
Трубачев 1974 – *О.Н. Трубачев.* Ранние славянские этнонимы – свидетели миграции славян // ВЯ. 1974. № 6.
Трубачев 1994 – *О.Н. Трубачев.* Праславянское лексическое наследие и древнерусская лексика дописьменного периода // Этимология 1991–1993. М., 1994.
Трубачев 1997 – *О.Н. Трубачев.* В поисках единства. Взгляд филолога на проблему истоков Руси. М., 1997.
Шахматов 1915 – *А.А. Шахматов.* Введение в курс истории русского языка. Ч. 1. Исторический процесс образования русских племен и наречий. Пг, 1915.
Шилов 1996 – *А.Л. Шилов.* Чудские мотивы в древнерусской топонимии. М., 1996.
Шилов 2002 – *А.Л. Шилов.* Битца и Гвоздянка // Рр. 2002. № 2.
Шилов 2005 – *А.Л. Шилов.* Топонимические свидетельства присутствия в Подмосковье летописных восточнославянских племен (в свете идей О.Н. Трубачева) // История и культура славян в зеркале языка: славянская лексикография. III чтения памяти академика О.Н. Трубачева из цикла «Славяне: язык, история». Тезисы докладов и выступлений. М., 2005.
Шилов 2006 – *А.Л. Шилов.* Термин *чечора* в волжской гидронимии // Ономастика Поволжья. Материалы X Международной конференции. Уфа, 2006.
Шилов 2007а – *А.Л. Шилов.* География и происхождение некоторых топонимических основ в Центральной и Южной России // И.И. Срезневский и история славяно-русской филологии: тенденции в науке, образовании и культуре (Материалы конференции). Рязань, 2007.
Шилов 2007б – *А.Л. Шилов.* К географии и происхождению топонимии с элементами **hatcha* и *aho* // Финно-угорская топонимия в ареальном аспекте. Материалы научного симпозиума. Петрозаводск, 2007.
ЭССЯ – Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 7. М., 1980.
Янин 1998 – *В.Л. Янин.* Новгород и Литва: пограничные ситуации XIII–XV веков. М., 1998.
Bujak 1949 – *F. Bujak.* Skąd przyszli Radymicze i Wjatycze na Ruś? // Światowit. T. XX. Warszawa, 1949.
KKLS – *T.I. Itkonen.* Koltan- ja kuolanlapin sanakirja. Helsinki, 1958.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 2010

© 2010 г. В.С. ПАНФИЛОВ

# КОММУНИКАТИВНЫЙ СИНТАКСИС КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА

Не будем торопиться с ответом, ведь когда целью является ответить, а не победить на беговой дорожке, выигрывает не расторопность, а правильность.

*С. Кьеркегор*. Философские крохи

Статья посвящена вопросу темо-рематической организации высказываний китайского языка. После уточнения понятий «тема» и «рема» следует классификация основных коммуникативных типов, а также выясняется соотношение синтаксических и коммуникативных ролей в простом предложении. Полученные результаты используются при рассмотрении коммуникативных возможностей включающих и сложных предложений.

## ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Различаясь по характеру своих задач, структурный и коммуникативный синтаксис вместе с тем имеют некоторые «точки пересечения», поэтому представляется целесообразным предварить наше исследование хотя бы фрагментарным изложением основных понятий структурного синтаксиса, имея в виду, что более подробные сведения и развернутую аргументацию читатель может получить в нашей работе [Панфилов 1993].

*Предложение* есть иерархически организованная структура, предназначенная для передачи некоторого мыслительного содержания. Определение предложения как структуры означает, что оно понимается в качестве абстрактной единицы языка, схемы (модели) синтаксических отношений, которая может быть представлена в виде формализованной записи. Иерархичность организации предполагает, что в предложении имеется абсолютно господствующий элемент, синтаксическая доминанта, которую условимся называть *сказуемым*. Сказуемое – это вершина предложения, в грамматическом плане характеризующаяся категорией утверждения / отрицания и обозначающая признак в самом широком смысле слова. Сказуемое – это, строго говоря, не член предложения, но минимальное предложение или, что то же самое, репрезентант всего предложения [Ревзин 1977: 186].

*Член предложения* представляет собой категорию функциональную, это элемент предложения, имеющий синтаксическую связь либо со сказуемым, либо с предложением в целом. Материально член предложения может быть выражен отдельным словом, словосочетанием и даже предложением, поэтому, когда говорят, что член предложения синтаксически неделим, то имеют в виду целостность его позиции в иерархической организации предложения, а вовсе не невозможность охарактеризовать синтаксически компоненты члена предложения при его сложном материальном составе.

Речевую реализацию предложения будем называть *высказыванием*. Поскольку, однако, этим термином может быть обозначена любая речевая единица, подчеркнем еще раз, что данная работа имеет в виду только такие высказывания, структурным инвариантом которых является модель предложения. Таким образом, предложение, реализованное в речи, – это синтаксическая схема, получившая конкретное лексическое наполнение, упорядоченная линейно, произносимая с определенной интонацией, употребляющаяся

в определенном контексте и обладающая соответствующим этому контексту актуальным членением.

Реализацию предложения в речи, его превращение в высказывание будем называть *актуализацией*. Под актуализацией в современной лингвистике понимают «соотнесение потенциального (виртуального) знака с действительностью, состоящее в приспособлении виртуальных элементов языка к требованиям данной речевой ситуации посредством актуализаторов» [Ахманова 1966: 37]. Это определение приложимо не только к знаку, но и к синтаксической модели.

Применительно к лексике актуализация состоит в переводе лексической единицы из словаря в текст, в связи с чем лексическая единица может приобретать некоторые семантические характеристики, которых она лишена в словаре. Такие семантические характеристики, налагающиеся на лексические и синтаксические значения, будем называть *коммуникативными*, например: детерминированность (весьма удачное определение этого понятия представлено в [Ревзин 1973: 130]), референтность, определенность / неопределенность, финитность. Представленный в словаре лексический материал можно, несколько упрощая реальное положение вещей, подразделить на слова, требующие актуализации при включении в текст (имена и предикативы), и слова, выступающие в качестве актуализаторов. Например, А.А. Драгунов характеризовал актуализирующую роль наречий как превращение сказуемого неполной предикации в сказуемое полной предикации [Драгунов 1952 : 206].

Условимся различать *нулевую* и *ненулевую* ступени актуализации. Первая соответствует нереферентному употреблению понятия, будь то понятие предмета или признака, вторая, ненулевая ступень – референтному употреблению. Для слов предметной семантики нулевая ступень актуализации имеет место при обозначении класса предметов, в чем и состоит внеконтекстное, словарное значение таких слов (māo shì dòngwu «Кошка – животное»), тогда как ненулевая ступень актуализации сводится, в сущности, к выделению предмета из класса подобных, что осуществляетсяпри помощи «определений» в самом широком смысле слова: shīzi shì *gāoguìde* dòngwu (10: 42)[1] «Лев – *благородное*

---

[1] Источники примеров:

1. Bā Jīn wénjì. Běijing, 1958 (римская цифра – том).
2. Cáo Yú jùběn xuǎn. Běijing, 1954.
3. Gāo Ēnguó и др. Dúmù huājù jì. Shànghǎi, 1964.
4. Hànyǔ jiàokē shū (shàng) Běijing, 1958.
5. Huáng Shāng. Guòqùde zújī Běijing, 1984.
6. Jīnwén guānzhǐ. Shāng Jīnlín zhǔbiān. Shānxī jiàoyu chūbǎnshè, 1998.
7. Lǎo Shè. Lǎo Zhāngde zhéxué. Dàlián, 1944.
8. Lǎo Shè duǎnpiān xiǎoshuōxuǎn. Běijing,1957.
9. Lǐ Erzhòng. Cuìying. Běijing, 1964.
10. Lǐ Róng. Běijing kǒuyǔ yǔfǎ. Běijing, 1954.
11. Lǚ Shúxiang. Yǔfǎ xuéxí. Běijing, 1954.
12. Máo Dùn quánjì. Běijing, 1984.
13. Mèng Qiān, Sū Rú. Lù tiáotiáo. Běijing, 1985.
14. Péng Ruìgāo. Nürménde zhuīqiú. Hénán rénmín chūbǎnshè, 1985.
15. Píng Déyīng. Shān Júhuā (xià juǎn). Běijing, 1991.
16. Quánguó xiǎoshuō jiǎnghuò jiǎngluò xuǎn dàibiǎo zuò jí pīpíng. Zhōngpiānjuǎn shàng. Chángshā, 1995.
17. Quánguó xiǎoshuō jiǎnghuò jiǎngluò xuǎn dàibiǎo zuò jí pīpíng. Zhōngpiānjuǎn xià. Chángshā, 1995.
18. Shā Yèxīn. Shā Yèxīn jùzuò xuǎn. Nánjing, 1986.
19. Shí Nián. Duǎnpiān xiāoshuō jìkān. Běijing, 1985.
20. Wáng Wènshí. Fēngxuězhī yè. Běijing, 1959.
21. Xiàndài Hànyǔ chángyòng cíyǔ lìjiě. Shàngcè. Běijing yǔyán xuéyuàn, 1982.
22. Yán Chúndé, Lǐ Rùnxīn. Zhōngguó xīn wénxué zuòpǐn xuǎn. Dì sān cè. Běijing, 1980.
23. Zhāng Zhìgōng. Hànyǔ yǔfǎ chángzhī. Běijing, 1954.
24. Zhèng Yìdé и др. Hànyǔ yǔfǎ nándiǎn shìyí. Běijing, 1992.
25. Zhào Shùlǐ xuǎnjì. Běijing, 1958.

животное»; yuètáishang zhànle *xǔduo* rén (1, II: 196) «На перроне стоит *много* людей»; nàbiān pǎolái *yīge* rén (23: 102) «Оттуда подбежал *один* человек». Для слов признаковой семантики нулевая ступень актуализации сводится к отсутствию финитности, т. е. к обозначению признака вне временных и количественных характеристик, что типично при констатации общих истин вроде dìqiú wéirǎo tàiyang zhuǎn «Земля вращается вокруг Солнца» [Huáng Nánsōng 1944: 444]; ненулевая ступень предполагает характеристику признака по интенсивности (наречия степени при прилагательных), его «количественную» оценку (счетные комплексы при глаголах), пространственно-временную локализацию: nǐ zhèrén *zhēn* dú (12, III: 87) «Ты уж *очень* жесток»; tā jiàole tā *yīshēng* (1, I: 145) «Он окликнул ее» (*один раз*); wǒ *zài zhège dìfang* zhànle *xǔjiǔ* (1, I: 269) «Я *долго* простоял *в этом месте*».

Применительно к синтаксической модели тоже можно говорить о нулевой и ненулевой ступени актуализации. В первом случае для реализации модели в качестве высказывания достаточно простой замены абстрактных символов соответствующими лексемами, например: $S_1VS_2$ → tā xué Zhōngwén «Он учит китайский язык». Во втором случае простой замены абстрактных символов конкретными лексемами оказывается недостаточно, поскольку необходимо передать еще и сопутствующие данной реализации коммуникативные значения, эксплицитным выражением которых и являются актуализаторы. В нижеследующих примерах выделены отрезки, опущение которых ведет к тому, что высказывание утрачивает законченность: tā xiěle *liǎngfeng* xìn «Он написал *два* письма», ménkǒu zhànzhe *jǐge* rén «У ворот стоит *несколько* человек», tā *hěn bù gāoxingde* qùle xuéxiào «Она с *большим неудовольствием* отправилась в школу», tā *shāngxīnde* kūqǐlai «Она *горестно* заплакала» [Huáng Nánsōng 1944: 445].

При речевой реализации модели предложения используются не только актуализаторы лексики, но и актуализаторы, обслуживающие высказывание в целом. К их числу относятся, например, конечные частицы, актуализирующая роль которых возрастает пропорционально той «деформации», которой подвергается модель предложения в процессе актуализации. Приводимые ниже примеры звучат неестественно, и этот недостаток может быть исправлен, если в конце каждого из них употребить частицу ne: dàjiā kuāzhe nǐ «Все хвалят тебя»; tā zhèng xiězhe xìn «Он как раз пишет письмо»; tā zhèng huàzhe «Он как раз рисует» [Kǒng Lìngdá 1994: 440].

Одной из сторон актуализации является линейное упорядочивание элементов высказывания, организация определенного порядка слов. Основная проблема, которая здесь возникает, – это разграничение исходного и производного словорасположения. Признаком исходного порядка слов является возможность нулевой ступени актуализа-

---

26. Zhōngguó xīn wénxué zuòpǐn xuǎn. Dìsì cè. Běijing, 1980.
27. Zhōngguó xīn wénxué zuòpǐn xuǎn. Dìwǔ cè. Běijing, 1980.
28. Zhōnghuā rénmín gòngheguó wǔshí nián wénxué míngzuò wénkù. Duǎnpiān xiǎoshuō juǎn (shàng). Běijing, 1999.
29. Zhōnghuā rénmín gòngheguó wǔshí nián wénxué míngzuò wénkù. Duǎnpiān xiǎoshuō juǎn (xià). Běijing, 1999.
30. Zhōnghuā rénmín gòngheguó wǔshí nián wénxué míngzuò wénkù. Sànwén záwén juǎn. Běijing, 1999.
31. Zhōnghuā rénmín gòngheguó wǔshí nián wénxué míngzuò wénkù. Értóng wénxué juǎn. Běijing, 1999.
32. Zhōnghuā sànwén zhēncáng běn. Yú Qiūyǔ juǎn. Běijing, 1999.
33. Zhōnghuā sànwén zhēncáng běn. Yángshuō juǎn. Běijing, 1998.
34. Zhōnghuā sànwén zhēncáng běn. Qín Mù juǎn. Běijing, 1998.
35. Zhōngpiān xiǎoshuō xuǎn. Dìyī jí. Běijing, 1984.
36. Zhōngpiān xiǎoshuō xuǎn. Dìyī jí. Běijing, 1985.
37. Zhōngpiǎn xiǎoshuō juǎn. Shàng. Běijing, 1999.
38. Zhōngpiǎn xiǎoshuō juǎn. Zhōng. Běijing, 1999.
39. Zhōngpiǎn xiǎoshuō juǎn. Xià. Běijing, 1999.

В тексте статьи соответствующая цифра указывает на источник в настоящем списке. После двоеточия дается номер страницы.

ции. Ненулевая ступень, в случае ее обязательности, свидетельствует о той или иной речевой «деформации» модели: неполной реализации (эллипсисе), производном порядке слов. Tā duì wǒ rèqíng «Он ко мне относится с теплотой» звучит вполне естественно, чего нельзя сказать об инверсии duì wǒ tā rèqíng «Ко мне он относится с теплотой»; последний пример можно сделать приемлемым только с помощью актуализаторов: duì wǒ, tā *yīzhí hěn* rèqíng «Ко мне он относится *прямо-таки* с *большой* теплотой» [Tán Jǐngchūn 1992: 96]. Самые разнообразные средства актуализации китайских синтаксических структур разных типов подробно рассматриваются в [Kǒng Lìngdá 1994: 435–438].

К сфере высказывания относится и понятие группы, в частности группы сказуемого. Высказывания wǒ kàn shū «Я читаю книгу» и zhèben shū wǒ kànwánle «Эту книгу я прочел» построены по одной и той же модели, однако в первом дополнение включено в состав группы сказуемого, тогда как во втором – выведено из нее. При анализе на уровне предложения подлежащее и дополнение суть парадигматически равноправные элементы – распространители сказуемого («актанты» в терминологии Л. Теньера, выявляющей их единый статус относительно сказуемого), но на уровне высказывания они могут оказаться неравноправны синтагматически в том смысле, что один из этих элементов может быть включен в состав группы сказуемого.

Центральный объект исследования коммуникативного синтаксиса составляют высказывания, являющиеся актуализацией структурной схемы предложения. Для описания их коммуникативного аспекта используются понятия, выработанные в так называемой теории актуального членения на материале, главным образом, простых предложений, но до известных пределов применимые также и к предложениям сложным.

Актуальное членение представляет собой логико-грамматический анализ высказывания, выделение в его составе *темы* и *ремы*. Тема – это то, о чем говорится в высказывании, а рема – это то, что сообщается о теме высказывания. Читатель без труда узнает в этих формулировках школьные определения подлежащего и сказуемого. Коммуникативная ориентированность этих определений совершенно очевидна и неоднократно подвергалась критике как некорректная в плане структурного синтаксиса.

Центральный компонент актуального членения – рему можно определить и как сегмент высказывания, который подпадает под вопрос. Соответственно, вопросительные местоимения в высказывании соотносительны с ожидаемой ремой. Доказательством рематичности местоименного вопросительного слова является и тот факт, что на какое бы слово в местоименном вопросительном предложении ни падало главное ударение, ответ всегда будет относиться к вопросительному слову. Где он *живет*? В Москве; Где *он* живет? В Москве; *Где* он живет? В Москве [Шевякова 1984: 74]. В неместоименном вопросе ответ будет каждый раз меняться в связи с передвижением главного ударения: Он живет *в Москве*? В Москве; Он *живет* в Москве? Живет; *Он* живет в Москве? Он [Там же].

В составе ремы иногда выделяется коммуникативно наиболее нагруженная часть, которую будем называть *коммуникативным фокусом* или *фокусом контраста*. Фокус контраста – это такой сегмент высказывания, к которому «напрашивается» продолжение «а не…»: Иван доверил мне *свою машину* (а не что-то другое) / Иван доверил свою машину *мне* (а не кому-то другому). Если китайский пример wǒ dǎ diànhuà jiào chē «Я позвоню вызвать машину» является ответом на вопрос nǐ dǎ diànhuà gàn shénme? «Зачем ты звонишь?», то интонационному выделению и выдвижению в фокус подвергается jiào chē «вызвать машину». Если же это ответ на вопрос nǐ zěnmeyàng jiào chē? «Как ты вызовешь машину?», то соответствующим процедурам подвергается сегмент dǎ diànhuà «позвоню» [Táng Qǐyùn 1958: 84]. В ряде случаев семантика контраста («а не…») находит выражение в поверхностной структуре: wǒ bùshì qùde Dàlián, shì qùde Shànghǎi (24: 108) «Я поехал не в Далянь, а в Шанхай».

О фокусе контраста, в принципе, можно говорить и применительно к теме сообщения. Рассмотрим пример: Где Павел будет жить? При нейтральной интонации и вне контекста здесь усматривается идея, входящая в фонд общих знаний собеседников, – Павел должен где-то поселиться (тема сообщения), вопрос (рема) – где именно? Однако

это предложение будет читаться по-разному в контекстах, обеспечивающих различный фокус контраста в составе темы: С работой все ясно. Где Павел будет *жить*? / Николая устроили. Где *Павел* будет жить? [Николаева 1982: 22–23].

Пользуясь термином «фокус контраста», мы вполне сознательно несколько сужаем диапазон описания, чтобы для начала разобраться в сравнительно ясных случаях. Выражение контраста – это характерный, но не исчерпывающий прием акцентного выделения, которое в китайском языке представлено не менее выразительно, чем в русском. Так, в примере Lǎolí jīntian zhíban ma? «Лаоли сегодня дежурит?» ударение может падать на любое слово, соответственно разными будут и ответы [Lín Yùwén 1985: 96]. Смысловое поле акцентного выделения шире семантики противопоставления. Если уходящему человеку напоминают «*Ключи* не забудь!», никакого контраста здесь не предполагается [Николаева 1982: 24].

Противопоставление темы и ремы как логико-синтаксических категорий следует отличать от таких чисто семантических оппозиций, как «данное / новое», «известное / неизвестное», «определенное / неопределенное», «незначительное по важности / важное»: исследования последних лет препятствуют установлению однонаправленного соответствия темы левым, а ремы – правым членам перечисленных оппозиций [Николаева 1979: 170]. В частности, сочетание двух сообщений в одном простом предложении по типу «тема (новое) – рема» считается характерной чертой пушкинской прозы [Ковтунова 1979: 269]. Перечисленные семантические признаки способны вступать в различные взаимные сочетания, из которых наиболее естественны три: неопределенное и новое, определенное и новое, определенное и данное [Чейф 1982: 299].

Другой вопрос – материальное выражение компонентов актуального членения. Здесь нет каких-либо строгих ограничений, и каждый из них может быть выражен словом, словосочетанием, предложением; ср. [Николаева 1977: 306].

В высказывании могут присутствовать слова или словосочетания, поясняющие его в целом и стоящие вне актуального членения. Те из них, которые занимают начальную позицию, в одной из первых работ по актуальному членению были терминологически обозначены как исходная точка высказывания [Матезиус 1967: 241]. Таково слово dìquè «конечно» в примере dìquè wǒ hěn gāoxing (1, Ш: 332) «Конечно, я очень рад».

Тема и рема допускают различное взаиморасположение. При нейтральной интонации и отсутствии в высказывании специальных выделительных средств тема предшествует реме (объективный порядок слов), однако изменение интонации, часто сопровождаемое и другими приемами актуального членения, способно обеспечить начальное положение ремы (субъективный порядок слов). Так, субъективный порядок слов представлен в примерах: duō hǎo'a, shēnghuó! duō měi'a, àiqíng! (16: 9) «Как хороша жизнь! Как прекрасна любовь!»; zhēn lìhai, zhè jiāhuo (16: 605) «Уж очень крут этот парень»; lěngle, quánshēn dū lěngle, jiù xiàng yīkuài shítou! (1, VIII: 77) «Замерзло, все тело замерзло, как камень!»; qùle, fùren lāzhe xiǎohái qùle (1, I: 43) «Ушла женщина, таща малыша, ушла»; méi jiànguo zhèyàngde shì, wǒ kuài qīshí suìde rén (8: 76) «Ничего подобного не видел у тех, кому скоро семьдесят».

Мы не выделяем высказывания с субъективным порядком слов в самостоятельные коммуникативные типы, но учитываем их лишь в качестве «эмоциональных» коррелятов соответствующих высказываний с объективным порядком слов.

Темо-рематическое подразделение предложения двоично, т.е. в каждом высказывании имеется одна тема и одна рема, которые в частном случае могут быть выражены однородными членами. Попытки усмотреть в некоторых высказываниях две темы не выглядят убедительно ни семантически, ни формально. Так, две темы находят в каждом из следующих примеров: *tā nèiben shū* kěnéng yǐjing mǎile [Cáo Féngfū 1996: 172] «*Он ту книгу*, пожалуй, уже купил»; *zhèwei xiǎojiě shēncái* hěn měi [Там же: 174] букв. «*Эта – девушка – фигура* – красивая». Думается, однако, что первый пример в целом сообщает что-то о *нем*, а второй – об *этой девушке*. Именно перед данными компонентами может быть помещен маркер контрастной темы zhìyú «что же касается…», а после них – частица ne, одна из функций которой – обозначение перехода к новой теме: tā ne… «что же

до него…». Остальная часть в каждом из примеров может предваряться рематическим shì (bùshì): zhèwei xiǎojiěne, bùshì shēncái hěn měi «Что же до этой девушки, (она) вовсе не отличается хорошей фигурой».

Особо следует отметить не частые, но все же возможные примеры типа zhǐyǒu nǐ lián jiā yě bù gù (29: 258) «Только ты даже о доме не заботишься». В данном примере присутствуют два коммуникативных служебных слова – «только» и «даже», назначение которых – оформление фокуса контраста: «только ты не заботишься» (другие – заботятся), «даже о доме не заботишься» (о другом и говорить нечего). Может быть, «двухфокусная рема» – удачное терминологическое решение для подобных случаев.

Различные варианты темо-рематической организации высказывания можно подытожить, выделив следующие основные коммуникативные типы:

1) монорематические, коммуникативно нечленимые высказывания (рема совпадает с высказыванием в целом), содержательно интерпретируемые как сообщение о событии, действии, факте. Похоже, что именно к данному коммуникативному типу относится большинство реальных высказываний в речи [Николаева 1972: 50]. Примеры: huāyuán litou chūle shìqing (1,VI: 20) «В саду что-то случилось»; jīntian, shì tā mǎn sānshí (16: 373) «Сегодня ему исполняется тридцать»; bùshì wǒ pà sǐ, shì wǒ zǒng juéde wǒ hái méi xiǎngyǒu wǒ shēngde yīqiè (26: 10) «Я не боялась умереть, я просто чувствовала, что не получила еще всего от моей жизни».

2) расчлененные высказывания, содержательно интерпретируемые как характеристика предмета беседы: tāde fángjian shì nème wēnnuǎn (1, III: 11) «Ее комната такая уютная»; zhèshou shī wǒ zhēnshì xǐhuān (6: 1034) «Это стихотворение мне и впрямь нравится»; rìjì, shì xiě gěi zìjǐ kànde (5: 170) «Дневник пишется для собственного чтения».

3) расчлененные высказывания, содержательно интерпретируемые как уточненные ситуации. Ситуация может уточняться в отношении ее субъекта (примеры 1, 2), объекта (примеры 3, 4), длительности (пример 5), времени (пример 6), места (пример 7), цели (пример 8) и т.д.:

1) mǎ yào zǒu xiǎo lù, yòu bù shì wǒ yào zǒu. Shì nǐ qí mǎ háishì mǎ qí nǐ? (29: 658) «Лошадь захотела идти по тропинке, не я. – Так ты правишь лошадью или лошадь правит тобой?»; 2) bù shì wǒ zhǎo nǐ, shì Liú duìzhǎng zhǎo nǐ! (9: 11) «Не я тебя ищу, бригадир Лю тебя ищет!»; 3) tāmen xūyàode shì mǐfàn, bùshì yǎnshuo (1, I: 395) «Они нуждаются в рисе, а не в речах»; 4) wǒ hènde hái bùshí tāmen, shì tāmen zuòde shìqing (1, VI: 46) «Я ненавижу вовсе не их, а то, что они творят»; 5) zhè rén zhuīqiú tā bùshì sān tiān liǎng rì le (35: 494) «Этот человек преследует ее уже не день и не два»; 6) kě shì wǒ míngtiān jiù yào kāigōng! Míngtiān! (12, III: 390) «Но я хочу, чтобы завтра же началась работа! Завтра!»; 7) guǎnggào shì dàjiē xiǎoxiàng dū tiē (19: 498) «Афиши расклеены и на больших улицах, и в маленьких переулках»; 8) ràng wǒ huóxiaqu ba, bùshì weìle shēnghuó, shì weìle gōngzuò (1, III: 478) «Пусть будет дарована мне жизнь – не ради жизни, ради творчества».

## ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Помня о терминологическом разграничении предложения и высказывания, заметим, что корректная постановка вопроса о коммуникативном синтаксисе простого *предложения* предполагает исследование, с одной стороны, коммуникативных *возможностей* соответствующих синтаксических структур, с другой – соотношения синтаксических и коммуникативных ролей.

Как правило, актуальное членение предложения распознается лишь в контексте, однако существуют конструкции, актуальное членение которых единственное и поэтому ясно вне контекста. Основной принцип состоит здесь в том, что исходный порядок слов (модель предложения) оказывается приспособленным для реализации неединственного коммуникативного задания и сам по себе не несет какой-либо информации об актуальном членении высказывания. Например, интранзитивная структура tā pǎo «Он бежит» может соответствовать, во-первых, нерасчлененному монорематическому

высказыванию, подразумевающему вопрос shénme shìqing? «В чем дело?»; во-вторых, расчлененному высказыванию с нормальной, т. е. совпадающей с группой сказуемого, ремой, что подразумевает вопрос tā zuò shénme? «Что он делает?»; в-третьих, расчлененному высказыванию со сдвинутой, т. е. не совпадающей с группой сказуемого, ремой, что подразумевает вопрос shuí pǎo? «Кто бежит?». Отход от исходного порядка слов, как минимум, сужает коммуникативные возможности конструкции, которые при использовании рематизаторов сокращаются до единственной: pǎode shì tā «(Тот, кто) бежит – он».

Под средствами актуального членения, наряду с интонацией и порядком слов, будем понимать темо-рематические маркеры, назначение которых сводится к тому, чтобы сузить коммуникативный диапазон исходной конструкции, если не свести его к реализации единственного коммуникативного задания. Эти средства подразделяются на маркеры темы и маркеры ремы. В качестве маркеров темы выступают, прежде всего, пауза как таковая, отделяющая тему от остальной части высказывания, и далее – пауза в сочетании с частицей. Один из китайских авторов называет пять таких частиц [Fàn Kāitài 1985: 403], однако частица bā как маркер темы встречается в единичных случаях, а частица mā попала в список по недоразумению: эта конечная частица либо выступает в качестве эмфатического варианта вопросительного mā, либо передает значение, очень близкое русскому «ведь» и ее присловное употребление возможно лишь в случае эллипсиса (dà gūniang le ma… «ведь уже взрослая девушка…»). В итоге показатели темы – это частицы ā и nē вместе с их вариантами, включая и фонетические стяжения. К маркерам темы относятся и предлоги guānyú «что касается» и zhìyú «что же касается» [Fàn Kāitài 1985: 403], хотя маркированием темы и не исчерпываются их возможные употребления.

Иногда сопоставляют предложения с одним и тем же лексическим составом, но с разными частицами при теме высказывания [Yú Mǐn 1957: 8]. Таким образом демонстрируют саму возможность употребления различных оформителей темы, оставляя в стороне важнейший для теории актуального членения вопрос – какими должны быть контексты для того, чтобы сравниваемые высказывания оказались коммуникативно корректны?

Частица ā – это выход из нейтрального коммуникативного режима, отказ от безразличного тона, с которым констатируют внеэмоциональные истины типа «дважды два – четыре»: shēnghuó a, shēnghuó duōme měihǎo (29: 12) «О, жизнь – жизнь так прекрасна!»; xīn a! zhǐyào wǒde xīn hái zài tiàodong «Сердце! Только бы билось мое сердце». Частица ā может маркировать и вынесенную в абсолютное начало высказывания рему – при субъективном порядке слов, как правило, связанным с повышенной эмоциональностью: tòng'a, tuǐ tòngde hěn! (2: 435) «Больно, очень больно ногам!».

Частица nē – это переход к новой, контрастной теме, которой, как правило, сопутствует новая рема. Эта частица может маркировать не только тематический контраст, но и контраст исходного пункта высказывания. Ср.: wǒ yǐjīng juédìngle. Nǐne? (1, VIII: 221) «Я уже принял решение. А ты?»; tā yǒu tāde xìnyǎng. Wǒne, jiùde xìnyǎng shīdiàole, xīnde hái bù céng quèdìng (1, I: 180) «У нее есть ее вера. Я же старую веру потерял, новой не обрел»; nà shíhou shìjièshang zhǐ yǒu huā, zhǐ yǒu guāng, zhǐ yǒu ài, zhǐ yǒu wēnnuǎn. Xiànzài ne, yīqiè du chéngle cāntòngde huíyì le (1, II: 76) «Тогда в мире были только цветы, только свет, только любовь, только тепло. А сейчас – все стало болезненным воспоминанием».

Разница между предлогами guānyú «что касается» и zhìyú «что же касается» сводится к тому, что первый маркирует тему безотносительно к контрасту, тогда как второй обязательно предполагает контраст; ср.: guānyú zhège wèntí Shànghǎi bàozhǐshang yě yǒu rén tǎolùnguo (1, IV: 248) «По этому вопросу в шанхайской прессе также были высказаны некоторые суждения»; zhǐ yǒu xíngwei cái nénggou chuàngzàochu lìlang. Zhìyú shūběn ne, nà zhǐ shì xiāomó shēnghuóde dōngxi (1, III: 152) «Только в реальном действии можно обрести силы. Что же до книг, то они только губят жизнь».

Рематизация потребует более обстоятельного разговора как в силу своего центрального положения в коммуникативном синтаксисе, так и в силу диалектичности данной

процедуры, ибо проведение рематической границы само по себе «высвечивает» и тему высказывания. Будем различать рематизацию по связочному типу и рематизацию по бытийному типу.

Рематизация по связочному типу – это проведение коммуникативных границ с помощью рематического показателя shì, омонимичного связке, с помощью показателя de, омонимичного форманту определения к существительному, и с помощью рамочной конструкции shì…de. Показателем shì маркируется левая (начальная), а показателем de – правая (конечная) граница рематического комплекса. Например, в интранзитивной структуре tā pǎo «Он бежит» могут быть проведены следующие коммуникативные границы:

– перед конструкцией в целом (bù shì tā pǎo, shì tā zǒulù «Неверно, что он бежит, он идет»);
– перед подлежащим (bù shì tā pǎo, shì wǒ «Не он бежит, а я»; этому пониманию соответствует акцентное выделение подлежащего);
– перед сказуемым (tā bù shì pǎo, tā shì zǒulù «Он вовсе не бежит, он идет»).

Рематизация подлежащего может сопровождаться инверсией группы сказуемого с одновременной ее номинализацией: pǎode shì tā «(Тот, кто) бежит – он».

Возможны примеры, когда показатель de допускает различные позиции в высказывании, тем самым по-разному проводя правую границу ремы. Возникающие при этом семантические различия могут быть весьма тонкими. Ср.: tā shì zài Běijing dàxué xué*de* Zhōngwén «Он учил китайский язык в Пекинском университете» (где он учил китайский язык?) / tā shì zài Běijing dàxué xué Zhōngwén*de* «Он учил китайский язык в Пекинском университете» (кто он такой? Чем занимался?) (4: 324).

Применительно к реме также можно говорить о контрасте; одна из функций служебного слова què «напротив» – маркирование контрастной ремы, совпадающей с группой сказуемого: xiǎochuán zài fēnglàngde diānbǒzhong yījiù zǒude hěn màn. Qìtǐng què yuè lái yuè jinle (1, IV: 305) «Маленькая лодочка среди буйства волн по-прежнему едва двигалась. Катер, напротив, приближался все стремительней».

Транзитивные структуры, в принципе, обладают теми же возможностями обозначения коммуникативных границ, что и интразитивные.

До сих пор мы обсуждали вопрос о рематизации тех или иных компонентов *минимальных* структур, исчерпывающихся предикативом – ядром и членами его оптимального окружения (конфигурационными актантами в иной терминологии). Общий вывод состоит в том, что как структура в целом, так и любой ее компонент допускают рематизацию. Рема в таких случаях, в силу своей краткости, совпадает с коммуникативным фокусом. В реальной же речи, где минимальные структуры встречаются сравнительно редко, действует правило: в коммуникативный фокус легче всего выдвигаются именно те компоненты конструкции, которые *не входят* в оптимальное окружение ее ядра [Wáng Huán 1983: 416]. Так, добавление «лишних» компонентов в элементарную структуру tā pǎo «Он бежит» сразу приводит к соответствующему коммуникативному эффекту: tā shì *zuótian wǎnshang* pǎode «Он бегал *вчера вечером*»; tā shì gēn wǒ pǎode «Он бегал *со мной*»; tā shì *cóng nàr* pǎoláide «Он подбежал *оттуда*». Если в конструкции shì…de присутствуют два актанта, то лишь один из них, непосредственно примыкающий к shì, выдвигается в фокус контраста: wǒ shì zuótian gēn Zhāngsān mǎi piàode «Я с Чжан Санем купил билет *вчера*» [Xiu-Zhi Zoe Wu 2004: 154]. Сам же предикатив-ядро не поддается выдвижению в фокус [Там же], точнее – он поддается такому выдвижению, если состав ремы исчерпывается предикативом – самим по себе или в сочетании с компонентом оптимального окружения: guǐ shì yǒude! (1, II: 249) «Черти – *существуют*!»; suǒwèi guǐshén shìshíshang shì bù cúnzàide (21: 244) «Так называемые духи в действительности *не существуют*»; fùqin shì ài wǒde (1, VIII: 165) «Отец *любил* меня»; tā shì zhīdao zìjǐde (1, II: 191) «Он-то *знал* самого себя».

Вообще рематизация предикатива-сказуемого осуществляется в китайском языке преимущественно с помощью синтаксических (трансформационных) приемов, основной смысл которых сводится к тому, чтобы «убрать» компоненты оптимального окружения

из послесказуемостной позиции. Самый простой случай – эллиптическое сокращение конструкции до сказуемого: kànjian me? nà liǎngge chuān hēi dàshānde (12, III: 244) «Видите? Тех двоих в черных рубашках». Далее следует назвать широко распространенные инверсии актанта в предглагольную позицию с помощью предлога bǎ: wǒ yào banǐ dǎsǐ (1, V: 391) «Я тебя убью»; wǒmen bawūzi bùzhíhaole (1, VIII: 173) «Мы комнату привели в порядок»; nǐ yě tài bawǒ xiǎokànle! (20: 82) «Уж очень ты меня низко ставишь!». Гораздо менее распространены подобные инверсии без участия служебного слова: wǒ jiǔ hēwánle (Zhōngguó yǔwén 1997, № 6: 417) «Я вино все выпил»; tāya, tiān bù pà, dì bù pà, zhǐ pà dǎléi (11: 23) «Он неба не боится, земли не боится, боится только грома».

Конструкция shì…de может существовать в усеченном виде, без одного из ее элементов, причем легче поддается опущению элемент shì, маркирующий левую границу ремы и непосредственно фокус контраста. Явно преобладающая тенденция в семантике данной конструкции – уточнение *состоявшегося* действия в отношении времени, места, участников и т.д. Отсюда – прошедшее время предиката, которое сопутствует маркеру de. Ср.; wǒ shì gēn Zhāng Sān qù Běijing «Я с Чжан Санем *еду* в Пекин» / wǒ shì gēn Zhāng Sān qù Běijing de «Я с Чжан Санем *ездил* в Пекин» [Xiu-Zhi Zoe Wu 2004: 126]. Еще несколько примеров: gēcí shì wǒ zuòde (1, I: 65) «Слова песни написаны *мной*»; huǒchē shì bādiǎnzhōng kāide (24: 100) «Поезд отошел *в восемь часов*»; wǎnfàn shì cóng jiāli dàilaide (31: 464) «Ужин принесли *из дома*»; tā shì zài Běijing xuéde zhōngwén (24: 100); «Он учил китайский язык *в Пекине*»; xin tóngxué bùshì zuótian láide, shì jīntian láide (24: 108) «Новые студенты прибыли *не вчера, а сегодня*».

Значение прошедшего времени в конструкции shì…de, по мнению некоторых авторов, реализуется только при глаголах действия [Sòng Yùzhù 1981: 274]. Менее характерно для рассматриваемой конструкции уточнение несостоявшегося действия, будущего или вневременного. Такое уточнение, как правило, касается возможности / невозможности самого действия, в связи с чем – почти регулярное наличие модального глагола непосредственно после shì. Весьма удачно данная семантика интерпретируется как «достоверность убеждения в полемическом контексте» [Тань Аошуан 1995: 9]: zhè-zhong ài shì bù huì sǐde (1, I: 222) «Такая любовь *не может* умереть»; zhè shì wǒmen shì bù néng zuòde (6: 81) «Это мы сделать *не в состоянии*»; wǒmen shì yǒngyuǎn bù néng dúlìde (6: 243) «Мы *никогда* не сможем стать независимыми»; fùmǔ shì bù nénggòu fúzhe nǐmen zǒu yibèizde (14: 51) «Родители *не могут* поддерживать вас всю жизнь»; yībān lái shuō gǒu shì bù gǎn rě dúshéde (31: 390) «Вообще-то собаки не трогают (*не смеют* трогать) ядовитых змей».

Для полноты картины упомянем специфические конструкции, в которых с помощью показателей shì…de осуществляется рематизация обстоятельства причины, выраженного глаголом. Непереходный глагол просто вклинивается между показателями, а переходный повторяется дважды – с дополнением и без него; ср.: tā tóu téng shì kūde (24: 107) «У него болит голова *от плача*»; tā tóu téng shì hē jiǔ hēde (24: 108) «У него болит голова *от выпивки*» (букв.: пить – вино – пить).

Поскольку конструкция shì…de в любом из ее вариантов употребляется для уточнения действия по части его актантов и сирконстантов, высказыванию с данной конструкцией должно предшествовать сообщение о самом наступлении действия (если последнее не подразумевается и не вытекает из контекста), что маркируется видо-временным le – при этом в фокус контраста могут попадать либо глагол, либо *послеглагольные* элементы [Zhōu Yīmín 1998: 272]. Таким образом, порядок следования le → shì…de есть *норма* в повествовании: wǒmende xiǎoyú sǐle. Tā cóng pénzhong tiàochulai sǐde (6: 884) «Наша маленькая рыбка умерла. Она, выпрыгнув из таза, умерла»; duǎnmìngde xiǎoyú sǐle! Shì shuí banǐ cuīcán sǐde (6: 887) «Несчастная рыбка умерла! Так кто же подтолкнул тебя к смерти?». Если же на вопрос tā zěnmeyàng? «Что с ним?» вместо tā sǐle «Он умер» отвечают tā sǐde «Да он же умер», то это сознательное нарушение нормы, поднесение неизвестного в упаковке для известного, и возникающую при этом модальную модификацию можно передать примерно так: «Это все знают, Вы тоже должны бы это знать, Странный вопрос».

На основании вышеизложенного мы имеем возможность представить убедительную интерпретацию примеров типа wǒ mǎide piào «1) купленный мной билет; 2) я купил билет». Сейчас нас интересует данный пример только во втором значении. По этому вопросу в китайской лингвистике сложилось мнение, что показатель de обозначает прошедшее время и входит в одну парадигму с глагольными показателями le и guo, отличаясь от последних принадлежностью к разговорному стилю речи [Xú Dān 1994: 183]. Между тем достаточно провести простейший эксперимент – заменить в разговорной речи показатели le и guo показателем de – чтобы убедиться, как минимум, в неполноте предложенной трактовки, ибо подобная замена будет сплошь и рядом давать неприемлемые результаты.

Пытаясь разобраться в вопросе, один из китайских авторов сопоставляет три примера, которые все одинаково переводятся на русский язык «Я писал (написал) стихи»:

Wǒ xiěle shī
Wǒ xiěguo shī
Wǒ xiěde shī [Yán Yībīng 1965: 476].

Недостаток данного подхода в том, что примеры рассматриваются «сами по себе», вне контекста. Их анализ исключительно с позиций структурного синтаксиса даст разве что констатацию более или менее известных различий между показателями le и guo, а самый интригующий, третий пример так и останется под вопросом. Помочь делу можно только с привлечением *коммуникативной составляющей*.

В том, что касается контраста guo / de следует прежде всего принять во внимание ставшее общим местом в китаистике разграничение $guo_1$ / $guo_2$. Первый более или менее аналогичен показателю le, отличаясь от него коммуникативно – ориентированностью на прединформацию в контексте [Liú Yuèhuā 1989: 309], дистрибутивно – сочетаемостью с узким кругом глаголов, обозначающих «обычные» события [Там же], формально – сочетаемостью с le, что позволяет говорить о формировании показателя guole. Таким образом, не считая ориентированности на предыинформацию, контраст $guo_1$ / de примерно аналогичен контрасту le / de (см. ниже).

Контраст $guo_2$ / de относится к контекстным данным, ибо высказывания с этими показателями, будучи семантически не самодостаточными, обнаруживают различный характер зависимости от контекста.

$Guo_2$ информирует об опыте, который имел субъект действия («испытанность» как это иногда называют) и который служит основанием для тех или иных выводов, поэтому типичное значение таких высказываний – причина, резон, предпосылка какого-либо события [Zhèng Yìdé et al. 1992: 77, 78]. В одном из практических пособий по китайскому языку этот трудный для начинающего нюанс стараются пояснить, демонстрируя, как по-разному могут быть продолжены высказывания с le (*наступление* события) и высказывание с $guo_2$ (*приобщение* к событию): tā dào nàge shūdiàn qù*le* (suǒyǐ bù zài sùshèli) «Он пошел в книжный магазин (поэтому его нет в общежитии)» / tā dào nàge shūdiàn qù*guo* (suǒyǐ tā rènshi shūdiàn zài shénme dìfang) «Он бывал в том книжном магазине (поэтому знает, где магазин находится)».

То, что может следовать из высказывания с $guo_2$, чаще подразумевается, но иногда бывает выражено в явной форме, и тогда семантика данного показателя становится особенно отчетливой: nǐ jìrán kànguo zhège diànyǐng, nème wǒ jiù bù gěi nǐ mǎi piào le (24: 80) «Поскольку ты видел этот фильм, я не купил тебе билет»; bùguò tā kànguo yìxie fānyì xiǎoshuō, yě luèluè zhīdao yīdiǎn xīyáng rénde shēnghuó qíngxíng (1, VI: 115) «Однако она читала некоторые переводные романы и немного разбиралась в стиле жизни западных людей». Высказывание wǒ xiěguo shī «Я писал стихи (был у меня такой опыт)» могло бы служить ответом на вопрос «Как вы можете судить о поэзии?» или предпосылкой для утверждения «Я разбираюсь в стихосложении».

В предложении wǒ xiěde shī «Я написал стихи» речь идет либо о том, что *ожидавшееся* событие осуществилось, либо о том, что оно привело к ожидавшемуся результа-

ту, однако в любом случае предполагается явное или подразумеваемое предупоминание соответствующего события. Такую фразу мог бы произнести тот, кто всем своим поведением продемонстрировал, что садится за стихи и теперь оповещает, что ожидавшийся результат достигнут. Равным образом, кто-либо, отправляющийся за билетами, может по возвращении заявить: wǒ mǎide piào «≈ Все в порядке, купил».

Рассмотрим контраст le/de. Само по себе высказывание wǒ xiěle shī «Я написал стихи» коммуникативно незакончено. Оно соответствует бессоюзному придаточному времени и нуждается в добавлении главной части, например: wǒ xiěle shī jiù zǒule «Я написал – стихи и сразу ушел». Существуют различные способы актуализировать рассматриваемую конструкцию: фразовое le, распространители дополнения, в частности, количественные. Приняв последний вариант, мы приходим к противопоставлению следующих трех примеров:

(a) wǒ xiěle shī «Я написал стихи»
(b) wǒ xiěle yīshou shī «Я написал одно стихотворение»
(c) wǒ xiěde shī «≈ Готово, написал стихи»

Тип (c) противостоит типу (a) отсутствием таксисного употребления и ориентированностью на предынформацию, а типу (b), грамматически и семантически самостоятельному, не только зависимостью от контекста, но и типом дополнения, которое в конструкциях (c) не допускает никаких определений [Lǐ Nè et al. 1998: 100]. Конструкция (c) – это одна из возможностей выдвинуть в рему предикат «в чистом виде»; ср. [Вольф 1985: 135].

Таким образом, противопоставление конструкций с le/guo/de происходит по таким признакам, как формально-семантическая самодостаточность, характер зависимости от контекста, синтактика дополнения, характер актуального членения.

Если семантика преобразований по связочному типу – уточнение ситуации посредством выдвижения в рему того или иного члена предложения, то преобразования по бытийному типу – это глобализация ситуации и монорематизация высказывания.

В китайском языке имеется некоторое количество так называемых бытийных глаголов с общим значением появления или исчезновения. Исходным порядком слов для конструкций с бытийным глаголом является постпозиция подлежащего относительно глагола. Подлежащее выступает как недетерминированное (неопределенное), а конструкция в целом есть монорематическое высказывание, предполагающее вопрос fāshengle shénme shìqing? «Что случилось?»: luò xuě le (1, VIII: 72) «Пошел снег»; zǎochen xiàle shuāng (29: 413) «Утром выпал иней»; ā, lì qiū le (33: 138) «А, наступила осень»; chū le shì le! (27: 173) «Случилась неприятность»; guòle sān nián (19: 354) «Прошло три года». Инверсия подлежащего в предглагольную позицию обусловлена его детерминированностью (ненулевая ступень актуализации), которая, однако, не обязательно находит выражение в поверхностной структуре: yǔ xiàde gèng dà le (14: 160) «Дождь (который сейчас идет) усилился»; fēng tíng le (28: 457) «Ветер (который только что дул) прекратился».

Преобразование по бытийному типу – это перестановка подлежащего не-бытийной конструкции в постпозицию к глаголу. Эта операция, как правило, сопровождается наличием распространителей со значением места или времени в начале высказывания, которое, таким образом, обретает смысл «в таком-то месте (в такое-то время) происходит то-то»: héshuǐshang tiàozhe yuèguāng (29: 83) «На реке дрожит лунный свет»; qiàqià zài zhè shíhou yìwaide laíle àiqíng (1, III: 536) «Как раз в это самое время вопреки всем ожиданиям пришла любовь».

Недетерминированность послеглагольного подлежащего при рассматриваемых преобразованиях является явно преобладающей тенденцией, однако исключения из этого правила также встречаются; ср. следующие примеры: zhèli bù zhù nánrén (29: 349) «Здесь не живут мужчины»; zhèzuo jiānyùli táo chūqù sānge fànrén. (Dòngcí yòngfǎ cídiǎn 1987: 708) «Из этой тюрьмы сбежали трое преступников»; yǐzishang zhǐ néng zuò rén, zěnme néng zhàn rén? (31: 337) «На стульях можно только сидеть (сидеть – человек),

как можно стоять (стоять – человек)?»; shùpí xiǎowūli shuìzhe tāde dìdi! (31: 241) «В маленьком шалаше из древесной коры спит ее братец!»; báisède xiǎo chuángshang, tǎngzhe nàge bù xìngde xiǎo nánhái (31: 238) «В белой кроватке лежит тот самый несчастный малыш».

Несмотря на принципиальную возможность решения различных коммуникативных задач в рамках исходного порядка слов, имеются основания ставить вопрос о большей предрасположенности модели предложения к реализации какого-то одного из коммуникативных заданий. Этим в свою очередь обусловливается различное соотношение синтаксических и коммуникативных ролей.

В структурах интранзитивных (tā pǎo «Он бежит»), квалифицирующих (tā shì xuésheng «Он студент»), квантитативных (tā èrshi suì «Ему двадцать лет»), локализирующих (tā zài zhèr «Он здесь») при исходном порядке слов и нейтральной интонации рематизация сказуемого происходит автоматически, без каких-либо дополнительных условий. Так же автоматически подлежащее обретает статус темы. Изменение этих ролей на вторичные, т.е. рематизация подлежащего и превращение сказуемого в тему, требует уже использования специальных средств.

В транзитивных (wǒ xiě xìn «Я пишу письмо») и бытийных (láile kèrén «Пришли гости») структурах при исходном порядке слов и нейтральной интонации в качестве ремы выступает *группа сказуемого*. Дополнение и послеглагольное подлежащее входят при этом в состав ремы, будучи лишены самостоятельной роли в актуальном членении. Такое понимание вопроса отражается и в терминах «нормальная» (совпадающая с группой сказуемого) и «сдвинутая (не совпадающая с группой сказуемого)» рема [Падучева 1985: 117].

Рематизация дополнения означает сдвиг рематической границы вправо, когда тема сообщения – известная или предполагаемая известной ситуация уточняется в отношении одного из участников: tā jiāode shì suànxué (11: 82) «То, что он преподает – математика»; hǎiyángshang jiànde wǎngwǎng shì yīpiàn wāngyáng, shuǐ, shuǐ, shuǐ (6: 1390) «То, что видишь на морях – сплошная влажная стихия – вода, вода, вода»; wǒ shì zhǎo rén, yòu bùshì zhǎo fángzi (28: 677) «Я ищу человека, а вовсе не жилье»; tā yǐjīng bùshì xiàngzhe wǒmen shuō, érshì xiàngzhe tiān shuō (29: 512) «Он обращался уже не к нам, а к небу»; tā xiǎngde shì wèilái, bùshì guòqu (1, VI: 340) «Он думал о будущем, не о прошлом».

Для зависимого подлежащего рематизация нетипична, что вполне понятно, если учесть интродуктивную семантику бытийных предложений (сообщение о глобальной ситуации с неопределенным участником). Однако если контекст тем или иным способом подсказывает бытийную ситуацию, перенося акцент на ее участников, то становятся возможными высказывания типа: mén kāile, jìnláide shì lǎo Zhǎo (28: 159) «Дверь отворилась (кто-то должен войти, кто именно?), вошел старый Чжао».

Статус темы как дополнение, так и зависимое подлежащее обретают только при инверсии в начало предложения, что осуществляется на ненулевой ступени актуализации, при детерминированности инверсируемого элемента и финитности глагольного сказуемого: yīshang wǒ mǎile «Одежду я купила»; tāde shìqing wǒ zìrán zhīdao (1,VIII: 240) «Его дела я, конечно, знаю»; zhèzhang shāfā wǒ hǎoxiàng yǐqián zài nǎr jiànguo (18: 198) «Этот диван я вроде раньше где-то видел»; yǔ hái zài bù tíngde xià (17: 1342) «А дождь все идет не переставая»; fēng tíngle (28: 457) «Ветер прекратился».

Всем рассмотренным синтаксическим единицам как обладающим *полным набором* коммуникативных ролей противостоят в целом факультативные распространители, лишенные этого признака. Некоторые из них (тематическое подлежащее, слово-тема, определение к сказуемому, обстоятельство) способны к единственной коммуникативной роли, другие (определение к предложению, второстепенное сказуемое) в принципе лишены собственного коммуникативного статуса.

*Тематическое подлежащее* и *слово-тема* помещаются в начале предложения и минимально различаются синтаксически: первое выступает в корреляции с кореферентным элементом, обнаруживающим предикативную связь с ядром (ребенок – *он* у нас послушный), второе лишено этого признака и выступает по отношению к остальной

части как нечто абсолютно внешнее, что нередко сопровождается интонационным обособлением (ребенок! чего я не сделаю для его счастья). Однако в коммуникативном плане эти члены предложения идентичны и, как показывает само их название, могут выступать только в роли темы: ā! shēnghuó, nǐ shì duōmo jiānnán! (16: 34) «Ах, жизнь, как ты трудна!»; shuǐ! kuài batā xiàngěi shāmo (30: 301) «Вода! Дайте скорее ее пустыне»; xīwàng, duōmo měimiàode zìyǎn (Zhōngguó qīngnián bào 3-28-94: 3). «Надежда – какое прекрасное слово»; yìshu, nǐ dǒngde shénme yìshu! (36: 251) «Искусство – что ты смыслишь в искусстве!»; guījù! nǐ dào xiànzài hái jiǎng guījù! (1, V: 491) «Манеры! Ты все еще толкуешь о манерах!».

*Определение к сказуемому* при нейтральной интонации и исходном порядке слов, располагаясь перед сказуемым, входит в состав ремы на правах одного из ее компонентов: Gāo shūji bù xiāngxìnde xiào xiào (37: 106) «Секретарь Гао недоверчиво усмехнулся»; tā jímáng fúzhù yīke xiǎoshù (70: 226) «Он поспешно ухватился за невысокое дерево»; hēiàn yīmiàozhōng yīmiàozhōngde jiāngjiā (1, VIII: 351) «Тьма с каждой секундой сгущалась все больше».

При инверсии в предподлежащую позицию определение к сказуемому становится исходным пунктом сообщения и обретает черты сходства с определением к предложению, т. е. не входя в состав ни темы, ни ремы, как бы поясняет высказывание в целом: jiànjiànde, tā duì tā fāshēngle gǎnqíng (13: 246) «Постепенно у него к ней возникло чувство»; hěn kuàide tāmen ba yīqiè dū ānpáihǎole (1, III: 330) «Очень быстро они все расставили (на столе) как надо»; mànmande, zhè fùzǐ liǎngwèi dū kūwánle (12, IV: 139) «Понемногу отец с сыном успокоились (перестали плакать)».

Если говорящий хочет обратить внимание на качественную характеристику известного или предполагаемого таковым действия, определение к сказуемому может быть рематизировано различными способами. Самый простой – акцентное выделение: huózhe huílaíle! (28: 141) «Живым вернулся!»; tā pà, pàde lìhai! (15: 94) «Она боялась, ужасно боялась!». Другая возможность – парцелляция, выделение синтаксической единицы в самостоятельный компонент линейного развертывания: ránér, xiànzài, wǒ háishi kūle! Qiāoqiāode (30: 346) «Однако сейчас я все-таки плакал! Беззвучно»; tā zǒule, píngpíng jìngjìng (32: 151) «Он ушел, тихо и спокойно».

Менее характерна рематизация определения к сказуемому с помощью рематического показателя shì, подробно рассматривавшегося выше, а также с помощью показателя jiù «именно», более употребительного в сфере обстоятельства (см. ниже), однако примеры подобного рода все же встречаются: zhèyīqiè, dū jidé shì duōmede qīngchu ā (70: 38) «Все это вспомнилось до чего же отчетливо»; wǒ liǎ jiù zhèyàngde fēnbiéle (22: 188) «Вот так мы двое и расстались».

Обстоятельство отличается семантическим многообразием и обладает максимальным набором позиционных возможностей в составе высказывания: перед подлежащим, перед группой сказуемого, в составе группы сказуемого, после группы сказуемого, однако в коммуникативном плане все виды обстоятельств объединяет способность к единственной – рематической – коммуникативной роли. При отсутствии специальных рематизирующих средств предподлежащная позиция означает, что обстоятельство, поясняя высказывание в целом, выступает в качестве исходного пункта сообщения. Рематизация такого обстоятельства (субъективный порядок слов) достигается с помощью показателя jiù «именно, как раз»: jiù zài zhèli shuìjiào? (6: 949) «Вот прямо здесь и спать?»; jiù zài zhè shí mén xiǎngle (39: 373) «Именно в этот момент скрипнула дверь»; jiù zài zhè yī nián, kāishǐle kàngrì zhànzheng (37: 38) «Как раз в этот год и началась антияпонская война». Сравните следующий пример, где чисто интонационная рематизация вынесенного в начало обстоятельства тут же «закрепляется» и усиливается коммуникативным «именно»: zài zhèli, jiù zài zhèr wǒ xiàle shuǐ, yóuguòle Huánghé (16: 561) «Здесь, именно здесь я прыгнул в воду, переплыл Хуанхэ».

Позиция перед группой сказуемого отличается от рассмотренной разве что несовместимостью с ролью исходного пункта сообщения. В остальном (семантика, рематизация) положение дел сходное.

Положение в составе группы сказуемого наиболее благоприятно для рематизации обстоятельства, которая естественно происходит за счет самого присутствия факультативного компонента при сказуемом. Наличием рематического показателя достигается выдвижение обстоятельства в фокус контраста в составе ремы – группы сказуемого. Вспомним приводившийся выше пример tā shì zài Běijing dàxué xuéde Zhōngwén «Он учил китайский язык в *Пекинском университете* (а не в каком другом учреждении)». Аналогичные примеры: wǒ shì shàng xīngqīliù kànjian tāde (11: 111) «Я видел его *в прошлую субботу*»; wǎnfàn shì cóng jiāli dàiláide (31: 464) «Ужин принесен *из дома*»; tāmen shì zuò qìche láide (24: 98) «Они приехали *на машине*»; zhòngrén jiù zài tángwūli tánhuà (1, VI: 223) «Все беседовали *прямо в приемной*»; diàndēng jiù zài zhèshí wánquán mièle (1, VI: 351) «Лампа *как раз в этот момент* совсем погасла».

Позиция после группы сказуемого возможна не для всех обстоятельств. Например, обстоятельства времени (когда?) обретают эту позицию, кажется, только с помощью парцелляции: wǒ jiā dànán yào jiéhūnle, jiù zài zhège xīngqitiān (16: 718) «Мой старший сын на днях женится, *как раз в это воскресенье*». Вообще позиция обстоятельства в высказывании определяется факторами как семантического, так и формального порядка (способ выражения, дистрибуция служебного показателя). Некоторые обстоятельства одинаково легко располагаются как перед, так и после сказуемого. Таковы обстоятельства причины с предлогом yīnwèi «из-за»; ср.: yīnwèi háizi, tā wàngle zuótian, yě bùshèn sisuǒ míngtian (19: 354) «Из-за ребенка она забыла о вчерашнем и не слишком задумывалась о завтрашнем»; wǒ zhùyì tā, dàgài jiù yīnwèi tāde zhèzhong bēiāi (1, II: 346) «Я обратила на него внимание, наверное, именно из-за этой его печали». Напротив, оформленное предлогом wèi (wèile, wèizhe) «из-за; ради» явно тяготеет к позиции перед сказуемым. Перенос данного обстоятельства в постпозицию встречается сравнительно редко, однако эффект рематизации проявляется при этом особенно ярко; ср.: wǒ wèi nèixie nánnǚ qīngnián xiěxià zhèbu xiǎoshuō (1, V: 3) «Я ради тех юношей и девушек написал тот роман»; fùqin chángcháng wèizhe tānlán ér shīdiàole rénxìng (6: 1025) «Отец часто из-за своей скаредности терял человеческое достоинство»; wǒ gànle, wèi nǐde jiànkāng (37: 140) «Я выпил до дна – за твое здоровье»; tā gēn nǐ jiéhūn shì wèile móuhài wǒ (38: 520) «Он женился на тебе ради того, чтобы делать мне гадости».

Определение к предложению и второстепенное сказуемое представляют собой синтаксические единицы, лишенные самостоятельного коммуникативного статуса.

Определение к предложению помещается либо в начале предложения, либо перед группой сказуемого, но в любом случае, поясняя высказывание в целом, находится вне его актуального членения: zǒngzhī, bùyào ba shíjian wánquán làngfèi zài nǚrénde shēnshang (1, III: 271) «В общем, не следует все время тратить на женщин»; zhèxie shìqing shuōqǐlái jiào rén hěn nán xiāngxìn (1, VI: 18) «Подобные вещи, по правде сказать, людям трудно принять».

Второстепенное сказуемое также может находиться либо перед группой сказуемого, либо в абсолютном начале предложения, перед подлежащим. В первом случае оно выступает как коммуникативно менее важная часть в составе ремы, своего рода «определение» к реме, во втором – полностью выводится из темо-рематического деления высказывания; ср.: tā wàngzhe piànzi, jiǔjiǔde chénsī bùyǔ (33: 195) «Он, разглядывая веер, долго хранил молчание»; tuīkai mén, wǒ zhēngzhùle (14: 59) «Открыв дверь, я остолбенел».

## Включающее и сложное предложение

Несколько замечаний из сферы структурного синтаксиса представляются целесообразным предварением собственно коммуникативного подхода к материалу.

Член предложения есть единица функциональная, это элемент предложения, имеющий формально-семантическую (синтаксическую) связь либо с синтаксической доминантой предложения – сказуемым, либо с предложением в целом. Материально член предложения может быть выражен словом, словосочетанием, предложением. Предло-

женческое выражение синтаксической единицы – центральный пункт в рассмотрении интересующего нас материала.

Основные синтаксические функции – сказуемое, подлежащее, дополнение. При предложенческом выражении этих синтаксических единиц мы получаем так называемые предложения с включенной частью (включенные, или включающие предложения). Предложенческое выражение обстоятельства – это придаточная часть сложного предложения.

Предложение-сказуемое в семантическом плане представляет собой делиберативный объект (содержание чувства, мысли, речи…) и в качестве подлежащего имеет синсемантическое имя с абстрактным значением (wèntí «вопрос», shìqing «дело», yuányin «причина», xīwàng «надежда», yìsi «мысль»): tāde dìyige sīxiǎng shì: Zhōu Rúshuǐ jiǎnzhí shì zhēngqǐ yǎnjing zài zuòmèng (1, III: 258) «Его первой мыслью было: Чжоу Жушуй просто грезит наяву»; tāmen wéiyīde xīwàng shì: zhàzheng bùyào kuòdà, shíjú hěn kuàide píngjìng xiàlái (13: 7) «Единственная их надежда была: война не будет расширяться, все скоро успокоится»; wèntí zàiyú: tā zhège rénde shèhuì guānxi tài fùzále (14: 316) «Вопрос в том, что его связи с людьми были слишком запутанными»; jiélùn shì zhècì wǔzhuāng bàodòng gēnběn bù gāi gǎo (15: 213) «Вывод состоял в том, что это вооруженное восстание вообще не следовало проводить»; fǎnkàngde jiéguǒ shì tā tuōlíle jiātíng (1, III: 186) «Результатом этого противодействия было то, что она покинула семью».

Предложение-подлежащее встречается в связочных конструкциях, обозначающих подведение ситуации или события под некоторую категорию, как правило, с дополнительными оценочными значениями: wǒ sǐle, nà shì wǒde fúqì (2: 143) «Я умру – это благо для меня»; yīge qīshíbā suìde lǎorén ba zìjǐ guān zài fángjiānli zǒng bùshì ge ràng rén fàngxīnde shì (39: 494) «Семидесятивосьмилетний старик запирается в доме – это не внушающее спокойствия дело»; wǒ yǒu nǐmen zhèyī duì kěàide ernǚ, zhè yīzhong xìngfú (1, I: 331) «У меня есть вы двое – любимые сын и дочь – это настоящее счастье»; zǎochen yángguāng cóng chuāngdòng zhàojìnlái, shì yīge měilìde qíngtiān (1, I: 333) «Утром солнечные лучи проникли через окно – красивый ясный день»; rénjiā yào kāichú wǒ yě chéngle wǒde sixiǎng wènti le me? (25: 200) «Они хотят меня исключить, (это и) стало вопросом моих политических взглядов?».

Предложение-подлежащее встречается и в каузативных конструкциях. Это вполне понятно, поскольку в каузативных конструкциях даже именное подлежащее чаще обозначает не лицо, но событие. Так, в высказывании *Он мешает мне отдыхать*, имеется в виду не «он» как таковой, но какие-то его действия и поступки. Каузативные конструкции с предложением-подлежащим являются результатом эксплицитного выражения событийной семантики каузатора: tā chuīkāi chuāngzi, ràng qīngliángde yèfēng chuījìn xiǎowū (16: 633) «Он открыл окно, впустил в комнаты свежий ночной ветер»; sìge niánqing nǚzi zǒuchule zhège fángjian, ràng qíyúde rén tánhuà gèng fāngbiàn yīdiǎn (1, V: 293) «Четыре девушки вышли из этой комнаты, что позволило оставшимся беседовать немного свободнее»; tā zhǐgù dàbù zǒuzhe, shǐdé Zhì Liáng yǒuxie luòhòule (19: 142) «Он широкими шагами продвигался вперед, так что Чжи Лян начал немного отставать».

Предложение-дополнение оказывается возможным после модусных глаголов, раскрывая содержание чувства, мысли, речи (делиберативный объект): Díkǎér shuō, wǒ sī, gù wǒ zài (36: 321) «Декарт сказал: я мыслю, следовательно – существую»; wǒ zhēn xīwàng tā lái (26: 8) «Я, действительно, надеялась, что он придет»; tāmen zhīdao: yè láile (6: 614) «Они знают: ночь наступила»; nǐ kàn, yuèliang chūláile (1, VI: 435) «Взгляни, луна взошла»; wǒ gàosu tā chūntian yǐjing dàole (17: 1363) «Я сообщил ему, что весна уже пришла».

Мы не будем столь же подробно останавливаться на сложном предложении, поскольку в этом вопросе представлена гораздо более обширная сфера согласия. Основные типы сложных предложений, как и соответствующие примеры, разумно признать общеизвестными. Ограничимся самым общим замечанием.

По аналогии с вышеизложенным материалом одно из непосредственно составляющих сложного предложения – придаточную часть – есть смысл интерпретировать

как предложенческое выражение обстоятельства. Таким образом, семантика сложного предложения состоит в сопоставлении двух событий. Основное событие излагается в главной части, а сопутствующее, излагаемое в придаточной части, поясняет, «определяет» главное в каком-либо отношении (время, причина, цель и т.д.).

Если актуальное членение простого предложения нельзя признать детально разработанным разделом китайской грамматики, то применительно к включающим и сложным предложениям вопрос об актуальном членении как будто вообще не ставился. Между тем параллелизм словесного и предложенческого выражения функциональных единиц позволяет в довольно широких пределах анализировать коммуникативный аспект включающих и сложных предложений с учетом того соотношения синтаксических и коммуникативных ролей, которое действительно для предложения простого. При этом считается само собой разумеющимся, что включающие и сложные предложения рассматриваются в коммуникативном соотношении их непосредственных составляющих и, к примеру, придаточное предложение внутри сложного, как правило, представляет собой единый монорематический компонент, ср. [Гак 1975: 59].

Предложения с включенной частью-сказуемым относятся к коммуникативному типу «характеристика предмета беседы», а все остальные включающие и сложные предложения – к типу «уточнение ситуации». Коммуникативные возможности включенных предложений – сказуемых, подлежащих, дополнений – те же самые, что и при словесном выражении данных синтаксических единиц. Все они обладают полным набором коммуникативных ролей; есть также основания говорить о первичности рематической роли для предложения-сказуемого и тематической – для предложения-подлежащего.

Остановимся специально на предложении-дополнении при модальном или модально-модусном глаголе ввиду некоторой специфики коммуникативного оформления этих структур. Их темо-рематический анализ не может обойтись без содержательных характеристик «данное / новое». При исходном порядке слов, нейтральной интонации и отсутствии контекстных данных, обеспечивающих монорематичность предложения в целом (вопрос: zěnmele? «В чем дело?»), ремой выступает предложение-дополнение, передающее *новую* информацию; сказуемое этого предложения допускает оформление с помощью видо-временного le, чем достигается его выдвижение в фокус контраста. Модусный глагол, напротив, такого оформления не допускает, даже если фактически подразумевается тот или иной вариант претерита, так что высказывание «Он *сказал*, что не пойдет» должно иметь вид tā shuō tā bù qù [Xiu-Zhi Zoe Wu 2004: 280]. Возможно, однако, изменение коммуникативных ролей, если дополнение – делиберативный объект содержит известную информацию и выступает в качестве темы, тогда как «новое» сводится к способу поднесения этой информации; в таких случаях в рему выдвигается модусный глагол как таковой, который таким образом обретает возможность оформления видо-временным le: tā yòu dàshēngde shuōle tā bùqù «Он *еще раз громко* сказал, что не пойдет». Изложенное хорошо подтверждает уже отмечавшееся в китаистике положение, что видо-временное le факультативно лишь относительно своего категориального значения, однако его присутствие или отсутствие регулируется и другими факторами, в частности, соображениями актуального членения [Цуканов 1982: 121–122].

Какой коммуникативный эффект дает инверсия модусной части в конец высказывания? Речь идет о примерах типа: wǒde tàidu shì bù hǎo, wǒ chéngrèn (3: 170) «Моя позиция была неправильной, я признаю»; wǒ ài nǐ, zhè nǐ zuì zhīdao (38: 471) «Я люблю тебя, это ты прекрасно знаешь»; zhèyang niánqingde xiǎohuǒzi jiù rǎnshangle lǎorén kě, nǎge xiāngxìn! (1, II: 148) «Такой молодой парень и подхватил старческий кашель – кто поверит!». При отсутствии темо-рематических показателей, обеспечивающих однозначность актуального членения, потенциально (вне контекста) допустимы различные решения. Так, в первом примере, не считая его возможной монорематичности, может иметь место рематизация как модусной (признаешь или нет?), так и диктумной части (что именно признаешь?).

Переходя к собственно сложным предложениям, заметим, что поскольку придаточная часть является предложенческим выражением обстоятельства, решающее значение

для коммуникативной интерпретации сложноподчиненных предложений приобретает тот факт, что из двух коммуникативных ролей обстоятельство способно только к рематической. Сами по себе эти данные достаточны для того, чтобы чисто дедуктивно, без обращения к материалу, сделать некоторые выводы относительно потенциальных возможностей актуального членения сложных предложений. Так, достаточно очевидно, что сложное предложение может выступать как монорематичное высказывание (типичная ситуация в реальных текстах). Вполне понятно и то, что в рамках монорематичного высказывания именно придаточная часть, поясняя главную в отношении тех или иных обстоятельств, легко выдвигается в фокус контраста за счет минимальных интонационных усилий. В свою очередь, фокус контраста допускает рематизацию, например, с помощью коммуникативных служебных слов типа zhǐ «только», zhèng «как раз», jiùshi «именно», в результате чего главная часть обретает статус темы. Какие корректировки привносит в эти абстракции материал?

Материал, прежде всего, демонстрирует избирательность некоторых придаточных предложений по части позиции относительно главного, чем в известной мере предопределяется типичное участие придаточной части в актуальном членении сложного предложения. Например, придаточные времени (…de shíhou «во время») располагаются преимущественно в препозиции к главному предложению, тогда как для некоторых придаточных цели (союзы hǎo, yǐ, yǐbiàn, jíyǐ с общим значением «чтобы», miǎnde «во избежание того, что…», shěngdé «чтобы не допустить…») единственно возможной является постпозиция придаточного. Соответственно, для придаточных времени характерно пояснять главную часть на правах исходного пункта сообщения. Эта коммуникативная роль настолько типична для придаточных времени, что в редких случаях, когда они оказываются в постпозиции (стиль, приближенный к разговорной речи), они (без специальных средств) не выдвигаются в фокус контраста и сохраняют «поясняющее» значение исходного пункта сообщения. Сравним два примера: tàiyang kuàiyào duòluò de shíhou, qǐle dàfēng (29: 365) «Когда солнце должно было зайти, поднялся сильный ветер»; tāmen bāng nǐ chóngxīn qīnglǐde chōuti, nǐ bù zàide shíhou (29: 312) «Они помогли тебе навести порядок в ящике, пока тебя не было». Оба примера отвечают на вопрос fāshēngle shénme? «Что случилось?» и описывают некоторое целостное событие; их интерпретация как уточнение известной ситуации в отношении *времени* выглядела бы явно неестественно.

Материал за пределами придаточных времени (придаточные причины, цели, условия, уступительные) в целом может быть терминологически обозначен как «причинный блок». Для придаточных причины такая интерпретация очевидна, но цель – это причина, «опрокинутая» в будущее, условие – это гипотетическая причина, уступительность – проигнорированная, не принятая во внимание причина.

Для тех придаточных цели, которые допускают только постпозицию, наиболее характерно входить в состав единого монорематического высказывания с одновременным выдвижением в коммуникативный фокус: tā xuéxí zhōngwén, yǐbiàn liǎojiě Zhōngguó (4: 115) «Он учит китайский язык, чтобы понять Китай»; tā háiyǒu shíjian lái zhěnglǐ tāde sīxu (1, VI: 153) «У нее есть еще время, чтобы привести в порядок свои мысли»; dàmén yǐjīng guānshang, miǎnde wàimiande xiánrén hùnjìn (1, IV: 177) «Ворота были уже закрыты, чтобы не лезли всякие зеваки со стороны».

Более широкое рассмотрение материала демонстрирует, что практически каждая разновидность подчинения обладает обширным набором подчинительных средств, позволяющих обеспечить любую позицию придаточного относительно главного. Например, в сфере целевых отношений, помимо рассмотренных выше союзов, обеспечивающих постпозицию придаточного, имеются союзы (wèi… qǐjiàn, wèile… qǐjiàn, wèi… jì, wèizhe… jì) столь же жестко обеспечивающие его препозицию, а также союзы, допускающие любую позицию придаточного (wèi, wèile, wèizhe, wèide, wèideshì).

Причинные отношения по средствам выражения частично совпадают с целевыми. Наиболее употребительные причинные союзы yīn, yīnwèi, yóuyú, wèile, wèide, wèideshì способны обеспечить любую позицию придаточного; ср.: yīnwèi tāde nǎozili bāoróngde

dōngxi tài duō, suǒyǐ kànqǐlai tāde tóu hǎoxiàng bǐ píngchángde rén dàle diǎn (16: 660) «Поскольку ум его вмещал много всякого-разного, то невольно казалось, что и его голова побольше, чем у обычных людей»; nǚrén suǒshuōde huà kěngpà duō bù kěkào, yīnwèi xūwéi shì nǚrénde běnsè (6: 1370) «Словам женщины едва ли можно доверять, потому что лицемерие составляет женскую сущность».

Условные союзы весьма многочисленны. Не входя в описание их дистрибутивно-семантических особенностей (подробные сведения на этот счет читатель может найти в работе [Горелов 1963]), ограничимся замечанием, что препозиция придаточных условных является явно преобладающей тенденцией. Вот несколько примеров: rúguǒ méiyǒu zhèxie gètǐ shāngfàn, shìjiè gāi jímòde yào sǐ (35: 492) «Если бы не было этих единоличных торговцев, в мире установилась бы смертельная скука»; yàoshi wǒ zìjǐ huì yùn kùzi, gàn mā hái gēn nǐ jiéhūn (35: 295) «Если бы я сам умел гладить брюки, на кой мне было на тебе жениться?» Jiǎshǐ shàngdì gēn wǒ shāngliangde huà, wǒ jiù huì quàn tā háishi jìxù yòng niántǔ shēngchǎn rénlèide hǎo (34: 239) «Если бы Господь поинтересовался моим мнением, я бы посоветовал ему продолжать творить людей из глины». Вместе с тем в сфере условных отношений также существуют союзы (наиболее употребительные – rúguǒ, yàoshi, zhǐyào, ruòshì, jiǎrú, jiǎshǐ, chúfēi), способные обеспечить любую позицию придаточного; ср.: jíshǐ shì biérén chūmàile wǒ, wǒ yě bù nénggòu chūmài zìjǐ (1, I: 521) «Если другие и предали меня, я все равно не смогу предать саму себя»; tóngyàng, jǐge shànghǎirén dào wàidì qù, wǎngwǎng yě xiǎnde shífēn chùmù, jíshǐ tāmen bìng bù yīdìng jiǎng shànghǎi huà (32: 166) «Равным образом, стоит куда-нибудь приехать нескольким шанхайцам, они очень бросаются в глаза, даже если они и не говорят по-шанхайски».

Система уступительных союзов, не считая малоупотребительного zòng и его вариантов, представлена двумя группами: «нейтральная» (suī «хотя» и его варианты) и «усиленная» (guǎn – разговорный вариант от jǐnguǎn, bùguǎn «пусть…», а также bùlùn, wùlùn с тем же значением). Контраст нейтральности / усиления хорошо заметен при сравнении следующих двух примеров: hú suī bù dà, què yǒu bù shǎode yěyā chángcháng luò zài nàli (16: 123) «Озеро хоть и небольшое, на нем постоянно обитали дикие утки»; jǐnguǎn gǒu zài jiào, luótuo duì zhàoyàng xíngjìn (16: 462) «Пусть собака лает, караван идет своей дорогой». В коммуникативном плане существенно отметить, что каждый или почти каждый уступительный союз способен обеспечить любую позицию придаточного, что можно продемонстрировать на примере союза suīrán «хотя»: suīrán shì qiūtian, zhúlínli rēngjiù lǜsēnsēnde (16: 106) «Хотя стояла осень, в бамбуковой роще все зеленело»; wǒ míngbai nǚzide xīnlǐ, bǐ nánzide hái qīngchu, suīrán wǒ shì ge nánzi (7: 250) «Я разбираюсь в женском сердце лучше, чем в мужском, хотя я сам и мужчина».

Представленное выше рассмотрение материала позволяет подытожить коммуникативные возможности придаточных предложений причинного блока при помощи краткой и всеобъемлющей формулы: исходный пункт сообщения в препозиции, коммуникативный фокус в постпозиции при возможной рематизации в каждом из этих случаев.

* * *

Данная статья была задумана как своего рода реклама-эксперимент или эксперимент-реклама. Теоретическую основу статьи составляет синтаксический понятийный аппарат, разработанный нами для описания вьетнамского языка и представленный в монографии [Панфилов 1993]. Говоря упрощенно, в этом описании вьетнамские примеры были заменены китайскими. Сопротивление материала оказалось нулевым. Следовательно, эксперимент следует признать удачным, а рекламу – добросовестной, не вводящей потребителя в заблуждение. Вместе с тем, в статье рассматривались коммуникативные *возможности* тех или иных синтаксических структур. Следующий вопрос – каково соотношение различных коммуникативных построений в *реальных текстах*. Но на этот вопрос ответит уже кто-нибудь другой.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ


Ахманова 1966 – *О.С. Ахманова*. Словарь лингвистических терминов. М., 1966.

Вольф 1985 – *Е.М. Вольф*. Функциональная семантика оценки. М., 1985.

Гак 1975 – *В.Г. Гак*. Коммуникативные трансформации и системность средств выделения во французском языке // Филологические науки. 1975. № 5.

Горелов 1963 – *В.И. Горелов*. Союзы в сложном предложении современного китайского литературного языка. М., 1963.

Драгунов 1952 – *А.А. Драгунов*. Исследования по грамматике современного китайского языка. 1. Части речи. М.; Л., 1952.

Ковтунова 1979 – *И.И. Ковтунова*. Структура художественного текста и новая информация // Синтаксис текста. М., 1979.

Матезиус 1967 – *В. Матезиус*. О так называемом актуальном членении предложения // Пражский лингвистический кружок. М., 1967.

Николаева 1972 – *Т.М. Николаева*. Актуальное членение – категория грамматики текста // ВЯ. 1972. № 2.

Николаева 1977 – *Т.М. Николаева*. Лингвистика текста и проблемы общей лингвистики // ИАН СЛЯ. 1977. Т. 36. № 4.

Николаева 1979 – *Т.М. Николаева*. Акцентно-просодические средства выражения категории определенности-неопределенности // Категория определенности-неопределенности в славянских и балканских языках. М., 1979.

Николаева 1982 – *Т.М. Николаева*. Семантика акцентного выделения. М., 1982.

Падучева 1985 – *Е.В. Падучева*. Высказывание и его соотнесенность с действительностью. М., 1985.

Панфилов 1993 – *В.С. Панфилов*. Грамматический строй вьетнамского языка. СПб., 1993.

Ревзин 1973 – *И.И. Ревзин*. Некоторые средства выражения противопоставления по определенности в современном русском языке // Проблемы грамматического моделирования. М., 1973.

Ревзин 1977 – *И.И. Ревзин*. Современная структурная лингвистика. М., 1977.

Тань Аошуан 1995 – *Тань Аошуан*. Проблемы скрытой грамматики (на материале типологии китайского языка): Дис. … докт. филол. наук. 1995.

Цуканов 1982 – *А.М. Цуканов*. К вопросу о факультативности словоизменительных форм китайского языка // Восточное языкознание. Факультативность. М., 1982.

Чейф 1982 – *У.Л. Чейф*. Данное, контрастивность, определенность, подлежащее и точка зрения // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XI. М., 1982.

Шевякова 1984 – *В.Е. Шевякова*. О некоторых закономерностях взаимодействия интонационных и синтаксических средств выражения грамматического значения // ВЯ. 1984. № 4.

Cáo Féngfǔ 1996 – *Cáo Féngfǔ*. Hànyǔde tíshēng dòngcí // Zhōngguó yǔwén. 1996. № 3.

Fàn Kāitài 1985 – *Fàn Kāitài*. Yǔyòng fēnxī shuōluè // Zhōngguó yǔwén. 1985. № 6.

Hànyǔ 1958 – Hànyǔ jiàokeshū I, II. Běijing, 1958.

Huáng Nánsōng 1994 – *Huáng Nánsōng*. Shìlùn duǎnyǔ zìzhǔ chéngjù suǒyīng jùbèide ruògān yǔfǎ fànchóu // Zhōngguó yǔwén. 1994. № 6.

Kǒng Lìngdá 1994 – *Kǒng Lìngdá*. Yǐngxiǎng Hànyǔ jùzi zìzúde yǔyán xíngshì // Zhōngguó yǔwén. 1994. № 6.

Lǐ Nè et al. 1998 – *Lǐ Nè, Ān Shāndí, Zhāng Bójiāng*. Cóng yǔfǎ juédù lùnzhèng yǔqìcí «de» // Zhōngguó yǔwén. 1998. № 2.

Lín Yùwén 1985 – *Lín Yùwén*. Tán yíwèn jù // Zhōngguó yǔwén. 1985. № 2.

Liú Yuèhuā 1989 – *Liú Yuèhuā*. Hànyǔ yǔfǎ lūnjí. Běijing, 1989.

Sòng Yùzhù 1981 – *Sòng Yùzhù*. Guānyú shíjiān zhùcí «de» hé «láizhe» // Zhōngguó yǔwén. 1981. № 4.

Tán Jīngchūn 1992 – *Tán Jīngchūn*. Shuāngxiàng hé duōzhǐ xíngrongcí jí xiāngguānde jùfǎ guānxi // Zhōngguó yǔwén. 1992. № 2.

Fáng Qǐyùn 1958 – *Fáng Qǐyùn*. Guānyú liándòngshì hé jiānyǔshìde qǔxiāolùn // Zhōngguó yǔwén. 1958. № 2.
Wáng Huán 1983 – *Wáng Huán*. Yīngyǔ hé Hànyǔde bèidòngjù // Zhōngguó yǔwén. 1983. № 6.
Xiu-Zhi Zoe Wu 2004 – *Xiu-Zhi Zoe Wu*. Grammaticalization and language change in Chinese. A formal view. London; New-York, 2004.
Xú Dān 1994 – *Xú Dān*. Guānyú Hànyǔli «dòngcí + X + de dǐancí» de jùxíng // Zhōngguó yǔwén. 1994. № 3.
Yán Yībīng 1965 – *Yán Yībīng*. Guānyú dòngcí hòuzhuì «de» // Zhōngguó yǔwén. 1965. № 6.
Yú Mǐn 1957 – *Yú Mǐn*. Hànyǔde jùzi // Zhōngguó yǔwén. 1957. № 7.
Zhèng Yìdé et al. 1992 – *Zhèng Yìdé, Mǎ Shèng, Jìng Héng, Liú Yuèhuā, Yáng Jiāróng*. Hànyǔ yǔfǎ nándiǎn shìyí. Bějing, 1992.
Zhōu Yīmín 1998 – *Zhōu Yīmín*. Běijing kǒuyǔ yǔfǎ. Běijing, 1998.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 2010

© 2010 г. Д.А. ЭРШЛЕР

# ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ В ОСЕТИНСКОМ ЯЗЫКЕ: АРЕАЛЬНЫЕ И ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ*

*К 110-летию Василия Ивановича Абаева*

В настоящей статье описываются морфология и синтаксис отрицательных местоимений в иронском и дигорском осетинском. Сравнение осетинских данных с данными родственных иранских и соседних кавказских языков, а также с большой выборкой из языков мира, показывает, что в своей морфологии и ограничениях на сочетаемость между собой и с глагольным отрицанием осетинские отрицательные местоимения обнаруживают нетривиальное сходство с древнегрузинскими и сванскими, в то время как осетинское правило размещения отрицательных местоимений в клаузе (они за редкими исключениями ставятся непосредственно перед глаголом) типологических аналогов не имеет.

## 1. ВВЕДЕНИЕ

Осетинский – это общее название для двух близкородственных северовосточноиранских идиомов, иронского и дигорского, на которых говорят несколько сот тысяч человек на Центральном Кавказе. Осетины – потомки сарматов и средневековых алан, см. [Алемань 2003] и ссылки там. За свою историю они контактировали с носителями самых разных языков Северной Евразии и Кавказа, и современный осетинский язык заметно отличается от остальных новоиранских.

Контактные влияния на осетинскую лексику изучались весьма активно: в первую очередь следует назвать фундаментальный Историко-этимологический словарь

---

* Данные по иронскому и дигорскому осетинскому были собраны в ходе трех поездок в Северную Осетию в 2007–2008 гг. Я благодарю А.Л. Гуриева, Ф.А. Елоеву, Е.М. Кочиеву, В.А. Плунгяна и С.Г. Татевосова, без чьей помощи эти поездки не удалось бы организовать и осуществить. Иронские материалы я собирал в основном во Владикавказе и с. Даргавс Пригородного района РСОА, а дигорские – в селах Новый Урух (Шекер) и Толдзгун Ирафского района РСОА. Я признателен моим осетинским друзьям за гостеприимство и готовность помочь, особенно много в эти приезды я работал с Р.С. Алборовой, О. Будаевым, Х.И. Гокунаевым, Ф.С. Хадзараевой, И.Г. Пирисаевой, И. Тагаевой и И.А. Уртаевой. Я признателен Я.Г. Тестельцу за обсуждения и комментарии к предварительному варианту этой статьи. За помощь в сборе и анализе данных из различных языков выборки я благодарен Н. Амиридзе, Н.Б. Вахтину, К.Т. Гадилии, Д.В. Герасимову, В.Ю. Гусеву, С.Ю. Дмитренко, К.Ю. Дружкину, П.В. Иосаду, И.С. Капитонову, Ю.А. Ландеру, П.Б. Лурье, Е.А. Лютиковой, Д.А. Паперно, К.Н. Прохорову, А.А. Ростовцеву-Попелю, А.Ю. Русакову, Н. Симс-Вильямсу, Н.Р. Сумбатовой, В.Г. Хуршудян, В.А. Чирикбе и Б.А. Шахвелишвили. Естественно, в силе обычная оговорка о том, что вся ответственность за ошибки в материале и его интерпретации лежит на мне. Наконец, я хотел бы поблагодарить двух анонимных рецензентов за полезные замечания. Промежуточные результаты этой работы я докладывал на конференции по изучению Кавказа в Мальмё (Швеция) в ноябре 2008 г., на семинаре в Институте эволюционной антропологии им. Макса Планка в Лейпциге (Германия) в феврале 2009 г. и на организованном С.С. Саем семинаре «Языковые портреты» на кафедре общего языкознания филологического факультета СПбГУ в апреле 2009 г. Я благодарен слушателям за вопросы и замечания.

В.И. Абаева [Абаев 1958–1989] и монографию [Bielmeier 1977]. Всего по этимологии осетинской лексики вышли десятки, если не сотни, работ, и перечислить их здесь не представляется возможным.

Напротив, контактные влияния на осетинскую грамматику рассматривались очень мало (тем не менее, и тут надо упомянуть важные ранние работы [Vogt 1945; Абаев 1949; 1965; 1978; Ахвледиани 1960], где сделаны различные интересные, хотя и не всегда бесспорные, наблюдения на этот счет).

В этой статье я представляю данные о морфологии и синтаксисе осетинских отрицательных местоимений в ареальной и типологической перспективе. Основное наблюдение заключается в том, что между осетинской, древнегрузинской и сванской системами отрицательных местоимений имеется нетривиальная и, по-видимому, неслучайная аналогия.

Статья устроена следующим образом: в разделе 2 я даю обзор существенных для данной работы терминов и понятий, касающихся отрицания и отрицательных местоимений. В разделе 3 я описываю осетинскую систему, а в разделе 4 сравниваю ее с другими системами отрицательных местоимений в языках Кавказа. При этом обнаруживается сходство осетинского с картвельскими языками (кроме мегрельского и лазского), а также с бацбийским. В разделе 5 я рассматриваю системы отрицательных местоимений в иранских языках и показываю, что осетинская система на них не похожа. В разделе 6 на материале большой выборки я показываю, что тип системы отрицательных местоимений, представленный в осетинском, редко встречается в языках мира. В разделе 7 я привожу примеры заимствования и контактных влияний на системы отрицательных местоимений.

В разделе 8 я обсуждаю типологические аналоги осетинского правила размещения отрицательных местоимений в клаузе. В заключительном разделе 9 я подвожу итоги и обсуждаю, прослеживаются ли схождения в других аспектах осетинской и картвельской грамматики. Данные о выборке приведены в приложении.

## 2. ОТРИЦАНИЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ: ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Литература, посвященная отрицанию и отрицательным местоимениям в частности, совершенно необозрима (см., например, списки литературы в [Horn 2001; Zeijlstra 2004; Miestamo 2005]). Это связано не только и не столько с творческим потенциалом лингвистов и философов, изучавших эти явления, сколько со сложностью возникающих проблем. В этом разделе я лишь даю определения терминов и понятий, которые будут важны нам для дальнейшего обсуждения.

### 2.1. Типы отрицания

Различают сентенциальное отрицание (sentential, clausal или standard negation), когда отрицается вся пропозиция, как это происходит в примере (1a), и термовое отрицание (constituent negation), когда отрицается лишь некоторая составляющая, как в (1b) (в данном случае отрицаемая составляющая – это предложная группа «в выходные»):

(1) a. *Мы не поедем на дачу в выходные.*
b. *Мы поедем на дачу не в выходные.*

Граница этих понятий не слишком отчетлива, см. обсуждение в [Horn 2001], однако для наших целей это обстоятельство не очень существенно, и я буду его игнорировать.

Если сентенциальное отрицание представлено, по-видимому, в любом естественном языке, то термовое отрицание существует отнюдь не везде. Например, осетинский лишен термового отрицания как такового (2a), однако сентенциальное отрицание может интерпретироваться как имеющее сферу действия только на одной из составляющих (2b). Помимо этого, существует контрастивная конструкция с расположением отрицания в конце клаузы, в таком случае отрицание имеет сферу действия на линейно предшествующей составляющей (2c). Синтаксическая структура этой конструкции пока не вполне ясна, вероятно, исторически она связана с эллипсисом глагола.

(2) иронский[1]

a. **fændy=mæ* *kuš-yn* *næ* *abon.*
хотеть-PRS=ACC.1SG работать-INF NEG сегодня
'Я хочу работать не сегодня' (подр.).

b. *næ=mæ* *fænd-y* *kuš-yn* *abon.*
NEG=ACC.1SG хотеть-PRS работать-INF сегодня
ok'Сегодня я не хочу работать'.
ok'Я хочу работать не сегодня'.

c. *æž* *ra-zur-zynæn* *ragon* *næ*
я PREV-говорить-FUT.1SG давний NEG
*fæle* *arygon* *xabar*
но молодой история
'Я расскажу не старую, а новую историю' (А. Коцойты. Четыре туальца).

В языках мира сентенциальное отрицание часто, хотя и не всегда[2], расположено рядом с глаголом (см. [Dahl 1979]), и я, несколько злоупотребляя терминологией, буду называть его и глагольным отрицанием.

## 2.2. Отрицательные местоимения

Отрицательные местоимения[3] суть «special indefinite pronouns that are used in negative contexts where the scope of negation extends over the indefinite»[4] [Haspelmath 1997: 31].

Я буду различать настоящие ОМ, сами по себе обладающие отрицательной семантикой (3a), и НМ с более широким распределением, использующиеся в том числе и в отрицательных контекстах, но не только в них, (3b, c):

(3) a. *[T]he damp bit down on the right, which* ***nobody*** *wants* (A.A. Milne. The House at the Pooh Corner. Ch. 9).
'Тот никому не нужный сырой клочок земли справа'.

b. *«Getting Tigger down,» said Eeyore, «and* ***Not*** *hurting* ***anybody***» (*ibid.*, ch. 4).
'Спустить Тигру на землю, – сказал Иа-Иа, – так, чтобы никто не пострадал'.

c. *[I]t is a thing which you can easily explain twice before* ***anybody*** *knows what you are talking about* (*ibid.*, ch. 17).

---

[1] Здесь необходимо сделать пояснение об осетинских примерах в этой статье. Иронский и дигорский практически не различаются в том, что существенно для моих целей, и я даю вперемешку примеры из обоих идиомов, помечая, естественно, из которого из них взят пример.

Поскольку чтение некоторых букв осетинской кириллицы радикально не совпадает с русским (и, более того, иногда различается в иронском и дигорском), я пользуюсь (грубой) латинской транскрипцией. Примеры, взятые из записанных устных текстов или опубликованных художественных произведений, помечаются знаком @. Остальные примеры получены прямым опросом носителей.

Осетинский аккузатив-генитив-инессив я глоссирую как обликвус (OBL), за исключением тех случаев, когда он маркирует местоименные энклитики второй позиции. Можно показать, что из ИГ, маркируемых обликвусом, на энклитики заменяются лишь прямые дополнения [Erschler 2009: 430], и в соответствии с этим я обозначаю их падеж как ACC.

[2] См., например, обсуждение древнегреческого и ведийского в разделе 5.1.3 ниже. Изредка отрицание, имеющее сферой действия всю клаузу, находится не в предглагольном положении и в русском (пример К.Ю. Дружкина):

(i) *Это не* [*Вася кота мучает*]*, а Петя на скрипке играет.*

[3] Поскольку эти словосочетания встретятся в дальнейшем десятки раз, я буду пользоваться сокращением ОМ для отрицательных местоимений, и НМ для неопределенных.

[4] Специальные НМ, употребляемые в отрицательных контекстах, в тех случаях, когда НМ попадает в сферу действия отрицания.

‘Это то, что можно объяснять дважды, прежде чем кто-либо догадается, о чем ты говоришь’.

Тесты, позволяющие различить эти понятия, таковы (см. [Haspelmath 1997: 194]): во-первых, настоящие ОМ способны быть отрицательным ответом на вопрос в эллиптическом контексте (4a), во-вторых, они способны служить «стандартом сравнения» (4b):

(4) a. A: *Who came?*
‘Кто пришел?’
B: *Nobody / *Anybody*
‘Никто’.
b. *Internet connecting voters to candidates like **never** before*[5].
‘Интернет соединяет избирателей с кандидатами, как никогда раньше’.

Как иллюстрируют примеры (3a, b) в одном и том же языке могут употребляться и ОМ, и НМ с более широким распределением.

Как показал Хаспельмат [Haspelmath 1997], во многих языках ОМ образуют серии, объединенные однотипной морфологией, например, английские *nobody*, *no-one*, *nothing*, *nowhere*, *never*. Это не всегда так (например, во французском – *personne*, *rien*, *nulle part*, *jamais*), однако в любом случае удобно говорить о парадигмах ОМ, т.е. о наборе слов со значением «человек», «вещь», «место», «время» и т.п., употребляющихся в отрицательных контекстах.

### 2.3. Сочетаемость ОМ с сентенциальным отрицанием

Если в языке настоящие ОМ есть, то возможны нетривиальные эффекты, связанные с присутствием нескольких отрицательных элементов в клаузе. Их обсуждению посвящена обширная литература (см., например [Laka 1990; Giannakidou 2000; Zeijlstra 2004] и ссылки там).

2.3.1. «Эффект двойного отрицания»: на всю клаузу допускается лишь один элемент с отрицательной семантикой, сочетание ОМ с глагольным отрицанием и друг с другом дает положительное утверждение или вовсе неграмматично:

(5) a. ***Nobody** knows **anything** about this* (A.A. Milne, *ibid.*, ch. 10).
‘Об этом никто ничего не знает’.
b. ***Nobody** knows **nothing** about this.*
ok‘Об этом кто-то что-то знает’.
*‘Об этом никто ничего не знает’.
c. ***Nobody** doesn’t know **anything** about this.*
не имеет смысла[6]

2.3.2. «Отрицательное согласование» (negative concord): все НМ, попавшие в сферу действия отрицания, должны быть отрицательными:

(6) a. *И я **никак** не мог их **ни в чем** убедить* (В. Ерофеев. Москва-Петушки. Гл. Чухлинка-Кусково).
b. итальянский
*Credo che **nessuno** non ha telefonato.*
‘Я верю, что никто не звонил’ [Zeijlstra 2004: 269].

2.3.3. Специфической разновидностью отрицательного согласования является «эффект распределения отрицания» (negative spread): в клаузе встречаются несколько ОМ, а глагольное отрицание отсутствует:

---

[5] San Jose Mercury News (22.02.2007).

[6] Точнее, при специфической интонации этой фразе маргинально можно придать смысл ‘Не существует никого, кто об этом ничего не знает’ (Я признателен Б.Х. Парти за это замечание).

(7) а. иронский осетинский

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***ni-kɐj*** | ***ni-sy*** | *(*nɐ)* | *qygdar-y* |
| NEG-КТО.OBL | NEG-ЧТО | NEG | мешать-PRS.3SG |

'Ничего никому не мешает'.

б. сванский (верхнебальский диалект)

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***no-s*** | ***(*not)*** | *xačigrawi* | ***not-čiks*** |
| NEG-КТО | NEG | обижай | NEG-когда.либо |

'Никогда никого не обижай!'

### 2.4. «Банальные» и «экзотические» свойства отрицания

#### *2.4.1. Взаимодействие с глагольными категориями*

Показатели отрицания часто зависят от времени-вида-наклонения предиката. Так в 19 из 38 языков выборки Карела, по которым были нужные данные, в индикативе и императиве используются разные показатели отрицания. В частности, это явление присутствует и в иранских, и в кавказских языках, см. далее 4.1.1, но это схождение типологически не имеет отношения к контактным влияниям.

#### *2.4.2. Существование в языке ОМ*

Исследование Карела показало, что настоящие ОМ, вообще говоря, редко встречаются в языках мира (они найдены в 10 из 40 языков его выборки[7], [Kahrel 1996: 36–38]), а исследование Хаспельмата, чья выборка (тоже из 40 языков) не сбалансированна, но зато подробно представляет европейские языки, демонстрирует, что в распространении систем ОМ могут прослеживаться нетривиальные ареальные закономерности.

Я предпринял исследование на выборке из 130 языков, для которых удалось найти сведения об ОМ (или их отсутствии). По-видимому, отрицательные местоимения часто встречаются лишь в нескольких регионах: Мезоамерике, Австралии и Северо-Западной Евразии. Забегая вперед, можно сказать, что осетинский и картвельские принадлежат в этом отношении к периферии европейского ареала[8].

## 3. ОТРИЦАНИЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ В ОСЕТИНСКОМ

Морфология осетинских отрицательных частиц и местоимений неоднократно описывалась, см., например [Абаев 1970: 588] про иронский и [Исаев 1966: 56, 90] про дигорский. Однако систематических исследований синтаксиса отрицательных конструкций в осетинском, насколько мне известно, еще не было.

### 3.1. Сентенциальное отрицание

Для сентенциального отрицания используются две частицы: *нɐ* для индикатива и *та* для императива. В прочих косвенных наклонениях употребляются обе частицы, их распределение еще не вполне изучено. Они располагаются непосредственно перед глаголом и могут от него отрываться только ваккернагелевскими клитиками:

---

[7] Как мне представляется, некоторые из языков проанализированы им неправильно (увы, это неизбежная расплата за работу с большими выборками): так, в нивхском [Панфилов 1962: 258] и эвенкийском [Nedjalkov 1997: 98; Булатова 1999: 25] ОМ отсутствуют, а в кетском они есть [Дульзон 1968: 122; Vajda 2004: 36], но это мало влияет на подсчеты в целом.

[8] Интересно отметить, что, как обнаружил уже Абаев [Абаев 1965: 60 и сл.], осетинский и новогрузинский (в отличие от прочих кавказских языков) принадлежат к периферии восточноевропейского ареала еще по одному признаку – наличию системы глагольных превербов с аспектуальной семантикой.

(8) иронский

a. *næ* *=jæ* *žon-yn*
NEG =ACC.3SG знать-PRS.1SG
'Я его (ее) не знаю'.

b. *ma/*næ* *=jæ* *a-fxær*
NEG.IMP =ACC.3SG PREV-обижать:IMP.2SG
'Не обижай его (ее)!'

### 3.2. Отрицательные местоимения

Эти местоимения образуются присоединением отрицательных частиц (зависящих от модальности так же, как и показатели сентенциального отрицания) к вопросительным словам[9]: ир. *ni/ma-či*, диг. *ne/ma-ke* NEG-кто 'никто', ир. *ni/ma-sy*, диг. *ne/ma-či* NEG-что 'ничего', ир. *ni/ma-kæd*, диг. *ne/ma-kæd* NEG-когда 'никогда', диг. *ne/ma-kumæ* 'никуда', диг. *ne/ma-kæmi* 'нигде, никогда', диг. *ne/ma-kud* 'никак' и др.

Эти сочетания отрицательных частиц с основами несомненно являются едиными словами и не разрываются даже клитиками второй позиции[10] (ср. русский пример (6а) и древнегрузинский пример (16)):

(9) иронский

a. *ni-či=jæ* *žon-y*
NEG-кто=ACC.3SG знать-PRS.3SG
'Никто не знает его (ее)'.

b. **ni=jæ* *či* *žon-y*
NEG=ACC.3SG кто знать-PRS.3SG
*Idem* (подр.)

В осетинском языке действует эффект «отрицательного распределения»[11], см. 2.3.3, т. е. отрицательные местоимения несовместимы с глагольным отрицанием, но могут встречаться по нескольку в клаузе:

(10) дигорский

a. *æžinæ=mæ* *ku* ***ne-ke*** *(*næ)* *ærba-zurd-tajdæ*
вчера=ACC.1SG если NEG-кто NEG PREV-говорить.PST-SUBJ.PST.3SG
*wættær=æj* *næ/*ma* *fæ-ronx*
тогда=ACC.3SG NEG.IND/*NEG.IMP PREV-забывание
*kodt-ajnæ*
делать.PST-IRR.1SG
'Даже если бы мне вчера никто не позвонил, я бы это не забыл'.

---

[9] Точнее, основа одного из иронских ОМ *ni/ma-kwy* 'нигде, никогда' функционирует в современном языке только как комплементайзер. В дигорском отрицательного местоимения, которое бы исторически соответствовало этому, не существует.

[10] В осетинском ваккернагелевские клитики, вообще говоря, способны попадать в позиции, недоступные ни для какого другого синтаксического материала, например, между именной и глагольной частью сложного глагола (i a), а также, при определенных условиях, между превербами и глагольной основой (i b):

(i) иронский

a. *ferox=mæ* *kæn*
забывание=ACC.1SG делать.IMP.2SG
'Забудь меня'. @

b. *ærba-sæj* *=ta=iw=m-æm* *syd-iš*
PREV-IPF =CONTR=HAB=1SG-ALL идти.PST.3SG-3SG
'Он все время подходил ко мне' (пример из [Абаев 1949] перепроверен с информантом).

[11] [Бекоев 1985: 236] указывает, что в некоторых говорах иронского, бытовавших во внутренней Грузии и подвергшихся сильному влиянию современного грузинского, стало возможным совмещать отрицательные местоимения и глагольное отрицание. Про современный грузинский см. ниже 4.1.2.

b. *wɐd* ***ne-kʊmʊn*** ***ne-či*** *ʁiga*
тогда NEG-КТО.OBL-DAT NEG-ЧТО беспокойство
*ba-dard-toncɐ* @
PREV-давать.PST-PST.TR.3PL
'Тогда они никого никак не обидели'.

Сочетание отрицательной частицы с неотрицательным НМ дает только определенное прочтение (specific reading)[12]:

(11) дигорский
*jes-kɐd* *jes-či* *nɐ* *rajiv-ton* *nemicag-aw*
IDF-когда IDF-что NEG перевести-PST.TR.1SG немецкий-EQ
a. *'Я никогда ничего не переводил на немецкий'.
b. ok'Когда-то я не перевел что-то на немецкий'.

Положение ОМ в клаузе жестко задано: они ставятся непосредственно перед глаголом[13] (12a, c). Единственное обнаруженное ограничение на порядок ОМ состоит в том, что «никто» должно предшествовать «ничему», каковы бы ни были их синтаксические или семантические роли (12a, b):

(12) иронский
a. *ni-kɐj* *ni-sy* *qygdar-y*
NEG-КТО.OBL NEG-ЧТО беспокоить-PRS.3SG
'Никого ничего не беспокоит'.
b. *?*nisy* *nikɐj* *qygdary*
*Idem* (подр.)
c. **nisy* *qygdary* *nikɐj*
*Idem* (подр.)

ОМ отрываются от глагола только ваккернагелевскими клитиками:

(13) иронский
a. *ni-kɐj* *=zy* *(*nɐ)* *fed-ton*
NEG-КТО:ACC =INESS.3SG NEG видеть:PST-TR:PST.1SG
'Я никого там не видел'.
b. *ma-kɐj* *ma-kɐd* *(*ma)* *a-fxɐr!*
NEG.IMP-КТО:ACC NEG.IMP-когда NEG PREV-обижать:IMP.2SG
'Никого никогда не обижай!'
c. **ma-kɐj* *(*ma)* *a-fxɐr* *ma-kɐd*
*Idem* (подр.)

Таким образом, можно говорить об «отрицательном передвижении» – ОМ передвигаются в предглагольную позицию. Как и при других видах передвижения, в осетинском отрицательном передвижении наблюдается эффект крысолова (pied-piping)[14], т. е. передвигается не само местоимение, а вся содержащая его составляющая. Это может

[12] См. определение и обсуждение этого понятия в [Haspelmath 1997: 31–52].

[13] Это контрастирует с довольно свободным порядком слов в обычных утвердительных предложениях:

(i) иронский
a. *Žɐlka* *araqq* *waʁ-ta* @
Залка арак гнать.PST-PST.TR.3SG
'Залка гнал арак' (SOV).
b. *wyryžmɐž-y* *sɐštɐngaš* *dom-y* *zwapp* @
Урызмаг-OBL взгляд требовать-PRS.3SG ответ
'Взгляд Урызмага требует ответа' (SVO).
c. *qwyš-ta* *axɐm* *xabɐr-ttɐ* *wyryžmɐg* @
слушать-PST.TR.3SG такой новость-PL Урызмаг
'Слушал эти известия Урызмаг' (VOS).

[14] См. обсуждение этого понятия в [Тестелец 2001: 140].

создать видимость отрыва ОМ от глагола, как в примере (10b): фактически там в предглагольной позиции находится ИГ *neči ʁiga* 'никакое беспокойство'.

Интересно отметить, что точно такое же ограничение распространяется и на вопросительные слова во множественных частных вопросах[15]:

(14) иронский
a. *či* *sy* *ba-lxɐt-ta?*
кто что PREV-покупать.PST-PST.TR.3SG
'Кто что купил?'
b. **sy* *či* *ba-lxɐt-ta?*
что кто PREV-покупать.PST-PST.TR.3SG
*Idem* (подр.)

Было бы естественно задаться вопросом об ограничениях, которым подчиняется это передвижение, однако это выходит за рамки данной статьи.

Подытоживая сказанное в этом разделе, важные для последующего сопоставления свойства осетинских ОМ – их морфологическая структура (глагольное отрицание + вопросительное слово) и эффект отрицательного распределения.

## 4. ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ НА КАВКАЗЕ

### 4.1. Картвельские языки

Покажем, что в некоторых из картвельских[16] языков отрицательная конструкция весьма сходна с осетинской.

#### *4.1.1. Сентенциальное отрицание*

В картвельских языках, как и в осетинском, имеется по нескольку показателей отрицания, которые располагаются перед глаголом, с распределением, зависящим от модальности (см. [Schanidse 1982: 167] про древнегрузинский, [Vogt 1971: 49] про современный грузинский, [Palmaitis, Gudjedjiani 1986: 93–94] про сванский, [Кипшидзе 1914: 117] про мегрельский и [Kutscher и др. 1995] про лазский). Однако эти свойства типологически банальны: в сбалансированной выборке [Kahrel 1996] из 38 языков, по которым у него были данные про вид показателей отрицания в императиве и в индикативе, в 19, т. е. ровно в половине из них, эти показатели различались. По данным же [Dryer 1988] предглагольное расположение отрицания также весьма распространено в языках мира, в том числе и в языках с левым ветвлением (head final).

Кроме того, отрицательные частицы **ne* и **mē*, соответствующие осетинским *nɐ* и *ma* реконструируются для индоевропейского состояния [Delbrück 1897: 519–521], и

---

[15] Вопросительные слова в осетинском также передвигаются в предглагольную позицию [Кудзоева 2003; Волк, Эршлер 2007], если в клаузе есть и вопросительные слова, и ОМ, то последние располагаются ближе к глаголу:
(i) дигорский
a. *kɐmi* *ne-kɐd* *adtɐ?*
где NEG-когда быть.PST.2SG
'Где ты никогда не был?'
b. **ne-kɐd* *kɐmi* *adtɐ?*
*Idem* (подр.)

[16] Картвельская семья языков состоит из сванского, грузинского (обладающего непрерывной письменной традицией с V в. н. э.), мегрельского и лазского языков [Климов 1986; Boeder 2005: 6].

рефлексы обоих присутствуют во многих иранских языках[17], с кавказскими заведомо не контактировавших, так что не приходится говорить даже о картвельском влиянии на их сохранение в осетинском.

### *4.1.2. Отрицательные местоимения в картвельских*

В древнегрузинском ОМ образовывались сочетанием отрицательного префикса, совпадающего по форме с глагольным отрицанием, с вопросительным словом:

(15) *da* ***ara**-vin* *icoda* *čem-sa* *gareše*
и NEG-кто знать.IPF.3SG я-DAT кроме
'И про это никто, кроме меня, не знал…' (Муч. Шушаник[18], гл. 15).

Отрицательный префикс мог отделяться от вопросительного слова клитикой:

(16) ***num**=ca* ***vin*** *ševals* *xilv-a-d* *mi-sa*
NEG.IMP=и кто идти.3SG смотреть-NMZ-ADV он(а)-DAT
'И чтобы никто не приходил смотреть на нее' (Муч. Шушаник, гл. 7).

Сочетание ОМ с глагольным отрицанием не зафиксировано в древнегрузинских текстах [Boeder 2005: 65]. Мне не удалось обнаружить древнегрузинские примеры с несколькими ОМ или с ОМ, расположенным не в непосредственно предглагольной позиции.

В современном грузинском ОМ устроены так же[19]. Они (необлигаторно) сочетаются с предглагольным отрицанием и не обязаны располагаться непосредственно перед глаголом. Единственное ограничение на их расположение, которое мне удалось обнаружить, – непосредственно перед глаголом в отрицательной клаузе обязательно должен находиться какой-нибудь отрицательный элемент, неважно, местоимение или частица (17 a-c):

(17) a. *vano-s* ***ara**-per-i* *dɣes* ****(ar)*** *c'auk'itxavs*
Вано-DAT NEG-цвет-NOM сегодня NEG читать.PERF. 3SG
'Вано сегодня ничего не читал'.
b. *vano-s* *dɣes* ***ara**-per-i* *c'auk'itxavs*
*Idem*
c. ***ar*** *vici* ***ara**-per-i*
NEG знать.PRS.1SG NEG-цвет-NOM
'Я ничего не знаю' [Testelec 1998: 247].

В сванском ситуация сходна с древнегрузинской (дело, однако, усложняется свойственной сванскому богатой морфонологией). В ОМ выделяются префиксы, соответствующие глагольному отрицанию[20], и имеется эффект отрицательного распределения. Одно из местоимений должно обязательно размещаться в предглагольной позиции:

---

[17] Так, эти показатели засвидетельствованы в авестийском [Reichelt 1909: 317], древнеперсидском [Kent 1953: 92], современном персидском [Рубинчик 2001: 249, 257, 258], сорани [MacKenzie 1961: 88–89, 181], курманджи [Курдоев 1978: 165], белуджском (мои полевые данные); пашто [Tegey, Robson 1996: 125, 133], ваханском [Грюнберг, Стеблин-Каменский 1976: 594], рошорвском [Курбанов 1976: 117], рушанском [Файзов 1966: 101], ормури [Ефимов 1986: 236] и некоторых других. В этих языках в индикативе допускается обычно только отрицательная частица, исторически соответствующая *nɐ*, а в императиве – исторически соответствующая *ma*. В остальных наклонениях, если они представлены в соответствующих языках, картина более сложная.

[18] «Мученичество Шушаник» – самое раннее известное непереводное грузинское сочинение, датируемое V в. н. э. Его текст взят с сайта проекта «Титус».

[19] Исключением является местоимение *ara-peri* 'ничего', основа которого *peri* значит 'цвет'. Интересно отметить, что в древнегрузинском *ara-raj* 'ничего' было построено из вопросительной основы *raj* 'что', единообразно с прочими ОМ [Schanidse 1982: 53].

[20] Этимология основ сванских местоимений малоизучена, однако в некоторых случаях они заведомо совпадают с вопросительными словами.

(18) верхнебальский диалект сванского, полевые материалы.

a. ***d-äs*** ***dem-čiks*** ***(*de)*** *xočda* *Mars-ži*
NEG-КТО NEG-когда.либо NEG был Mars-на
'Никто никогда не был на Марсе'.

b. ***no-s*** ***nom-čiks*** ***(*nom)*** *xačigrawi*
NEG-КТО NEG- когда.либо NEG обижай
'Никогда никого не обижай!'

c. ***nos*** *xačigrawi* ***nomčiks***
*Idem*

Настоящих ОМ лишены мегрельский[21] и, видимо, лазский [Kutscher и др. 1995].

(19) мегрельский (полевые материалы А.А. Ростовцева-Попеля и мои)

a. A: *mu* *(k)iši?*
что ты.достал
'Что ты достал?'
B: *mutunĭ* **(va-r)*
что-то.NOM NEG-быть.PST.3SG
'Ничего'.

b. A: *tina* *mi rdu?*
то кто был
'Кто это был?'
B: *mitin* **(va-r)*
кто-то NEG-быть.PST.3SG
'Никто' (т.е. 'Не скажу').

### 4.2. Прочие языки Кавказа

На то, что в большинстве кавказских языков ОМ нет (или они имеют совершенно другую морфологию, чем в грузинском) обратил внимание еще [Имнайшвили 1953], в чью выборку, помимо картвельских языков, вошли чеченский, аварский, лакский, даргинский, кабардинский и бацбийский.

#### *4.2.1. Нахско-дагестанские и абхазо-адыгские языки*

Во многих северокавказских языках в отрицательных контекстах используются НМ, сложенные из слова «один» или вопросительных слов со скалярной (т. е. приблизительно означающей «даже») частицей[22]. Так обстоит дело в адыгейском [Рогава, Керашева 1966; Капитонов 2008], абхазском [Chirikba 2003: 34], лакском [Жирков 1955: 75], лезгинском [Haspelmath 1997: 296], ицаринском даргинском [Sumbatova, Mutalov 2003], цезском [Имнайшвили 1963: 132], чеченском и ингушском [Nichols 1994a; 1994b].

(20) a. лезгинский [Haspelmath 1997: 296]
*däwe* *mad* ***sadra-ni*** *sa* ***kasdi-z-ni***
война опять однажды-ДАЖЕ один человек-DAT-ДАЖЕ
*q'ismet* ***ta-x̂u-raj***
судьба NEG-быть-OPT

[21] Кипшидзе упоминает также ОМ *mi-ta* кто-SUFF 'никто'и *mu-ta* что-SUFF 'ничего' [Кипшидзе 1914: 50], см. также [Ростовцев-Попель 2006: 39]. Эти местоимения несовместимы с глагольным отрицанием [Кипшидзе 1914: 145]. По данным А.А. Ростовцева-Попеля и моим, современные носители мегрельского узнают эти местоимения, но их не используют. В частности, по мнению моего информанта, они неуместны в качестве ответов в (19a, b). Суффикс *-ta* не имеет ничего общего с показателями глагольного отрицания.

[22] Такая серия НМ есть и в осетинском, однако они не употребляются в отрицательных контекстах.

‘Да не будет больше ничьей судьбой война’.
чеченский (полевые материалы)

b. *Musa* ****(ca)*** *xilla* ***cqa-ħa*** *cħa*
М. NEG был когда.либо-ДАЖЕ один
‘Муса нигде никогда не был’.

c. *Musa* ***cqa-ħa cħa*** ****(ca)*** *xilla*
*Idem*

d. абхазский [Chirikba 2003: 34]
*ak’-g’ə* *Ø-s-taxə-m*
один:NH-ДАЖЕ 3O-1S-хотеть-NEG
‘Я ничего не хочу’.

e. адыгейский [Капитонов 2008: 297]
*ar* ***ted-jə*** *rekʷ’a-ʁ-*(ep)*
ОН.ABS где-даже идти.PST-NEG
‘Он никуда не пошел’.

В некоторых из этих языков часть таких элементов не употребляется в неотрицательных контекстах, т. е. фактически грамматикализовались в настоящие ОМ, например, адыгейское *z-je* один-ДАЖЕ ‘никто’ (Ю.А. Ландер, л. с.) и абхазское *ak’-g’ə* один:NH-ДАЖЕ ‘ничего’ (В.А. Чирикба, л. с.).

В багвалинском языке (андийский) в сфере действия отрицания используются родовые имена и НМ, см. примеры в [Кибрик 2001: 442, 602, 720].

В хиналугском языке ОМ образуются присоединением морфемы *hečʰ* к вопросительным словам и неопределенным местоимениям [Кибрик и др. 1972: 83]. Очевидно, *hečʰ* заимствован из персидского, скорее всего, через азербайджанский. Мне не удалось установить, употребляются ли такие формы в неотрицательных контекстах.

Резко отличается от прочих нахско-дагестанских языков бацбийский[23], где имеются настоящие ОМ и отрицательное согласование (21a). Отметим, что в отличие от осетинского, в бацбийском ОМ не обязаны располагаться перед глаголом (21b). Сочетание НМ и глагольного отрицания не дает отрицательного прочтения (21c):

(21) бацбийский (Б.А. Шавхелишвили, л. с.)

a. *zurb-en* ***co-ħan-na*** ***co-m*** ***(co)*** *d-ał-i*
Зураб-DAT NEG-КТО-DAT NEG-вещь NEG 5CL[24]-дать-PST
‘Зурабу никто ничего не дал’.

b. *zurb-en* ***co*** *d-ał-i* ***co-ħan-na*** ***com***
*Idem*

c. *zurb-en* ***co-ħan-na*** *vum* ***co*** *d-ał-i*
Зураб-DAT NEG-КТО-DAT ЧТО-ТО NEG 5CL-дать-PST
‘Зурабу никто кое-что не дал’.

Подробно о парадигме ОМ в бацбийском см. в [Имнайшвили 1953: 58–63].

### *4.2.2. Тюркские языки Кавказа*

В этих языках используются сочетание НМ и глагольного отрицания.

(22) карачаево-балкарский (Е.А. Лютикова, л. с.[25])

a. *madina* *erttenlik-ten* *beri* ***aberi-(da)*** *aša-**ma**-ʁan-dy*
Мадина утро-ABL сюда вещь-(EMPH) есть-NEG-PERF-3SG
‘Мадина ничего не ела с утра’.

---

[23] Как известно, бацбийский испытал сильное грузинское влияние [Дешериев 1953: 6], поэтому такое отличие неудивительно.

[24] Нумерация классов следует [Дешериев 1953: 137].

[25] Я признателен Е.А. Лютиковой за разрешение использовать здесь ее неопубликованные полевые материалы.

b. *madina* *erttenlik-ten* *beri* ***aberi*** *aša-ʁan-dy*
Мадина утро-ABL сюда вещь есть-PERF-3SG
'С утра Мадина (уже) что-то съела'.

### *4.2.3. Армянский*

В современном восточноармянском ОМ есть, однако, они устроены по-другому, чем осетинские и картвельские: слова *jerp$^{h}$ek* и *bənav* 'никогда' нечленимы, по крайней мере, на синхронном уровне, а остальные ОМ устроены как сочетание показателя термового отрицания с НМ (или существительными, употребляющимися в качестве НМ):

(23) a. *voč$^{h}$ vok$^{h}$* b. *voč$^{h}$ mi* c. *voč$^{h}$ mi teɣ*
NEG кто-то NEG один NEG один место
'никто' 'никакой' 'нигде'

Они требуют отрицания при глаголе:

(24) a. *jev* *jerp$^{h}$ek* **(č$^{h}$)-karoɣa-c$^{h}$a* *loɣa-l* *sovore-l*
и никогда NEG-мочь-AOR.1SG плавать-INF учиться-INF
'И я никогда не мог научиться плавать'[26].

При этом в грабаре система была похожа на древнегреческую и авестийскую (хотя в значении 'никто' с отрицанием сочеталось не вопросительное, а неопределенное местоимение):

(25) a. *mi* *inč* *asices*
NEG что говорить.IMP.2SG
'Ничего не говори'[27] (Мк. 1:44).

b. *ew* ***oč*** ***ok$^{h}$*** *arkan-ĕ* *gini* *nori*
и NEG кто-то наливать-PRS.3SG вино новое
*tik-s* *hin-s.*
мех-LOC.PL старый-LOC.PL
'И никто не наливает новое вино в старые мехи' (Мк. 2:22).

Итак, осетинская и картвельская системы действительно уникальны на Кавказе. Однако эта общность может быть случайной, и осетинская система ОМ может быть непосредственно унаследована от более раннего иранского состояния. В следующем разделе я покажу, что это не слишком правдоподобно.

## 5. ОТРИЦАНИЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ В ИРАНСКИХ И ДРЕВНИХ ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ

### 5.1. Новоиранские языки

Во всех новоиранских языках, кроме осетинского, о которых я располагаю данными на этот счет, настоящих ОМ нет, и они используют либо НМ, либо вопросительные слова. Эти составляющие не обязаны располагаться в предглагольной позиции (см., например (26c)).

(26) a. персидский (юго-западноиранский), данные из [Haspelmath 1997: 283]
*(hič)* *kas-i* *zang* *na=zad*
IDF кто-IDF.ART звонок NEG=ударять
'Никто не звонил'.
ваханский (юго-восточноиранский, памирский, полевые данные)

[26] Пример из Восточноармянского национального корпуса (http://www.eanc.net).
[27] Примеры из грабара взяты с сайта проекта «Титус» (http://titus.uni-frankfurt.de).

b. неотрицательное неопределенное местоимение

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***i-čiz*** | *cə=kṣ̌ əji* | *maž-i* | *aga* | *car* |
| IDF-что | если=слышать:2SG | я:OBL-ACC | буждение | делать:2SG |

'Если что-нибудь услышишь, разбуди меня'.

c. это же местоимение в отрицательной клаузе

| | | |
|---|---|---|
| ***me*** | *pšad* | ***i-čiz*** |
| NEG.IMP | трогать | IDF-what |

'Ничего не трогай'.

d. мунджанский [Грюнберг 1972: 419]

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***kdi*** | ***či-kərkint*** | *da* | *qura* | *ləghay-o* |
| кто | NEG-мочь | PREP | холм | зайти-INF |

'Никто не может забраться на этот холм'.

Необходимо, однако, иметь в виду, что большинство новоиранских языков либо близкородственно персидскому, либо подверглось сильному его влиянию, поэтому сравнение с ними может быть не особенно значимым. Поэтому имеет больше смысла сравнивать осетинский со средне- и древнеиранскими языками. К сожалению, корпусы дошедших до нас текстов не слишком велики, и более того (в случае среднеиранских) многие из текстов – переводные, поэтому они не могут служить надежным источником сведений о синтаксисе.

### 5.2. Древнеиранские языки

Весьма немногочисленные примеры ОМ в Авесте указывают на то, что они, возможно, образовывались по модели показатель отрицания + вопросительное слово, но не помещались в непосредственно предглагольную позицию:

(27) позднеавестийский (Авеста, Yt[28] 10:122, цит. по [Reichelt 1909: 257])

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***mā*** | ***čiš=mē*** | *zaoθra-nąm* | *fra-ŋuharāṯ* |
| NEG | кто=1SG.GEN | заотра-GEN.PL | PREV-пить.OPT.3SG |

'Чтобы никто у меня не пил из заотры (жертвенного напитка)'.

Аргументом в пользу того, что *mā čiš* образуют единое слово, служит расположение ваккернагелевской клитики *mē*. Однако все же следует учитывать возможность, что *mā* – это не префикс у местоимения, а отдельная отрицательная частица, имеющая сферу действия надо всей клаузой, а вопросительное слово лишь случайно оказалось рядом с ним.

Почему эта возможность представляется вероятной? Хотя мне неизвестно систематических исследований отрицания в авестийском, данные других архаических индоевропейских языков свидетельствуют в пользу именно такой интерпретации: и в ведийском [Delbrück 1897: 521], и в древнегреческом [Moorehouse 1959] сентенциальное отрицание часто помещалось в начале клаузы, в отрыве от глагола[29]. Имеются древнегреческие примеры, где отрицательная частица отделяется от НМ не клитиками, а просодически (и синтаксически) «тяжелым» материалом, что указывает на то, что они не образовывали единого слова:

(28)

| | | | |
|---|---|---|---|
| *to* | *penesθai* | | |
| DEF.N.SG.ACC | быть.бедным.PRS.INF.MED-PASS | | |
| ***oux*** | *omolog-ein* | ***tini*** | *aisxron*, |
| NEG | признать-INF.PRS.ACC | кто.DAT | позорно.N.SG.NOM |

[28] Яшт.

[29] По данным [Moorehouse 1959], в гомеровском греческом прохибитивная частица *mĕ* стояла в начале клаузы в 97% случаев и была при этом непосредственно перед глаголом в 17% случаев. В более поздних текстах такие примеры встречаются реже, но тем не менее отнюдь не являются чем-то исключительным. Статистика для ведийского мне, к сожалению, неизвестна.

*alla* *mĕ* *diapheug-ein* *ergo* *aisxion*
но NEG избегать-INF.PRS.ACT дело.SG.DAT позорно.COMP.N.SG.NOM
'То, что ты бедствуешь, никому не позорно признать, но позорнее не избегать (бедности)' (Фукидид, 2.40.1)[30].

Поэтому разумно предположить, что так же обстояло дело и в авестийском.
В корпусе известных науке древнеперсидских текстов (см. [Kent 1953]) ОМ нет[31].

### 5.3. Среднеиранские языки

Наиболее близко родственный осетинскому среднеиранский язык – это согдийский (северо-восточноиранский, Средняя Азия, памятники II–X вв. н. э.). ОМ там не имели формы отрицание + вопросительное слово (29 a, b), и более того, часто использовались НМ в сочетании с отрицанием перед глаголом (29 c) [Sims-Williams 1986: 409]:

(29) a. *'t* *wc'q* ***ny*** ***'dy*** *nbnty*
и завтра NEG кто-то с
'а завтра (оно) никому не принадлежит' [Sims-Williams 1985: 89, 48V: 17[32]].

b. *'t* *pr* *wyny* *frm'n* *ny* ***nyc***[33] *bntq'*
и в его повеление NEG ничего быть:3PL.FUT
'И по чьему повелению они обратятся в ничто' [Sims-Williams 1985: 146, 69V: 20].

c. *kyy* *cn* *'rt'w-t* *nγwš'k-t* *byk*
который из клирик-PL мирянин-PL кроме
*''δyy* *ny* *γrβty*
кто-либо NEG знать.PRS.3SG
'Который не знает никто, кроме манихеев – клириков и мирян' [Sundermann 1985: 36, текст *e*, V:22].

Таким образом, имеющиеся данные по иранским языкам, по крайней мере, косвенно указывают на то, что осетинская система является инновацией.

## 6. АРЕАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И МОРФОЛОГИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ В ЯЗЫКАХ МИРА

Подведем промежуточные итоги: некоторые языки Центрального Кавказа, а именно: древнегрузинский, сванский и осетинский – обнаруживают сходство в устройстве системы ОМ: эти местоимения образуются по модели «глагольное отрицание + вопросительное слово», и в языках присутствует эффект отрицательного распределения.

---

[30] Текст Фукидида взят с сайта http://www.perseus.tufts.edu.

[31] Более того, имеются примеры, указывающие на то, что в таких контекстах употреблялось предглагольное отрицание и НМ:

(i) *kaš-cij* *naji* *a-darš-nau-š* *ciš-cij* *θas-tanaji* *parij*
кто-IDF NEG AUGM-сметь-IPF-3SG что-IDF сказать-INF о
*Gauma:ta-m* *tja-m* *magu-m*
Гаумата-ACC который-ACC маг-ACC
'И никто не смел ничего сказать о Гаумате-маге' (Бехистунская надпись, столб. 1, 53 [Kent 1953: 117]).

Это, вообще говоря, не означает, что в древнеперсидском не могло существовать и настоящих ОМ, однако аналогия с современными западноиранскими отрицательными конструкциями не вызывает сомнений.

[32] Т. е. фрагмент 48, verso, строка 17.

[33] 'Что' записывается *cw*, так что, по крайней мере, на синхронном уровне это не NEG + что. Кроме того, этот пример показывает, что в согдийском не было условия «одно отрицание на клаузу».

В том, что касается морфологии ОМ, к этому «языковому мини-союзу» примыкают современный грузинский и бацбийский. С другой стороны, в прочих языках Кавказа и иранских ОМ либо нет, либо они устроены совершенно иначе. Это делает правдоподобной версию о том, что это сходство – не случайное совпадение, а результат контактного влияния.

Однако все сказанное до сих пор не учитывает еще одну возможность – осетинский и картвельские могут принадлежать какому-то большему ареалу, где распространена именно такая система ОМ.

Данные моей выборки[34] (см. сведения о ней в приложении) показывают на этот счет следующее. ОМ, образованные по модели «(похожее на) глагольное отрицание + вопросительное слово», встречаются повсеместно в Восточной Европе: так обстоит дело в славянских и балтийских языках, а также в албанском, венгерском и севернорусском цыганском. Отдельные ОМ (например, *nicicând* 'никогда') образованы так и в румынском. Однако ни в каких языках Восточной Европы не встречается эффект отрицательного распределения. Отрицательное согласование зафиксировано уже в ранних славянских памятниках:

(30) a. старославянский
***никомоуже ничесоже не*** *рьци*
'Никому ничего не говори' (Мк. 1:44, Зографское евангелие[35]).

b. *а* ***не емли ничъто же*** *оу него*
'Ничего у него не бери' (Гр. № 109 (конец XI – начало XII в.) [Зализняк 2004: 257]).

Таким образом, облигаторный эффект отрицательного распределения, имеющийся в осетинском, древнегрузинском и сванском, отличает их от прочих языков восточноевропейского ареала со сходной морфологией ОМ.

В языках же Западной Европы ОМ в основном не образуются от вопросительных слов – для этого используется, как правило, сочетание отрицания, похожего на глагольное, с основами НМ. Вне Европы, Кавказа и Сибири парадигмы ОМ[36] в Евразии не обнаружены. Кроме перечисленных языков Восточной Европы модель «глагольное отрицание + вопросительное слово», возможно, существует в ительменском и некоторых языках Северной и Центральной Америки (кламат (пенутийский, вымерший, Орегон, США), купеньо (юто-ацтекский, вымерший, Калифорния), сенека (ирокезский, США и Канада), чималапа сокский (михе-сокский, Мексика), яки (юто-ацтекский, США и Мексика), а также в австралийском языке джингулу (джингили-вамбайский, не паманюнгский, Северная Австралия), однако имеющиеся данные не во всех случаях позволяют судить, являются ли ОМ в этих языках едиными словами, или ситуация там была подобна имевшейся в древних индоевропейских, см. 5.2.

Таким образом, системы ОМ в языках Центрального Кавказа заведомо являются типологически редкими.

## 7. НАСКОЛЬКО МОРФОЛОГИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ ПОДВЕРЖЕНА КОНТАКТНЫМ ВЛИЯНИЯМ?

Дополнительным аргументом в пользу контактного происхождения этой синтаксической изоглоссы служит то, что морфология ОМ в языках мира несомненно подвержена внешним влияниям.

---

[34] Для составления выборки были весьма полезны данные из [Haspelmath 2008], однако, поскольку там принято решение не разграничивать ОМ и НМ, непосредственно результатами этой работы воспользоваться не удалось.

[35] Пример взят с сайта проекта «Титус» (http://titus.uni-frankfurt.de).

[36] Однако в некоторых языках имеются отдельные ОМ, например, в кхмерском – *mɯm-dael* NEG-НАВ 'никогда' (С.Ю. Дмитренко, л. с.).

Очевидные заимствования отрицательных аффиксов у ОМ встречаются достаточно часто: огромное количество языков Передней и Средней Азии позаимствовали в качестве показателя ОМ персидское НМ *hič*, а многие языки России используют показатель *ne-/ni-*, вероятно, заимствованный из русского[37] (вепсский [Зайцева 1981: 272], марийский [Пенгитов 1961: 147], кильдинский саамский [Керт 1971: 177], селькупский [Кузнецова и др. 1980: 298–299], чувашский [Андреев 1957: 138], колымский юкагирский [Maslova 2003: 494–495]). В имбабура кечуа и в уастек (майянский, Мексика) был заимствован испанский показатель *ni-* [Cole 1985: 87; Edmonson 1987: 357].

Менее распространено копирование иноязычной модели, однако, помимо обсуждавшегося в разделе 4.2.1 бацбийского, такое же явление, возможно, имеет место в колымском юкагирском: наравне с ОМ вида *n'e* + вопросительное слово (*n'e-leme* NEG-что 'ничего'; *n'e-qaŋide* NEG-где:DIR 'никуда', *n'e-qodo* NEG-как 'никак') Е.С. Маслова приводит примеры и с формой *el-qodo* NEG-как 'никак', где к вопросительному слову присоединяется юкагирский показатель глагольного отрицания (при этом такой же показатель отрицания стоит и при глаголе [Maslova 2003: 494–495]).

Заимствованию подвержены и ОМ в целом: см., например [Matras 2004: 113–116] про цыганские языки и [Тенишев 1976: 137] про саларский (тюркский, Синьцзян).

Таким образом, предположение о том, что осетинская система отрицательных местоимений сформировалась под влиянием картвельских языков, не является неправдоподобным.

Можно строить различные предположения о том, как происходило это развитие. Однако сведения об аланском и осетинском до конца XVIII века весьма фрагментарны [Камболов 2006: 165–207], а язык самых ранних известных текстов уже не слишком отличается от современного [Тедеева 1985], поэтому все рассуждения тут неизбежно оказываются чисто спекулятивными.

## 8. ЕСТЬ ЛИ ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ АНАЛОГИ У ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ВЫНОСА?

Как было показано в разделе 3.2, осетинские ОМ облигаторно передвигаются в предглагольную позицию. Примеры (17c), (18c) и (21b) свидетельствуют, что в прочих современных языках гипотетического центральнокавказского языкового союза этого эффекта нет, см. также [King 1996] о расположении ОМ в грузинском (для древнегрузинского, как уже упоминалось, примеры с непредглагольным расположением ОМ неизвестны, но это может быть связано лишь с малыми размерами корпуса).

Не удалось обнаружить подобного и в прочих языках с ОМ. Для романских языков описано явление «отрицательного выноса» (negative fronting), см. [Laka 1990: 107], однако это иное явление: оно состоит в том, что, если ОМ находится справа от глагола, перед глаголом должно стоять отрицание:

(31) испанский [Laka 1990: 107]
a. **(no) vino nadie*
'Никто не пришел'.
b. *nadie (no) vino*
*Idem*

Более близким аналогом является скандинавское отрицательное передвижение, однако этому правилу подчиняются только некоторые ОМ:

(32) a.* *Jón hefur* ***talað*** *við* ***engan***.
Йон AUX.3SG говорить с никто
'Йон ни с кем не говорил' (подр.).
b. *Jón hefur* ***engan*** ***talað*** *við*
Йон AUX.3SG никто говорить с
'Йон ни с кем не говорил' [Thráinsson 2007: 36].

[37] Однако [Майтинская 1969] предполагает, что в финно-угорских языках это может быть собственная морфема, случайно совпавшая с русской.

c. *Nokkrir* *stúdentar* ***séð*** ***aldrei***
некоторые студенты видели никогда
*þessa* *mynd* *í* *fyrra.*
этот фильм в прошлом году
'Некоторые студенты никогда не видели этого фильма в прошлом году' [Thráinsson 2007: 23].

Таким образом, осетинский является единственным известным на сегодняшний момент языком с облигаторным передвижением любых ОМ.

## 9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В этой статье я показал, что между осетинскими и картвельскими отрицательными системами имеется некоторая типологически нетривиальная аналогия. Естественно задаться вопросами, наблюдаются ли параллели и в других областях грамматики, а также в лексике. Ответ на первый вопрос – утвердительный: еще одно нетривиальное схождение можно усмотреть в строении частных вопросов в этих языках.

Как в осетинском [Волк, Эршлер 2007: 43], так и в картвельских ([Harris 1984] про древне- и новогрузинский, [Tuite 1997] про сванский, полевые материалы А.А. Ростовцева-Попеля и мои про мегрельский) все вопросительные слова облигаторно передвигаются в предглагольную позицию. Точно так же они ведут себя в нахских языках, в то время как в прочих языках Кавказа, равно как и в иранских языках, кроме осетинского, ничего подобного не наблюдается [Erschler 2008].

Таким образом, можно высказать гипотезу, что на Центральном Кавказе имеется языковой союз, состоящий из осетинского, грузинского, сванского и бацбийского (см. критерии языкового союза, например[38], в [Heine, Kuteva 2005: 174]). Обоснование этой гипотезы зависит от того, удастся ли в дальнейшем обнаружить другие нетривиальные грамматические схождения между этими языками.

Лексические схождения между осетинским и картвельскими, однако, не очень впечатляющи: их немало, но они затрагивают в основном легко заимствующуюся культурную лексику (см., например, обсуждение в [Андроникашвили 1966: 40–141] и список осетино-картвельских лексических параллелей в указателе к Историко-этимологическому словарю Абаева [Абаев 1995: 373–393]).

Несомненно, для существенного влияния на грамматику языка нужны достаточно тесные[39] контакты между носителями. Судить о том, были ли в действительности такие контакты между предками современных осетин и носителями картвельских языков – задача историков.

## ПРИЛОЖЕНИЕ: СОСТАВ ВЫБОРКИ И ИСТОЧНИКИ

Из-за недостатка места я привожу ссылки лишь для тех языков, где (потенциально[40]) имеются ОМ, а также не перечисляю обсуждавшиеся в основном тексте статьи кавказские языки.

Евразия: албанский (индоевропейский, Балканы) [Buchholz, Fiedler 1987: 311–312], венгер-

[38] Я даю именно эту ссылку, поскольку работа Хайне и Кутевой представляет собой один из наиболее современных и полных обзоров по проблематике языковых союзов и языковых контактов. По этой теме вышло огромное количество литературы, и ее рассмотрение далеко выходит за рамки данной статьи.

[39] Хотя и не обязательно продолжительные – см. обсуждение контактных изменений в шриланкинском португальском у Баккера [Bakker 2006: 137].

[40] Эту оговорку я делаю потому, что не всегда возможно удостовериться, во-первых, что слова, которые авторы описаний считают отрицательными местоимениями, не встречаются и в неотрицательных контекстах и, во-вторых, что они не являются сочетанием сентенциального отрицания (расположенного отдельно от глагола) с НМ.

ский (финно-угорский, уральский) [Rounds 2001: 138], французский, современный валлийский[41] [Borsley и др. 2007: 263], гагаузский (огузский, тюркский, Молдавия и Болгария) [Покровская 1964: 150], галисийский (романский, Испания) [Calero Carballo 1966: 129], голландский [Zeijlstra 2004: 108, 138–141], испанский [Laka 1990: 107], ительменский (изолят, Камчатка) [Володин 1976: 274], каталанский (романский, Испания) [Badia Margarit 1962], кетский (енисейский, Центральная Сибирь) [Дульзон 1968: 122; Vajda 2004: 35–36], (паланский) корякский (чукотско-камчатский, Камчатка) [Жукова 1980: 113–114], латышский [Endzelin 1922: 405, 813], мансийский (финно-угорский, уральский, Западная Сибирь) [Ромбандеева 1995: 105], марийский (финно-угорский, уральский, Центральная Россия) [Пенгитов 1961: 147], немецкий [Zeijlstra 2004], новогреческий [Giannakidou 2000], норвежский [Стеблин-Каменский 1957: 94–95], португальский [Mateus и др. 1989: 112–113], румынский [Pop 1948: 217, 411], кильдинский саамский (финно-угорский, уральский, Кольский полуостров) [Керт 1971: 177], сардский (романский, Сардиния) [Pittau 1972: 80], селькупский (самодийский, уральский, Таймыр) [Кузнецова и др. 1980: 298–299], удмуртский (финно-угорский, уральский, восток европейской России) [Перевощиков 1962: 181], фарерский [Lockwood 1964: 155], чувашский (тюркский, Центральная Россия) [Андреев 1957: 138], севернорусский цыганский [Вентцель 1964: 72, 94], азиатский эскимосский[42] (эскалеутский, Чукотка) [Меновщиков 1962: 278], колымский юкагирский (юкагирский, ?уральский, Якутия) [Maslova 2003: 494–495].

Африка: африкаанс (германский, ЮАР и Намибия) [Donaldson 1993: 402], бен (манде, Кот Д'Ивуар) [Паперно 2006: 82–83], кана (кроссриверский, дельта кросс, Нигерия) [Ikoro 1996: 351].

Австралия: джингулу (джингили-вамбайский, не пама-нюнгский, Северная Австралия) [Pensalfini 1997: 203], куук таайоре (пама-нюнгский, мыс Йорк, Северо-Восточная Австралия) [Gaby 2006: 93], манграйи (гунвинггуанский, не пама-нюнгский) [Merlan 1982: 119, 120], маунг (йиуайджианский, не пама-нюнгский, Арнем-Ленд, Северная Австралия) [Capell, Hinch 1970: 66, 178], нгиямбаа (пама-нюнгский, вымерший или почти вымерший, Юго-Восточная Австралия) [Donaldson 1980: 240], тиви (изолят, о-ва Тиви, северное побережье Австралии) [Osborne 1974: 57, 68].

Америка: ассинибойне (сиу, США) [Cumberland 2005: 29, 213, 440], гуарани (тупи-гуарани, Парагвай) (Д.В. Герасимов, л.с.), истмо науатль (юто-ацтекский, Мексика) [Wolgemuth 2002: 42, 136], кламат (пенутийский, вымерший, Орегон, США) [Barker 1964], купеньо (юто-ацтекский, вымерший, Калифорния) [Hill 2005: 394–398], оджибве (алгонкинский, Канада) [Holmer 1953: 35, 46], сенека (ирокезский, США и Канада) [Holmer 1954: 34], тепеуа (тотонакский, Мексика) [Smythe Kung 2007: 516], тесоатланский миштекский (отомангский, Мексика) [Williams 2007: 56, 189], чималапа сокский (михе-сокский, Мексика) [Johnson 2000: 149, 333, 337], яки (юто-ацтекский, США и Мексика) [Johnson 1962: 23].

Океания: ниуэ [Полинская 1995: 51], чаморро [Topping 1973: 268–269; Topping и др. 1975: 153].

Кроме того в выборку вошли языки, в которых ОМ нет: 19 африканских (багирми, валанги, даза, диола-фоньи, дуала, итон, канури, кронго, лаади, мади, марокканский берберский, логба, масаи, момбо догон, мунданг, мусгу, нкоре-кига, санго), 1 австралийский (мартутуньира), 4 папуасских (абуи, дага, менья, фуюг), 4 австронезийских (биак, кокота, тувалу, чам), 3 североамериканских (ваппо, восточный помо, чероки), 6 южноамериканских (вари, имбабура кечуа, кваза, пуинаве, уп, хакару), 9 юго-восточноазиатских (бета курумба, бирманский, вьетнамский, кианг, китайский, кулунг, кусунда, кхмерский, тайский), 7 юго-западноазиатских языков (библейский иврит, брагуи, бурушаски, ваханский, кати, турецкий, фарси), 9 языков Северной Евразии (без Западной Европы) (айнский, корейский, нганасанский, нивхский, эвенкийский, эрзя мордовский, тундренный юкагирский, японский), и 3 западноевропейских языка (баскский, ирландский, финский).

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Абаев 1949 – *В.И. Абаев*. Осетинский язык и фольклор. М.; Л., 1949.

Абаев 1958–1989 – *В.И. Абаев*. Историко-этимологический словарь осетинского языка. Л., 1958–1989.

[41] При этом в древневаллийском *neb* и *dim*, в современном языке означающие, соответственно, 'никто' и 'ничего', еще могли использоваться и в неотрицательных контекстах [Jones 1970: 312–313].

[42] Там они употребляются наряду с вопросительными словами (Н.Б. Вахтин, л. с.).

Абаев 1965 – *В.И. Абаев*. Скифо-европейские изоглоссы. М., 1965.
Абаев 1970 – *В.И. Абаев*. Краткий грамматический очерк осетинского языка // Б.Б. Бигулаев и др. (сост.). Осетинско-русский словарь. Орджоникидзе, 1970.
Абаев 1978 – *В.И. Абаев*. Armeno-Ossetica (Типологические встречи) // ВЯ. 1978. № 6.
Абаев 1995 – *В.И. Абаев*. Историко-этимологический словарь осетинского языка. Указатель. М., 1995.
Алемань 2003 – *А. Алемань*. Аланы в древних и средневековых письменных источниках. М., 2003.
Андреев 1957 – *Н.А. Андреев*. Местоимения // Материалы по грамматике современного чувашского языка. Чебоксары, 1957.
Андроникашвили 1966 – *М.К. Андроникашвили*. Очерки по ирано-грузинским языковым взаимоотношениям. Тбилиси, 1966.
Ахвледиани 1960 – *Г.С. Ахвледиани*. Сборник избранных работ по осетинскому языку. Кн. 1. Тбилиси, 1960.
Бекоев 1985 – *Д.И. Бекоев*. Иронский диалект осетинского языка. Цхинвали, 1985.
Булатова 1999 – *Н.Я. Булатова*. Язык сахалинских эвенков. СПб., 1999.
Вентцель 1964 – *Т.В. Вентцель*. Цыганский язык. М., 1964.
Волк, Эршлер 2007 – *В.С. Волк, Д.А. Эршлер*. Что когда куда движется в осетинском языке? // Д.В. Герасимов, С.С. Сай, Д.Ю. Дмитренко (ред.). Четвертая конференция по типологии и грамматике для молодых исследователей. Материалы. СПб., 2007.
Володин 1976 – *А.П. Володин*. Ительменский язык. Л., 1976.
Грюнберг 1972 – *А.Л. Грюнберг*. Мунджанский язык. М., 1972.
Грюнберг, Стеблин-Каменский 1976 – *А.Л. Грюнберг, И.М. Стеблин-Каменский*. Ваханский язык. М., 1976.
Дешериев 1953 – *Ю.Д. Дешериев*. Бацбийский язык. М., 1953.
Дульзон 1968 – *А.П. Дульзон*. Кетский язык. Томск, 1968.
Ефимов 1986 – *В.А. Ефимов*. Язык ормури (в синхронном и историческом освещении). М., 1986.
Жирков 1955 – *Л.И. Жирков*. Лакский язык. Фонетика и морфология. М., 1955.
Жукова 1980 – *А.Н. Жукова*. Язык паланских коряков. Л., 1980.
Зайцева 1981 – *М.И. Зайцева*. Грамматика вепсского языка. Фонетика и морфология. Л., 1981.
Зализняк 2004 – *А.А. Зализняк*. Древненовгородский диалект. М., 2004.
Имнайшвили 1953 – *Д.С. Имнайшвили*. Отрицательные местоимения и наречия в иберийско-кавказских языках // Иберийско-кавказское языкознание. Т. 4. Тбилиси, 1953.
Имнайшвили 1963 – *Д.С. Имнайшвили*. Дидойский язык. Тбилиси, 1963.
Исаев 1966 – *М.И. Исаев*. Дигорский диалект осетинского языка. М., 1966.
Камболов 2006 – *Т.Т. Камболов*. Очерк истории осетинского языка. Владикавказ, 2006.
Капитонов 2008 – *И.С. Капитонов*. Неопределенные местоимения адыгейского языка // Полевые исследования студентов РГГУ: этнология, фольклористика, лингвистика, религиоведение. Вып. III. М., 2008.
Керт 1971 – *Г.М. Керт*. Саамский язык (кильдинский диалект). Фонетика. Морфология. Синтаксис. Л., 1971.
Кибрик и др. 1972 – *А.Е. Кибрик, С.В. Кодзасов, И.П. Оловянникова*. Фрагменты грамматики хиналугского языка. М., 1972.
Кибрик 2001 – *А.Е. Кибрик* (ред.). Багвалинский язык. Грамматика, тексты, словари. М., 2001.
Кипшидзе 1914 – *И. Кипшидзе*. Грамматика мингрельскаго (иверскаго) языка. СПб., 1914.
Климов 1986 – *Г.А. Климов*. Введение в кавказское языкознание. М., 1986.
Кононов 1956 – *А.Н. Кононов*. Грамматика современного турецкого литературного языка. М.; Л., 1956.
Кудзоева 2003 – *А.Ф. Кудзоева*. Порядок слов и актуальное членение в осетинском языке. Владикавказ, 2003.
Кузнецова и др. 1980 – *А.И. Кузнецова, Е.А. Хелимский, Е.В. Грушина*. Очерки по селькупскому языку. М., 1980.
Курбанов 1976 – *Х. Курбанов*. Рошорвский язык. Душанбе, 1976.
Курдоев 1978 – *К.К. Курдоев*. Сравнительная грамматика курдского языка (на материале диалектов курманджи и сорани). М., 1978.
Майтинская 1969 – *К.Е. Майтинская*. Местоимения в языках разных систем. М., 1969.
Меновщиков 1962 – *Г.А. Меновщиков*. Грамматика языка азиатских эскимосов. Ч. 1. М.; Л., 1962.

Панфилов 1962 – *В.З. Панфилов*. Грамматика нивхского языка. Ч. 1. Фонетическое введение и морфология именных частей речи. М.; Л., 1962.
Паперно 2006 – *Д.А. Паперно*. Базовый синтаксис языка бен (семья манде). Дипломная работа МГУ. М., 2006.
Пенгитов 1961 – *Н.Т. Пенгитов* (ред.). Современный марийский язык. Морфология. Йошкар-Ола, 1961.
Перевощиков 1962 – *П.Н. Перевощиков* (ред.). Грамматика современного удмуртского языка. Фонетика и морфология. Ижевск, 1962.
Покровская 1964 – *Л.А. Покровская*. Грамматика гагаузского языка. Фонетика и морфология. М., 1964.
Полинская 1995 – *М.С. Полинская*. Язык ниуэ. М., 1995.
Рогава, Керашева 1966 – *Г.В. Рогава, З.И. Керашева*. Грамматика адыгейского языка. Майкоп; Краснодар, 1966.
Ромбандеева 1995 – *Е.И. Ромбандеева*. Сыгвинский диалект мансийского (вогульского) языка. Hamburg, 1995.
Ростовцев-Попель 2006 – *А.А. Ростовцев-Попель*. Мегрельский язык: 130 лет изменений. Дипломная работа СПбГУ. СПб., 2006.
Рубинчик 2001 – *Ю.А. Рубинчик*. Грамматика современного персидского литературного языка. М., 2001.
Стеблин-Каменский 1957 – *М.И. Стеблин-Каменский*. Грамматика норвежского языка. М.; Л., 1957.
Тедеева 1985 – *О.Г. Тедеева*. Язык первых осетинских рукописей. Тбилиси, 1985.
Тенишев 1976 – *Э.Р. Тенишев*. Строй саларского языка. М., 1976.
Тестелец 2001 – *Я.Г. Тестелец*. Введение в общий синтаксис. М., 2001.
Файзов 1966 – *М. Файзов*. Язык рушанцев Советского Памира. Душанбе, 1966.
Эдельман 1966 – *Дж.И. Эдельман*. Язгулямский язык. М., 1966.
Bakker 2006 – *P. Bakker*. The Sri Lanka sprachbund: the newcomers Portuguese and Malay // Y. Matras, A. McMahon, N. Vincent (eds.). Linguistic areas. Convergence in historical and typological perspective. Houndmill; Basingstoke, 2006.
Badia Margarit 1962 – *A.M. Badia Margarit*. Gramatica catalana. Madrid, 1962.
Barker 1964 – *M.A.R. Barker*. Klamath grammar. Berkeley, 1964.
Bielmeier 1977 – *R. Bielmeier*. Historische Untersuchung zum Erb- und Lehnwortschatzanteil im ossetischen Grundwortschatz. Frankfurt am Main; Bern; Las Vegas, 1977.
Boeder 2005 – *W. Boeder*. The South Caucasian languages // Lingua. 2005. 115.
Borsley и др. 2007 – *R.D. Borsley, M. Tallerman, D. Willis*. The syntax of Welsh. Cambridge, 2007.
Buchholz, Fiedler 1987 – *O. Buchholz, W. Fiedler*. Albanische Grammatik. Leipzig, 1987.
Calero Carballo 1966 – *R. Calero Carballo*. Gramática elemental del gallego común. Vigo, 1966.
Capell, Hinch 1970 – *A. Capell, H.E. Hinch*. Maung grammar. Texts and vocabulary. The Hague; Paris, 1970.
Chirikba 2003 – *V.A. Chirikba*. Abkhaz. München, 2003.
Cole 1985 – *P. Cole*. Imbabura Quechua. London, 1985.
Cumberland 2005 – *L.A. Cumberland*. A grammar of Assiniboine, a Siouan language of the Northern Plains. Indiana University, 2005.
Dahl 1979 – *Ö. Dahl*. Typology of sentence negation // Linguistics 17. 1979.
Delbrück 1897 – *B. Delbrück*. Vergleichende Syntax der indogermanishen Sprachen. Zweiter Teil. Strassburg, 1897.
Donaldson 1980 – *T. Donaldson*. Ngiyambaa: The language of Wangaaybuwan. Cambridge, 1980.
Donaldson 1993 – *T. Donaldson*. A grammar of Afrikaans. Berlin, 1993.
Dryer 1988 – *M.S. Dryer*. Universals of negative position // M. Hammond, E. Moravcsik, J. Wirth (eds.). Studies in syntactic typology. Amsterdam, 1988.
Edmonson 1987 – *B. Edmonson*. Huastec pronouns // Anthropological linguistics. 1987. 29.
Endzelin 1922 – *J. Endzelin*. Lettische Grammatik. Riga, 1922.
Erschler 2008 – *D. Erschler*. On wh-question formation in Iron Ossetic: a case for areal influence. Доклад на конференции Syntax of the world's languages III. Berlin, 2008.
Erschler 2009 – *D. Erschler*. Possession marking in Ossetic: arguing for Caucasian influences // Linguistic typology. 2009. 13.
Gaby 2006 – *A.R. Gaby*. A Grammar of Kuuk Thaayorre. PhD thesis. Department of linguistics and applied linguistics, University of Melbourne. Melbourne, 2006.

Giannakidou 2000 – *A. Giannakidou*. Negative ... concord? // Natural language and linguistic theory. 2000. 18.
Harris 1984 – *A.C. Harris*. Georgian // W.S. Chisholm (ed.). Interrogativity: A colloquium on the grammar, typology and pragmatics of questions in seven diverse languages. Philadelphia (Pe), 1984.
Haspelmath 1997 – *M. Haspelmath*. Indefinite ponouns. Oxford, 1997.
Haspelmath 2008 – *M. Haspelmath*. Negative indefinite pronouns and predicate negation // M. Haspelmath, M.S. Dryer, D. Gil, B. Comrie, (eds.). The world atlas of language structures online. Munich, 2008 (http://wals.info/feature/115).
Heine, Kuteva 2005 – *B. Heine, T. Kuteva*. Language contact and grammatical change. Cambridge, 2005.
Hill 2005 – *J.H. Hill*. A Grammar of Cupeño. Berkeley (CA), 2005.
Holmer 1953 – *N.M. Holmer*. The Ojibway on Walpole Island, Ontario. A linguistic study // Uppsala Canadian studies. 4. Uppsala, 1953.
Holmer 1954 – *N.M. Holmer*. The Seneca language // Uppsala Canadian studies. 3. Uppsala, 1954.
Horn 2001 – *L.R. Horn*. A natural history of negation. 2nd ed. Stanford (CA), 2001.
Ikoro 1996 – *S.M. Ikoro*. The Kana language. Leiden, 1996.
Johnson 1962 – *J.B. Johnson*. El idioma yaqui. Mexico, 1962.
Johnson 2000 – *H.A. Johnson*. A grammar of San Miguel Chimalapa Zoque. Austin, 2000.
Jones 1970 – *J.M. Jones*. A Welsh grammar historical and comparative. Oxford, 1970.
Kahrel 1996 – *P.J. Kahrel*. Aspects of negation. Amsterdam, 1996.
Kent 1953 – *R.G. Kent*. Old Persian. New Haven (Connecticut), 1953.
King 1996 – *T.H. King*. Licensing negative pronominals in Georgian // Proceedings of the Berkeley Linguistic Society. 22. 1996.
Kutscher и др. 1995 – *S. Kutscher, J. Mattissen, A. Wodarg* (eds.). Das Mutafi-Lazische // Arbeitspapier nr. 24 (neue Folge), Institut für Sprachwissenschaft. Universität zu Köln. Köln, 1995.
Laka 1990 – *E. Laka*. Negation in syntax: on the nature of functional categories and projections. MIT PhD thesis. Cambridge (MA), 1990.
Lockwood 1964 – *W.B. Lockwood*. Introduction to Modern Faroese. Copenhagen, 1964.
MacKenzie 1961 – *D.N. MacKenzie*. Kurdish dialect studies. I. London, 1961.
Maslova 2003 – *E. Maslova*. A Grammar of Kolyma Yukaghir. Berlin; New York, 2003.
Mateus и др. 1989 – *M.H.M. Mateus, A.M. Brito, I. Duarte, I.H. Faria*. Gramática da língua portuguesa. Lisboa, 1989.
Matras 2004 – *Y. Matras*. Romani. A linguistic introduction. Cambridge, 2004.
Merlan 1982 – *F. Merlan*. Mangarayi // Lingua descriptive series. 4. Amsterdam, 1982.
Miestamo 2005 – *M. Miestamo*. Standard negation: The negation of declarative verbal main clauses in a typological perspective. Berlin; New York, 2005.
Moorehouse 1959 – *A.C. Moorehouse*. Studies in Greek negatives. Cardiff, 1959.
Nedjalkov 1997 – *I. Nedjalkov*. Evenki. London; New York, 1997.
Nichols 1994a – *J. Nichols*. Ingush // R. Smeets (ed.). The Indigenous languages of the Caucasus. V. 4: The Northeast Caucasian languages. Pt 2. Delmar (NY), 1994.
Nichols 1994b – *J. Nichols*. Chechen // R. Smeets (ed.). The Indigenous languages of the Caucasus. V. 4: The Northeast Caucasian languages. Pt 2. Delmar (NY), 1994.
Osborne 1974 – *C.R. Osborne*. The Tiwi language. Canberra, 1974.
Palmaitis, Gudjedjiani 1986 – *M.L. Palmaitis, Ch. Gudjedjiani*. Upper Svan: Grammar and texts. Vilnius, 1986.
Pensalfini 1997 – *R. Pensalfini*. Jingulu grammar, dictionary, and texts. PhD Dissertation, MIT. Cambridge (MA), 1997.
Pittau 1972 – *M. Pittau*. Grammatica del Sardo nuorese. Bologna, 1972.
Pop 1948 – *S. Pop*. Grammaire Roumaine. Berne, 1948.
Reichelt 1909 – *H. Reichelt*. Awestisches Elementarbuch. Heidelberg, 1909.
Rounds 2001 – *C. Rounds*. Hungarian: An essential grammar. London; New York, 2001.
Schanidse 1982 – *A. Schanidse*. Grammatik der altgeorgischen Sprache. Tbilissi, 1982.
Sims-Williams 1985 – *N. Sims-Williams*. Sogdian manuscript C2. Berlin, 1985.
Sims-Williams 1986 – *N. Sims-Williams*. Sogdian "δprm and its cognates // R. Schmitt, P.O. Skjærvø (eds.). Studia grammatica iranica, Festschrift für Helmut Humbach. München, 1986.
Smythe Kung 2007 – *S. Smythe Kung*. A descriptive grammar of Huehuetla Tepehua. Austin, 2007.
Sumbatova, Mutalov 2003 – *N.R. Sumbatova, R.O. Mutalov*. A grammar of Icari Dargwa. Munich; Newcastle, 2003.

Sundermann 1985 – *W. Sundermann*. Ein manichäisch-sogdisches Parabelbuch. Berlin, 1985.
Tegey, Robson 1996 – *H. Tegey, B. Robson*. A reference grammar of Pashto. Washington, DC, 1996.
Testelec 1998 – *Y. Testelec*. Word order in Kartvelian languages // A. Siewerska (ed.). Constituent order in the languages of Europe: EUROTYP. Bd. 20–1. Berlin, 1998.
Thráinsson 2007 – *H. Thráinsson*. The syntax of Icelandic. Cambridge, 2007.
Topping 1973 – *D.M. Topping* (with the assistance of B.C. Dungca). Chamorro reference grammar. Honolulu, 1973.
Topping и др. 1975 – *D.M. Topping, P.M. Ogo, B.C. Dungca*. Chamorro-English dictionary. Honolulu, 1975.
Tuite 1997 – *K. Tuite*. Svan. München, 1997.
Vajda 2004 – *E.J. Vajda*. Ket. München, 2004.
Vogt 1945 – *H. Vogt*. Substrat et convergence dans l'évolution linguistique. Remarques sur l'évolution et la structure de l'armenien, du géorgien, de l'osséte et du turc // Studia Septentrionalia. II. Oslo, 1945.
Vogt 1971 – *H. Vogt*. Grammaire de la langue géorgienne. Oslo, 1971.
Williams 2007 – *J.F. de Williams*. Gramática popular del mixteco del municipio de Tezoatlán, San Andrés Yutatío, Oaxaca. Tlalpan (D.F.), 2007.
Wolgemuth 2002 – *C. Wolgemuth*. Gramática náhuatl (mela'tájtol) de los municipios de Mecayapan y Tatahuicapan de Juárez, Veracruz. Coyoacán (D.F.), 2002.
Zeijlstra 2004 – *H. Zeijlstra*. Sentential negation and negative concord. Utrecht, 2004.

## УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

1, 2, 3 – лицо
5 – номер согласовательного класса
ABL – аблатив
ACC – аккузатив
ACT – активный залог
ALL – аллатив
AOR – аорист
AUGM – аугмент
AUX – вспомогательный глагол
CL – согласовательный класс
COMP – сравнительная степень
CONTR – контрастивный топик
DAT – датив
DEF – показатель определенности
DIR – директив
EMPH – эмфаза
EQ – экватив (уподобительный падеж)
FUT – будущее время
GEN – генитив
HAB – хабитуалис
IDF – неопределенный
IMP – императив
INESS – инессив
INF – инфинитив
IPF – имперфект
LOC – локатив
MED – медий
N – средний род
NEG – отрицание
NH – неодушевленный
NOM – номинатив
OBL – обликвус
OPT – оптатив
PERF – перфект
PL – множественное число
PREP – предлог
PREV – преверб
PRS – настоящее время
PST – прошедшее время
SG – единственное число
SUBJ – сослагательное наклонение
TR – переходное спряжение
подр. – подразумеваемое значение неграмматичного примера

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 2010

*КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ*

*ОБЗОРЫ*

© 2010 г. В.Б. ГУЛИДА, Н.Б. ВАХТИН

# ПЕТЕРБУРГСКАЯ СОЦИОЛИНГВИСТИКА: ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ РАЗВИТИЯ

В обзоре критически рассмотрены основные положения петербургской социолингвистики в историческом освещении.

Как известно, социолингвистика рождалась дважды. Первое ее рождение произошло в России в первое десятилетие после революции 1917 года, когда плеяда блестящих ученых: Б.А. Ларин, Л.П. Якубинский, А.М. Селищев, Е.Д. Поливанов, В.М. Жирмунский – реагируя на постреволюционные изменения в языковой ситуации больших городов и судьбе русского литературного языка и отвечая на требование момента в лингвистическом обеспечении малых бесписьменных языков, начали создавать социально ориентированную лингвистику. Их исследования во многом базировались на идеях И.А. Бодуэна де Куртене, прямыми учениками которого некоторые из них были. Второй раз эта наука родилась в США в начале 1960-х годов, где она получила стимул к развитию в результате одновременного действия трех факторов: взрывного роста этнического самосознания черного населения; неудач американской системы образования, которая оказалась неспособной адекватно ответить на вопрос о причинах низкой успеваемости афро-американцев, и как реакция на принципиальную асоциальность и «техницизм» хомскианской лингвистики.

Сочетание «петербургская социолингвистика» звучит для нас сегодня странно. Действительно, эта область языкознания в Ленинграде-Петербурге после 1920-х годов практически не развивалась. Из работ «советского периода» можно, наверное, назвать только статьи по изучению языка города Б.А. Ларина [Ларин 1928; 1931] и отчасти исследования В.М. Жирмунского (см., например [Жирмунский 1968]), который, занимаясь немецкими диалектами на территории СССР, не мог не обратить внимание на социолингвистические аспекты темы. Его последователем считал себя А.И. Домашнев, много писавший о вариантах немецкого языка в Европе (см., например [Домашнев 2003]); соавторами и учениками последнего были С.В. Смирницкая, Л.Э. Найдич, Л.Б. Копчук и другие. С оговорками сюда же можно отнести работы В.А. Аврорина [Аврорин 1975], который, впрочем, главный свой социолингвистический проект осуществил, работая в Новосибирске [Вахтин 2001: 89–93].

Возрождение социолингвистики (и лингвистики в целом) в нашей стране после 25 лет безраздельного господства марризма началось с конца 1950-х годов не в Ленинграде, а в Москве. В 1960-е годы работы М.В. Панова и его группы, в 1970-е – Л.П. Крысина и его группы, в 1980–1990-е – исследования М.В. Дьячкова, В.И. Беликова, О.А. Казакевич и других во многом определили облик этой науки в России. В 1960–70-е годы именно здесь

были написаны «главные книги» по социолингвистике[1] (хотя некоторые из них и печатались в Ленинграде). Сегодня эту традицию продолжает отдел социолингвистики Института языкознания РАН, которым в течение многих лет руководит В.Ю. Михальченко.

Можно было бы много говорить о судьбах московской социолингвистики в 1990-е годы и позже, однако тема нашего обзора другая – что происходило в этой области в последние два десятилетия в Петербурге и что происходит здесь сегодня?[2]

## 1. ИНСТИТУЦИАЛИЗАЦИЯ СОЦИОЛИНГВИСТИКИ

Насколько нам известно, самыми ранними из новых работ по социолингвистике стала серия публикаций группы сотрудников петербургского Института лингвистических исследований РАН (тогда – Ленинградского отделения Института языкознания). Эти работы были своего рода побочным продуктом полевых экспедиций по описанию грамматики и лексики языков народов Севера: параллельно со сбором лингвистического материала лингвисты собирали и социолингвистические данные. Задачей проекта было исследование языковой ситуации в районах Крайнего Севера с преимущественным вниманием к степени владения титульными языками. Для сбора данных была разработана специальная методика, основанная на принципе экспертной оценки. Было обследовано 13 поселков в разных регионах Крайнего Севера, в которых в двуязычных или многоязычных коллективах совместно с приезжим русскоязычным населением проживают алеуты, ительмены, коряки, ненцы, нивхи, удэгейцы, чукчи, эвены, эскимосы, юкагиры и якуты. Основная часть данных была собрана с 1984 по 1987 год[3].

Это исследование наглядно продемонстрировало два факта: во-первых, что наши знания даже о такой сравнительно узкой области, как языковая ситуация в районах Крайнего Севера, абсолютно недостаточны; во-вторых, что совершенно недостаточна вузовская подготовка в области социолингвистики. В ходе этого исследования, проводившегося с большим увлечением, на голом энтузиазме и с попутным изобретением многочисленных деревянных велосипедов, его участникам стало ясно, что систематических знаний по социолингвистике им категорически не хватает.

Поэтому с появлением в 1996 году в Петербурге Европейского университета двое участников проекта, Е.В. Головко и Н.Б. Вахтин, начали читать там курс по социолингвистике. Первые два-три года курс читался исключительно по западным учебникам, прежде всего по превосходному, выдержавшему десяток переизданий двухтомнику Р. Фейзолда [Fasold 1984; 1990], кембриджскому учебнику Р. Хадсона, также переиздававшемуся раз десять между 1980 и 1990 годами [Hudson 1980], и некоторым другим.

Курс менялся, совершенствовался, и постепенно авторам его стало ясно, что пора писать собственный учебник – см. [Вахтин, Головко 2004]. (Впрочем, первый современный учебник по социолингвистике вышел все-таки в Москве [Беликов, Крысин 2001].) На момент издания учебник Н.Б. Вахтина и Е.В. Головко довольно точно соответствовал курсу, который они же читали на факультете этнологии Европейского университета; за прошедшие с тех пор пять лет курс существенно видоизменился, разделился на несколько частей, и на повестке дня теперь стоит вопрос о новом издании учебника.

---

[1] «Главные книги» у каждого, естественно, свои: если говорить о социолингвистической литературе по-русски 1960–70-х годов, то для авторов данного обзора это прежде всего: [РЯ 1968; 1974; Швейцер 1971; Розенцвейг 1972; НЛ 1972; 1975; СП 1975; СЛИ 1976; Никольский 1976; Крысин 1977; Швейцер, Никольский 1978] и некоторые другие.

[2] Авторы признательны К.С. Федоровой за внимательное прочтение первого варианта этого обзора и высказанные ценные замечания.

[3] Подробное изложение результатов этой работы, а также все библиографические ссылки на публикации участников проекта см. в книге: [Вахтин 2001], а также в более ранней статье [Вахтин 1992].

В настоящее время в Европейском университете социолингвистика читается систематически: единый курс разделен на несколько более узких авторских курсов: «Введение в социолингвистику» и «Макросоциолингвистика» (Н.Б. Вахтин и К.С. Федорова), «Вариационная социолингвистика» (К.С. Федорова), «Лингвистическая антропология» и «Язык и власть» (Е.В. Головко), «Язык и этничность» (Е.В. Головко и С.А. Штырков).

Несколько позже регулярное преподавание социолингвистики было введено на кафедре общего языкознания факультета филологии и искусств СПбГУ в качестве третьей (в дополнение к структурной лингвистике и психолингвистике) части базового курса для студентов отделения теории языка. Помимо регулярного курса (В.Б. Гулида), ориентированного на разъяснение различий в подходах, методах и концептуализации материала в социо- и структурной лингвистике и по необходимости ограниченного макросоциолингвистической и вариационной проблематикой, студентам отделения читается курс этнолингвистики (Е.В. Перехвальская), спецкурсы по теории языковых контактов (А.Ю. Русаков), методам социолингвистических полевых исследований (Н.Б. Вахтин), норме и узусу (Ф.А. Елоева) и др. С переходом отделения на двухступенчатую систему образования специальная часть социолингвистики перемещается в программу магистратуры с естественным для такого шага расширением и углублением указанных дисциплин, а также введением нескольких новых: статистика (Т.И. Свистунова), социолингвистические модели речевого поведения (В.Б. Гулида), спецкурсы «Язык и идеология» и «Отношение к языку» (Е.В. Головко), спецкурс «Язык и культура» (Е.В. Перехвальская) и другие. С 2003 года появляется спрос на регулярные курсы социолингвистики и для других университетских подразделений (Восточный факультет, Отделение межкультурной коммуникации, Специализация по речевым технологиям, курсы для слушателей ФПК). На магистерскую программу по социолингвистике приходят русисты, выпускники славянского и угро-финского отделений, приезжают бакалавры из других российских городов.

Начинают выходить обзоры западных исследований по социолингвистике, например, подробный обзор двухтомной антологии под ред. Н. Купланда и А. Яворски (1997, второй том – 1999), которая используется как базовый материал для курсов социолингвистики во многих британских университетах; см. [Гулида 2000; 2007; Gulida 2006; 2010].

Важную роль в популяризации социолингвистики сыграл общегородской семинар, организованный совместными усилиями Европейского университета и кафедры теории языка филфака СПбГУ. Семинар работает с 2001 года, на нем выступают как известные специалисты, так и молодые исследователи. Последнее важно: семинар дает возможность аспирантам, работающим над диссертациями, обсудить в неформальной и заинтересованной аудитории свои исследования, представить части работы, выслушать критику и советы.

Значимым этапом становления и популяризации социолингвистики стали две Летние школы, проведенные Европейским университетом в 2006 и 2007 году (грант фонда Оксфорд-Россия). Популярность идеи превзошла все ожидания: на 20 вакансий первой Школы организаторы получили 176 (!) заявлений от молодых филологов со всей страны. В результате для обучения были отобраны 22 человека – молодые преподаватели вузов из Читы, Петрозаводска, Саратова, Ставрополя, Томска, Москвы, Кирова, Екатеринбурга, Перми, а также из двух университетов Украины и двух – Эстонии.

Преподавателями на этих Школах были В.М. Алпатов (Москва), Бенедикт Андерсен и Лесли Милрой (Великобритания), Дитер Штерн (Германия), Анна Вершик и Март Раннут (Эстония), а также петербургские специалисты В.Б. Гулида, Е.В. Перехвальская, К.С. Федорова, И.В. Утехин, Е.В. Головко и Н.Б. Вахтин. Важным компонентом обеих Школ стали презентации конкретных исследований аспирантов Европейского университета и кафедры теории языка СПбГУ (В. Баранова, Н. Бичурина, Т. Гаврилова, Н. Галеткина, И. Лисковец, М. Маршак, Е. Панова), как завершенных, так и находящих-

ся в процессе работы: для молодых лингвистов со всей страны было полезно познакомиться с методикой и теоретической базой современной социолингвистики не только через лекции, но и на практических примерах недавно завершенных или находящихся в процессе работ. На второй Школе участники представили и обсудили уже собственные исследовательские проекты, а также социолингвистические курсы, которые они подготовили для студентов своих вузов.

Таким образом, можно сказать, что за прошедшие 10–15 лет в Петербурге произошло некоторое институциональное укрепление социолингвистики: она вошла в учебные программы многих вузов как отдельный предмет и начинает привлекать молодежь.

## 2. ТЕМАТИКА ИССЛЕДОВАНИЙ

Укорененность социолингвистики в социальных проблемах своего времени – родовая черта этого направления науки, которая была характерна и для ранних российских исследований 1920-х годов, и для американских работ 1960-х. Тематика социолингвистических исследований в Петербурге, довольно разнообразная, также в значительной степени определяется реакцией на актуальные жизненные сюжеты. Кроме того, эта область лингвистики, как и любая наука, стимулируется внутренней логикой развития, которая для социолингвистики, в частности, имеет вид множественного тестирования принципиальных (иногда объявленных универсальными) моделей сопряжения социальных факторов и языковых рефлексов.

С точки зрения формата исследований, их тематики, методов и теоретических подходов петербургская социолингвистика в значительной степени старается сегодня ориентироваться на стандарты, принятые в мировой науке. Среди работ современных петербургских социолингвистов, среди защищаемых здесь магистерских и кандидатских диссертаций мы находим такие темы, как языковой сдвиг и креолистика, отношение к языку и этноязыковые стереотипы, (само)идентификация через язык, билингвизм и переключение кодов, языковая ситуация в новых государствах постсоветского пространства, вариационная модель языковых изменений, социальные варианты языка и языковые регистры, а также социолингвистика речевого поведения.

Нужно отметить, что, поскольку эти области исследований в Петербурге (и в России в целом) довольно молодые, значительная доля работ, упоминаемых ниже – это студенческие и аспирантские исследования, магистерские и кандидатские диссертации; мы пока не можем похвастаться большим количеством серьезных монографий, однако большой интерес молодых исследователей к этой проблематике дает основания для оптимистических прогнозов в отношении развития социолингвистики в ближайшие десятилетия.

Рассмотрим эти сюжеты последовательно[4].

### ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ В ГОСУДАРСТВАХ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА

В 1990-х годах во всех странах бывшего СССР произошли значимые изменения языковой ситуации: титульные языки бывших республик обрели статус и функции национальных (государственных, официальных) языков (в Российской Федерации аналогичный процесс – на следующем уровне – проходил в некоторых субъектах федерации). Соответственно, сферы функционирования русского языка в новых госу-

[4] Данный обзор по необходимости представляет собой «моментальную фотографию» непрерывного процесса и тем самым неизбежно неполон: авторы приняли решение не упоминать многочисленные и часто очень интересные исследования, которые пока что не завершены, несмотря на то, что к моменту выхода этой публикации в свет ситуация неизбежно изменится. Единственное исключение сделано для книги [Федорова (ред.), в печати].

дарствах были существенно сужены – прежде всего в административной, судебной, общественно-политической областях, в государственно регулируемой части культурной жизни, а также в образовании, определяющем судьбу нетитульного языка. Эти перемены – закономерный процесс, но столь же закономерны негативные реакции русскоязычного населения этих стран, получившего статус языкового меньшинства во всех странах, кроме Белоруссии.

Объективный и взвешенный анализ языковой ситуации, научная обоснованность языкового законодательства и соответствие его европейским стандартам в отношении прав миноритарных языков были и остаются актуальными для большинства постсоветских стран. Можно только согласиться с украинским коллегой Т. Кияком [Кіяк 2004], когда он сетует на невостребованность профессионального экспертного мнения теми, кто определяет языковую политику страны[5].

Как показывают исследования текущей языковой ситуации и мотивации речевого поведения в Киеве и Харькове, Киевской и Харьковской областях [Вахтин, Жиронкина, Романова 2006; Жиронкина 2007], отношение к украинскому языку изменяется в положительную сторону, но присутствует и разрыв между языковыми установками и речевой практикой, особенно заметный у молодежи: высказываясь за полный переход на украинский язык, молодежь продолжает говорить между собой по-русски. И это понятно: не следует недооценивать силу инерционности языковых привычек. Кроме того, русский язык сохраняет высокий престиж в областях, связанных с культурой, новыми технологиями и всем «модным», что оказывается важным для молодежи.

В Белоруссии, после недолгого периода активного введения белорусского языка во все соответствующие статусу национального языка сферы, а также перевода 75 % школ на белорусский язык, языковая политика в 1994 году развернулась в обратном направлении: русскому был придан статус второго государственного языка. Сегодня столица Белоруссии Минск – преимущественно русскоязычный город, городские и поселковые школы опять стали русскоязычными, и только в трети сельских районов еще учат детей по-белорусски. Исследование, проведенное И.В. Лисковец [Лисковец 2006], показало, что языковой репертуар вариантов в Белоруссии представляет собой континуум, где на крайних точках шкалы находятся русский литературный язык, престижный в обществе в целом, и белорусский язык, престижный для части национально-ориентированной интеллигенции; между ними расположены два лингвистически различимых варианта русского языка с большей или меньшей степенью белорусской интерференции и социально непрестижный смешанный вариант – «трасянка». Эти пять вариантов отчетливо различаются жителями Минска и имеют однозначные характеристики по шкале престижности. См. также [Лисковец 2002].

## ЯЗЫК И (САМО)ИДЕНТИФИКАЦИИ

В 2001 году по инициативе Ф.А. Елоевой и Е.В. Перехвальской для студентов кафедры общего языкознания филологического факультета СПбГУ была организована постоянная экспедиция. Эта экспедиция работает девятый год; из нее понемногу вырастает довольно подробное исследование состояния «малых балканских языков» в Приазовье и Запорожской области на Украине. Еще во времена Екатерины Великой в эти районы были переселены жители части албанских, болгарских, греческих и греко-татарских сел из Крыма и с Балкан. Пока села существовали достаточно изолированно, их жители продолжали говорить на своих родных языках, но с конца

[5] Впрочем, это проблема не только государств «постсоветского пространства»: ср. интересную статью [Laforest 1999], где автор сетует на упорное нежелание канадской широкой публики (в которую несомненно входят и политики) воспринимать рациональные, научные аргументы и доводы, касающиеся языковой ситуации в Квебеке: широкая публика способна воспринимать только эмоциональные аргументы в терминах «хорошо-плохо» или, как формулирует автор, «в рамках дискурса выживания, угрозы, распада и чистоты».

1930-х годов языковая ситуация начала меняться: социально-экономические процессы привели к появлению смешанных сел, а затем и смешанных семей. К середине 1930-х годов изменилась и национальная и языковая политика в отношении малых языков, проводившаяся советским государством в первое послереволюционное десятилетие. Многие села пошли по пути языкового сдвига, то есть полной или частичной замены титульного языка на русский, причем с очень большими различиями в скорости продвижения по этому пути. В одних селах на родном языке говорят почти все взрослые и многие дети; в других – дети уже не говорят, и среднее поколение владеет языком лишь пассивно[6].

На этом материале подготовлены две кандидатские диссертации: В.В. Барановой [Баранова 2005] о лингвистических аспектах сравнительной этнической и языковой самоидентификации румеев – грекоязычных греков, и урумов – татароязычных греков, и К.В. Викторовой [Викторова 2006] о языковой ситуации в греческих селах и лингвистических признаках языкового сдвига в румейском языке мариупольских греков. В обеих работах использован, кроме традиционных лингвистических, и метод социолингвистического интервью, что позволило показать неоднозначность и изменчивость категории этнической принадлежности и роль языка как одного из маркеров этничности. См. также [Баранова 2006; Викторова 2007].

На базе этой экспедиции были сделаны интересные студенческие работы: [Бичурина, Романова 2006] об отношении к языку и своей идентичности в албанских селах, [Решетник, Воробьева 2009] – в болгарских. Из трех болгарских сел Запорожской области в одном все перешли на русский язык, а в двух других, напротив, те, кто приезжали в село, сами выучивали болгарский. Замеры пассивной языковой компетенции также выявляют большую вариативность. Нынешнее состояние и перспективы утраты или сохранения этих языков представляет собой тугой узел социолингвистических проблем: последствия советской языковой политики и языковой политики нынешней Украины, этническое и языковое самосознание этих групп, влияние языка «метрополии» – греческого из Греции, албанского из Албании, болгарского из Болгарии, которое стало ощутимым для этих «островных диалектов» в последние 10–15 лет[7].

По материалам девяти экспедиций в области компактного проживания приазовских греков готовится монография, в которую войдут описания лингвистических особенностей островных диалектов балканских языков и анализ социолингвистических ситуаций в этих речевых сообществах.

Изучение «языковых диаспор» не ограничивается Приазовьем и Запорожьем. Интересный совместный проект по исследованию латышской диаспоры в Сибири предприняли отделение балтистики филфака СПбГУ и Латвийский университет [Андронов, Лейкума 2006][8].

За сто лет жизни в Сибири латышские переселенцы пережили и благожелательное отношение властей (в 1920-е годы), и репрессии (в конце 1930-х), и долгий период безразличия. Этнолингвистическая экспедиция 2004 года в Красноярский край положила начало целенаправленному лингвистическому и этнографическому исследованию латышского и латгальского языков и продолжалась три года. Как показали эти исследования, жители деревень и хуторов, выросших на месте освоенных латышскими крестьянами участков земли, которые правительство выделяло им в конце XIX века, еще сохраняют родной язык и фольклор, хотя ситуация в целом может быть описана в рамках теории языкового сдвига. В селе Нижняя Буланка (одном из нескольких, где

---

[6] Разработка проблематики языкового сдвига в Петербурге началась не в последнюю очередь под влиянием книги Н.Б. Вахтина [Вахтин 2001]; эту книгу студенты и аспиранты, выезжающие на полевую работу, используют как пособие. Еще одним исследованием, подтолкнувшим исследования в этом направлении, может считаться опубликованный в 2007 году сборник [ЯИ 2007], целиком посвященный теории и практике описания процессов, происходящих в языке в условиях языковой аттриции – постепенного забвения языка его носителями.

[7] См. подробнее: http://www.genling.nw.ru/Ethnolin/ethnosite/situation.htm

[8] См. также www.genling.nw.ru/baltist/balticru.htm

работал отряд под руководством А.В. Андронова), сотню лет назад еще зажиточном, с населением в тысячу человек, сейчас осталось 100 жителей, продолжающих общаться в быту по-латышски.

Настоящее открытие выпало на долю отряда под руководством проф. Л. Лейкума (Латвийский университет), обнаружившего в Красноярском крае латгальские поселения, о которых ничего не было известно ни в Латвии, ни где-либо еще. Выяснилось, что до сих пор сохраняются деревни, где население прекрасно говорит на латгальском, причем региональные особенности диалектов метрополии, к которым восходят нынешние латгальские идиомы, легко опознаются на слух. С Латвией в этих селах связь давно утрачена: сибирские латгальцы считают свой идиом самостоятельным языком, но ничего не знают о своих корнях.

Языковое, этническое и культурное (само)определение сообществ со сложной историей является интересным полем для исследования в современном мире, в котором повсеместно растет сложность самоидентификации человека. Одному из таких сообществ посвящена книга [Вахтин, Головко, Швайцер 2004] – исследование истории и самосознания потомков русских переселенцев, осевших в северо-восточной Сибири в XVIII–XIX веках. Из разговоров исследователей со старожилами вырастает картина формирования этнического самосознания у человека, который не имеет четкого знания об этничности, но вынужден «приписать» себя к той или иной этнической группе под влиянием контактов с другими людьми, с властями или просто с разнообразными жизненными обстоятельствами. Методы, которые авторы используют для описания этой проблематики, лежат в русле «социального конструктивизма» – эмпирического (дискурсивного) подхода к исследованию социальной категоризации, принятого сегодня в целом ряде гуманитарных наук. Начинающие исследователи, студенты и аспиранты успешно и увлеченно применяют этот подход к исследованию материала других регионов и других этнических групп.

Впрочем, для того чтобы заниматься исследованиями подобного типа, не обязательно ездить в Приазовье, в Сибирь или на Чукотку: несколько лет назад группа исследователей под руководством Ю.А. Клейнера и Н.Д. Светозаровой [Клейнер, Светозарова 2006] записывали интервью с последними носителями идиша в Петербурге. Этот язык (как и языки сибирских старожилов) сохраняет свою идентификационную функцию, несмотря на почти полную утрату языковой «материи».

## ОТНОШЕНИЕ К ЯЗЫКУ И ЭТНОЯЗЫКОВЫЕ СТЕРЕОТИПЫ

Как всякий большой современный город со всеми его проблемами, культурными и языковыми, Петербург сталкивается с реальностью националистических и ксенофобских взглядов. Одно из самых чувствительных мест проявления ксенофобии по отношению к иноязычным и инокультурным жителям города – школа. Основываясь на современных американских методиках, Е.А. Панова [Панова 2006] изучала отношение петербургских учителей к иноэтничным ученикам, главным образом детям из семей «лиц кавказской национальности». Автору удалось описать – через ситуацию в школьном классе – объективную картину социальных отношений между коренными петербуржцами и приезжими, учителями и детьми, в которой сложным образом переплетаются осознанные отношения, полуосознанные стереотипы и неосознаваемые мотивы поведения. Один из наиболее интересных – и неожиданно оптимистичных – выводов работы состоит в том, что реальное отношение петербургских учителей к конкретному «иноэтничному» ребенку значительно лучше их же стереотипных взглядов на «нерусских». См. также [Панова 2005; 2008; Панова, Федорова 2006].

Еще одна «горячая» тема – отношение общества к английским заимствованиям в русский язык и его жаргонизация. В.Е. Семенов и Е.Е. Юрков [2004] провели опрос на большой выборке респондентов – 1200 студентов, молодых рабочих, журналистов и профессиональных преподавателей со стажем – об оценке ими этих двух явлений.

По результатам опроса все молодые люди, независимо от рода занятий и профессиональной занятости (в отличие от критически настроенного старшего поколения), не выказали особой озабоченности распространением заимствований и жаргонизмов в повседневной речи, но обе возрастные группы совпали в требованиях «соответствующего» языка в устах профессиональных журналистов в публичной речи. Возможно, это свидетельствует о том, что опасения об «обрушении» языковой нормы у молодого поколения преждевременны.

## БИЛИНГВИЗМ И ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КОДОВ

Иностранцы живут в Петербурге годами, выпускают свою газету «St. Petersburg Times» и выучиваются хорошо говорить по-русски. В Петербурге много культурных учреждений и центров, связанных с европейскими представительствами, где часть работающих – иностранцы, а часть – русские, которые свободно владеют тем или иным европейским языком. Это создает прекрасную возможность изучения правил языкового поведения в дву- и многоязычной среде, в том числе – правил переключения кодов. Одно такое исследование было недавно проведено в Alliance Française – учреждении, пропагандирующем французскую культуру и организующем обучение французскому языку [Бичурина 2008]. В таких достаточно замкнутых, иерархически устроенных коллективах с постоянным составом участников возникают свои правила коммуникации, и в частности свои правила переключения кодов с русского на французский и обратно. В полностью двуязычном коллективе выбор того или иного языка становится мощным ресурсом для выражения тонкостей ролевых и межличностных отношений.

## КРЕОЛИСТИКА

Креольских языков и пиджинов на русской основе не так много, и все они активно изучаются в Петербурге. В недавно опубликованной книге Е.В. Перехвальской исследуется вопрос о происхождении китайско-русского пиджина, которым пользовались русские купцы, торговавшие с Китаем в XVIII—XX веках [Перехвальская 2008]. Автор вводит в научный оборот подробное описание дальневосточного варианта сибирского пиджина и, шире, проблематику пиджинов на русской основе, отличающихся от «плантационных» пиджинов (на основе английского, французского, португальского) обстоятельствами возникновения.

Разнообразию лингвистических форм, в которые выливаются языковые контакты, и причудливым вариантам смешения контактирующих языков соответствует сложность субъективной стороны их существования в языковом сознании носителей. Е.В. Головко, автор ряда работ по проблематике смешанных языков [Головко 2001а; 2001б; Golovko 2003], описывает язык медновских алеутов не только с чисто лингвистических, но и с социолингвистических позиций, в частности – как ресурс самоидентификации населения Командорских островов.

Цыганский язык российского Северо-Запада, существующий, как и другие цыганские языки, в контакте с более престижным языком, в нашем случае русским, по мнению А.Ю. Русакова [Русаков 2004], сохраняет свою функциональность именно благодаря подпитке от русского языка, т. е. – парадоксальным образом – находит источник укрепления в том, что является средством его разрушения. Пример цыганского доказывает, что прочная связь самоидентификации с родным языком порождает неожиданные виды языковой устойчивости.

При тех спорах, которые ведутся о путях зарождения пиджинов, напрашивается идея экспериментального моделирования ситуации возникновения пиджина, и одна такая попытка отражена в диссертации О. Клоновой [Клонова 2007] по руссенорску (русско-норвежскому пиджину), существовавшему в XVIII–XIX вв. на русском севере, в районе интенсивной русско-норвежской торговли.

## СОЦИАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ЯЗЫКА

Эта традиционная для социолингвистики тема активно разрабатывалась не только в западной, но и в российской социолингвистике (см. упомянутые выше работы коллективов под руководством М.В. Панова, Л.П. Крысина и др.). Магистерская диссертация Д. Ермолина [Ермолин 2008] продолжает традицию описания профессиональных языков, а именно подъязыка нефтяников-вахтовиков, на материале записей и интервью, собранных на действующей нефтяной скважине на Печоре. Интересным частным результатом этого исследования стали результаты ассоциативного эксперимента со словами профессионального жаргона и общего корпуса (литературного) языка, различавшихся только ударением (*добы́ча–до́быча*, *пло́щади–площадя́*, *при́воды–привода́*, и под.), которые выявили отличия в группировке единиц ментального лексикона у носителей литературного языка (инженеров с высшим образованием) и носителей просторечия (рабочих, механиков). Применение методики ассоциативного эксперимента для получения данных по социальной обусловленности ментального лексикона – задача, стоящая на повестке дня современных социолингвистических исследований.

Продолжением классических исследований Ч. Фергюсона могут считаться две диссертации двух выпускниц кафедры теории языка и затем Европейского университета: исследования языковых регистров, впервые выполненные на русском материале. Работа К.С. Федоровой [Федорова 2002а] посвящена регистру общения с иностранцами (foreigner talk), работа Т.О. Гавриловой [Гаврилова 2002] – регистру общения с детьми (baby talk). В обеих работах получены интересные и нетривиальные результаты, в обеих реальные фонетические, интонационные, лексические и грамматические характеристики регистров сравниваются со стереотипами этих регистров, существующими в сознании носителей русского языка. В то время как носители языка считают, что с иностранцами нужно говорить «ломаным языком» (*моя твоя понимай*) и уверены, что говорят с иностранцами именно так, в реальности foreigner talk носителей русского языка устроен совершенно иначе: никаких неправильных грамматических конструкций в нем нет и в помине. Носители русского языка, в особенности мужчины, уверены, далее, что с детьми, даже маленькими, нельзя сюсюкать, что с ними нужно говорить «как со взрослыми» – однако практически все люди при общении с маленькими детьми переходят на baby talk, одной из главных характеристик которого является именно «сюсюкание» (особое произношение согласных). См. также [Гаврилова 2001; Федорова 2002б; Гаврилова, Федорова 2004].

Существует еще один тип кодов, имеющих социальную и культурную специфику, а именно стили общения, обусловленные современными каналами коммуникации. Д. Кристал, выпустивший в 2001 году книгу «Language and the internet» [Crystal 2001], определил стихийно складывающиеся стили сетевого общения как новый смешанный устно-письменный стиль речи, при том что изучение устной и письменной речи имело очень разную судьбу в социолингвистической истории языков. При огромном масштабе использования общения в сети то, что сейчас выглядит промежуточным типом кода, смешением признаков, неизбежно разовьется в недалеком будущем в самостоятельный стиль. Естественна популярность смс-кода в качестве тем студенческих работ. Смс-код или редуцированный язык позволяет выявить интересные детали о соотношении инновационного и привычного в новом языковом коде и средствах выражения интонации, столь необходимой в эмоциональном молодежном общении [Вензель 2006].

## ВАРИАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ЯЗЫКОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Социолингвистика немыслима без исследований в рамках вариационной теории, которую в 1960-е годы в методологически строгом и концептуально законченном виде сформулировал У. Лабов. В американской и западноевропейской социолингвистике интенсивность исследований в рамках этой теории на материале разных языков сегодня

уже пошла на спад. На материале русского языка, однако, подобные работы единичны [Ерофеева 2005]; чаще делаются за рубежом [Kochetov 2006].

В Петербурге сегодня предпринимаются попытки подобных исследований: описание распределения единиц молодежного жаргона в разных социальных срезах среди носителей от 13 до 28 лет в синхронии, и (за счет сравнения материала словарей сленга разных лет и данных анкетирования по использованию лексикона в разные периоды жизни) в диахронии [Иноземцева 2008]. Дополнением к этой работе является сравнение репертуара молодежного жаргона у двух поколений: «детей» (студентов) и их родителей [Мокрова 2008].

## СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ

Богатое поле для исследования речевого поведения на материале разных языков и культур представляет собой проверка «теории вежливости» Браун – Левинсона [Brown, Levinson 1999], наиболее методологически строгой и известной на сегодняшний день социолингвистической модели правил межличностного общения. В рамках этой модели, оспаривая или подтверждая ее претензию на универсальность, выполняются исследования как по кросс-культурной, так и внутрикультурной межличностной коммуникации. Несколько исследовательских проектов разрабатываются с опорой на методику CCSARP (Cross-cultural study of realization patterns)[9], международного проекта по сравнительному исследованию «опасных» речевых актов на материале нескольких европейских языков в их разных культурных вариантах. Так, Е. Аверьянова [Аверьянова 2008] сравнивает реализации речевого акта просьбы в социально значимых ситуациях в русском, английском (в американском и британском культурных вариантах), французском и албанском языках; Н. Новикова оценивает языковые отличия в выражении положительной и отрицательной оценки ученика русским или японским учителем [Новикова 2008]; К. Пак [Пак 2008] анализирует тонкие случаи переключения стилей вежливости в корейском языке для подчеркивания важности сообщаемой информации.

Для русского языка задача описания происходящих сегодня изменений в правилах вежливости весьма актуальна, прежде всего в сфере обслуживания (продавец-покупатель) и в сфере профессиональной «офисной» коммуникации, т. е. при изучения инноваций, связанных с рынком и с заимствованиями «западных» социальных практик. Первые, пока что студенческие работы по этой проблематике только начали появляться [Коркина 2008].

## ЯЗЫК И ИДЕОЛОГИЯ

В этой области можно назвать две работы, значительно разнящиеся по объему и охвату проблемы; однако их сюжеты непосредственно связаны друг с другом. Первая – это книга И.П. Лысаковой [Лысакова 2005] «Язык газеты и типология прессы». Помимо очерка истории советской прессы 1918–2004 годов, автор предлагает социолингвистическую типологическую модель газетного издания, в которой центральное место занимает набор обязательных семантико-стилистических компонентов, квалифицируемый как социопеременные, варьирующий в зависимости от идеологической или политической позиции издания. Вторая – небольшая работа Е. Куличевой [Куличева 2008] по сопоставлению описаний известной истории с переносом памятника бронзовому солдату в русскоязычной и эстоноязычной версиях газеты Postimees.

На фоне аналитических работ по манипулированию языком в идеологических целях и по языку тоталитарных режимов [Вахтин, Головко 2004: 204–223; Вахтин 2008] эти работы заполняют необходимую базовую позицию – описание газеты, одного их самых массовых средств такого рода.

---

[9] См. [Blum-Kulka, Olshtain 1984; Blum-Kulka, Hause 1989].

## ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

В заключение следует упомянуть только что законченную, хотя и еще не опубликованную книгу [Федорова (ред.) (в печати)], которая в каком-то смысле подводит промежуточные итоги некоторых перечисленных выше исследований. Авторы книги уже упоминались выше: это Т.О. Гаврилова, Е.А. Панова, К.С. Федорова, В.В. Баранова. Книга очерчивает все аспекты социолингвистических проблем, возникающих на стыке школы, общества и языка: языковую социализацию, освоение детьми социальных различий в речи; отношение к языку и восприятие ученика по его речи; выбор языка образования; язык школы.

* * *

Пока еще рано подводить итоги первых 15 лет развития социолингвистики в Петербурге: все еще только начинается, и остается лишь надеяться, что будущие работы окажутся не менее интересными, чем уже написанные.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ


Аверьянова 2008 – *Е. Аверьянова*. Сравнение речевого акта просьбы в русской, английской, французской и албанской лингвокультурах. Дипломная работа. Рукопись. СПбГУ, 2008.

Аврорин 1975 – *В.А. Аврорин*. Проблемы изучения функциональной стороны языка (к вопросу о предмете социолингвистики). Л., 1975.

Андронов, Лейкума 2006 – *А.В. Андронов, Л. Лейкума*. Латыши и латгальцы Сибири: язык и культура // Балто-славянские исследования. XVII: Сб. научных трудов. М., 2006.

Баранова 2005 – *В.В. Баранова*. Греки Приазовья: этническое самосознание и язык: Дис. ... канд. ист. наук. Рукопись. СПб., 2005.

Баранова 2006 – *В.В. Баранова*. Взаимодействие близкородственных языков: урумский и крымско-татарский в поселке Гранитное Донецкой области // Humaniora: Lingua russica. Труды по русской и славянской филологии. Лингвистика IX. Взаимодействие языков и языковых единиц. Тарту, 2006.

Беликов, Крысин 2001 – *В.И. Беликов, Л.П. Крысин*. Социолингвистика. М., 2001.

Бичурина 2008 – *Н.М. Бичурина*. К анализу речевого взаимодействия во французских дипломатических службах в Санкт-Петербурге: Дис. … магистра филологии. Рукопись. СПбГУ, 2008.

Бичурина, Романова 2006 – *Н.М. Бичурина, А.С. Романова*. Мотивации перехода с албанского языка на русский жителей села Георгиевка Приазовского района Запорожской области (по самоотчетам). Рукопись. СПбГУ, 2006.

Вахтин 1992 – *Н.Б. Вахтин*. К типологии языковых ситуаций на Крайнем Севере (предварительные результаты исследования) // ВЯ. 1992. № 4.

Вахтин 2001 – *Н.Б. Вахтин*. Языки народов Севера в XX веке: Очерки языкового сдвига. СПб., 2001.

Вахтин 2008 – *Н.Б. Вахтин*. Советский «langue de bois» 1930–40-х годов: об одной семиотической особенности (к постановке проблемы) // W.G. Weststeijn (ed.). The Case of the Avant-Garde. Amsterdam, 2008.

Вахтин, Головко 2004 – *Н.Б. Вахтин, Е.В. Головко*. Социолингвистика и социология языка. СПб., 2004.

Вахтин, Головко, Швайцер 2004 – *Н.Б. Вахтин, Е.В. Головко, П. Швайцер*. Русские старожилы Сибири: социальные и символические аспекты самоидентификации. М., 2004.

Вахтин, Жиронкина, Романова 2006 – *Н. Вахтин, О. Жиронкина, К. Романова*. Калампоцання над долею украинскоі мови // Схід-Захід. Вип. 8. 2006.

Вензель 2006 – *С. Вензель*. Средства передачи интонации в смс текстах. Дипломная работа. Рукопись. СПбГУ, 2006.

Викторова 2006 – *К.В. Викторова*. Языковые изменения в процессе языкового сдвига (на материале малоянисольского диалекта румейского языка): Дис. ... канд. филол. наук. Рукопись. СПб., 2006.

Викторова 2007 – *К.В. Викторова*. Языковой сдвиг как социолингвистическое явление // Языковые изменения в условиях языкового сдвига СПб., 2007.

Гаврилова 2001 – *Т.О. Гаврилова*. Регистр общения с детьми (baby talk): некоторые особенности интонации // Антропология. Фольклористика. Лингвистика: Сб. статей. Вып. 1. СПб., 2001.

Гаврилова 2002 – *Т.О. Гаврилова*. Регистр общения с детьми: структурный и социолингвистический аспекты: Дис. ... канд. филол. наук. Рукопись. СПб., 2002.

Гаврилова, Федорова 2004 – *Т.О. Гаврилова, К.С. Федорова*. Мнимое сходство и сходная мнимость: регистр общения с иностранцами vs. регистр общения с детьми // А.К. Байбурин (отв. ред.). Studia Ethnologica: труды факультета этнологии. СПб., 2004.

Головко 2001а – *Е.В. Головко*. Переключение кодов или новый код? // Труды факультета этнологии. Вып. 1. СПб., 2001.

Головко 2001б – *Е.В. Головко*. Языковые изменения и конструирование групповой идентичности // Вестник молодых ученых. Т. 4. Серия: Филол. науки. 2001.

Гулида 2000 – *В.Б. Гулида*. Англоязычная социолингвистика сегодня // Язык и речевая деятельность. Ч. 1. 2000. № 2.

Гулида 2007 – *В.Б. Гулида*. Англоязычная социолингвистика сегодня // Язык и речевая деятельность. Ч. 2. 2007. № 8.

Домашнев 2003 – *А.И. Домашнев*. Национальный (государственный) и официальные языки Люксембурга // Решение национально-языковых вопросов в современном мире. СПб., 2003.

Ермолин 2008 – *Д.С. Ермолин*. Единицы общего и профессионального словаря в ментальном лексиконе носителей литературной нормы и просторечия (на материале подъязыка нефтяников): Дис. … магистра филологии. Рукопись. СПбГУ, 2008.

Ерофеева 2005 – *Е.В. Ерофеева*. Вероятностная структура идиомов. Социолингвистический аспект. Пермь, 2005.

Жирмунский 1968 – *В.М. Жирмунский*. Проблема социальной дифференциации языков // Язык и общество. Л., 1968.

Жиронкина 2007 – *О. Жиронкина. Лізла баба по лєснице, упала з драбини:* заметки о языковой ситуации на Украине // Отечественные записки. 2007. № 1 (34) (см. также: http://www.strana-oz.ru/?ozid=34&oznumber=1).

Иноземцева 2008 – *М.А. Иноземцева*. К вопросу о механизме распространения инноваций: социальный и языковой аспекты. Дипломная работа. СПбГУ, 2008.

Кіяк 2004 – *Т. Кіяк*. Как покончить с «бумажным» статусом языка // Зеркало недели. № 31 (506) 7–13 августа. Кіев, 2004.

Клейнер, Светозарова 2006 – *Ю.А. Клейнер, Н.Д. Светозарова*. Малый язык в большом городе: идиш в Петербурге наших дней // Второй международный симпозиум по полевой лингвистике. Материалы. М., 2006.

Клонова 2007 – *О.Ю. Клонова*. Упрощенные языковые системы и формирование пиджина: на материале русско-норвежских языковых контактов: Дис. … канд. филол. наук. Рукопись. СПбГУ, 2007.

Коркина 2008 – *И. Коркина*. Сервисные коммуникативные стили: Дис. … магистра филологии. Рукопись. СПбГУ, 2008.

Крысин 1977 – *Л.П. Крысин*. Язык в современном обществе. М., 1977.

Куличева 2008 – *Е.С. Куличева*. Идеологические различия эстонского и русского вариантов политического дискурса: Дис. … магистра филологии. Рукопись. СПбГУ, 2008.

Ларин 1928 – *Б.А. Ларин*. О лингвистическом изучении города // Рр. Вып. 3. Л., 1928. (переиздание: *Б.А. Ларин*. Избранные работы. М., 1977).
Ларин 1931 – *Б.А. Ларин*. Об изучении языка города // Язык и литература. Т. 7. Л., 1931 (переиздание: *Б.А. Ларин*. Избранные работы. М., 1977).
Лисковец 2002 – *И.В. Лисковец*. Трасянка: происхождение, сущность, функционирование // Антропология. Фольклористика. Лингвистика. Вып. 2. СПб., 2002.
Лисковец 2006 – *И.В. Лисковец*. Русский и белорусский языки в Минске: проблемы двуязычия и отношения к языку: Дис. ... канд. филол. наук. Рукопись. СПб., 2006.
Лысакова 2005 – *И.П. Лысакова*. Язык газеты и типология прессы. Социолингвистическое исследование. СПб., 2005.
Мокрова 2008 – *Е.И. Мокрова*. Сравнение русскоязычного молодежного жаргона современного и «родительского» поколений. Рукопись. СПбГУ, 2008.
Никольский 1976 – *Л.Б. Никольский*. Синхронная социолингвистика. М., 1976.
НЛ 1972 – Новое в лингвистике. Вып. 6. Языковые контакты. М., 1972.
НЛ 1975 – Новое в лингвистике. Вып. 7. Социолингвистика. М., 1975.
Новикова 2008 – *Н. Новикова*. Кросс-культурные отличия в выражении положительной / отрицательной оценки ученика русским и японским учителем. Рукопись. 2008.
Пак 2008 – *К. Пак*. Категория важности информации как мотив для переключения стиля вежливости в корейском языке. Рукопись. СПбГУ, 2008.
Панова 2005 – *Е.А. Панова*. Учителя и ученики – люди и роли // Директор школы. 2005. № 4.
Панова 2006 – *Е.А. Панова*. Иноэтничный ученик в петербургской школе: социолингвистический аспект: Дис. ... канд. филол. наук. Рукопись. СПбГУ, 2006.
Панова 2008 – *Е.А. Панова*. «Чужой» за школьной партой: представления учителей об этнических различиях // Расизм в языке образования / Под ред. В. Воронкова, О. Карпенко, А. Осипова. СПб., 2008.
Панова, Федорова 2006 – *Е.А. Панова, К.С. Федорова*. Иноэтничные дети в петербургской школе: мифы и реальность (по материалам социолингвистического исследования) // Журнал исследований социальной политики. 2006. Т. 4. № 1.
Перехвальская 2008 – *Е.В. Перехвальская*. Русские пиджины. СПб., 2008.
Решетник, Воробьева 2009 – *А. Решетник, О. Воробьева*. Болгары Приазовья: язык и самоидентификация. Рукопись. СПбГУ, 2009.
Розенцвейг 1972 – *В.Ю. Розенцвейг*. Языковые контакты. Лингвистическая проблематика. Л., 1972.
Русаков 2004 – *А.Ю. Русаков*. Интерференция и переключение кодов (северно-русский диалект цыганского языка в контактологической перспективе): Дис. ... докт. филол. наук. Рукопись. СПб., 2004.
РЯ 1968 – Русский язык и советское общество: В 4-х кн. / Отв. ред. М.В. Панов. М., 1968.
РЯМО 1974 – Русский язык по данным массового обследования: опыт социально-лингвистического изучения. М., 1974.
Семенов, Юрков 2004 – *В.Е. Семенов, Е.Е. Юрков*. Русская речь в современной России: тенденции развития (по результатам социологического исследования). СПб., 2004.
СЛИ 1976 – Социально-лингвистические исследования / Отв. ред. Л.П. Крысин. М., 1976.
СП 1975 – Социолингвистические проблемы развивающихся стран. М., 1975.
Федорова 2002а – *К. Федорова*. Лингвоповеденческие стратегии в ситуации общения с иностранцем (на материале русского языка): Дис.... канд. филол. наук. Рукопись. СПб., 2002.
Федорова 2002б – *К.С. Федорова*. Лексика в русском регистре общения с иностранцем // Антропология. Фольклористика. Лингвистика. Вып. 2. СПб., 2002.
Федорова (ред.) (в печати) – Язык, общество, школа / Отв. ред. К.С. Федорова (в печати).

Швейцер 1971 – *А.Д. Швейцер*. Вопросы социологии языка в современной американской лингвистике. Л., 1971.
Швейцер, Никольский 1978 – *А.Д. Швейцер, Л.Б. Никольский*. Введение в социолингвистику. М., 1978.
ЯИ 2007 – Языковые изменения в условиях языкового сдвига: Сб. статей / Отв. ред. Н.Б. Вахтин. СПб., 2007.
Blum-Kulka, Olshtain 1984 – *S. Blum-Kulka, E. Olshtain*. Requests and apologies: A cross-cultural study of realization patterns (CCSARP) // Applied linguistics. 5(3). 1984.
Blum-Kulka, Hause 1989 – *Sh. Blum-Kulka, J. Hause, G. Kasper*. Investigating cross-cultural pragmatics: An introductory overview // Cross-cultural pragmatics: Requests and apologies. Norwood, 1989.
Brown, Levinson 1999 – *P. Brown, S. Levinson*. Politeness: Some universals in language usage // A. Jaworsky, N. Coupland (eds.). The discourse reader. London, 1999.
Crystal 2001 – *D. Crystal*. Language and the Internet. Cambridge, 2001.
Fasold 1984 – *R. Fasold*. The sociolinguistics of society. Oxford, 1984.
Fasold 1990 – *R. Fasold*. The sociolinguistics of language. Oxford, 1990.
Golovko 2003 – *E. Golovko*. Language contact and group identity: the role of 'folk' linguistic engineering // Y. Matras, P. Bakker (eds.). The mixed language debate. Berlin; New York, 2003.
Gulida 2006 – *V. Gulida*. Theoretical insights and ideological pressures in early soviet linguistics: The cases of Lev Iakubinskii and Boris Larin // Sociological theories of language in the USSR, 1917–1938. Unpublished paper. University of Sheffield, September 2006.
Gulida 2010 – *V. Gulida*. Sociolinguistics in the Russian Federation, Ukraine, Belarus, Moldova // M.J. Ball (ed.). The Routledge handbook of sociolinguistics around the world. London; New York, 2010.
Hudson 1980 – *R.A. Hudson*. Sociolinguistics. Cambridge, 1980.
Kochetov 2006 – *A. Kochetov*. The role of social factors in the dynamics of sound change: a case study of Russian dialect // Language variation and change. 2006. № 18. (DOI:10.1017 / S0954394506060030).
Laforest 1999 – *M. Laforest*. Can a sociolinguist venture outside the university? // Journal of sociolinguistics. 1999. V. 2.

## *РЕЦЕНЗИИ*

***Э.М. Береговская.*** **Арго и язык французской художественной прозы XX века (50–70-е годы).** Смоленск. Издательство СмолГУ, 2009. 356 с.

В 2009 г. в издательстве Смоленского государственного университета вышла в свет монография Э.М. Береговской «Арго и язык французской художественной прозы XX века (50–70-е годы»).

Э.М. Береговская является одним из первых исследователей французского арго. Рецензируемая монография написана на основе докторской диссертации автора.

Отметим, прежде всего, что в рецензируемой книге тщательно разработаны терминологические вопросы. Так, опираясь на достоверные французские источники, автор прослеживает появление и эволюцию терминов «жаргон» и «арго». По ее мнению, первые упоминания о жаргоне (как лексике криминальных элементов) относятся к XV в. Во французском языке использовались термины «jargon», «jobelin», которые постепенно заменил термин «argot». «Постепенно, – утверждает ученый, – с появлением различных профессиональных и социальных жаргонов, объем термина изменился, под *арго* стали понимать устный язык, который состоит из более или менее произвольно выбираемых элементов одного или нескольких естественных языков и применяется отдельной социальной группой с целью языкового обособления от остальной части данной языковой общности» (с. 8–9).

Именно в этом значении Э.М. Береговская использует термин «арго» в своей работе. Данный термин применим и к языку криминальных элементов, и к языку солдат, студентов, и др. социальных групп. В отечественном языкознании имеется разнобой в использовании термина «арго»: одни ученые понимают под ним условные языки русских ремесленников и торговцев [Бондалетов 1967], другие – исключительно язык криминальных элементов [Грачев 1997], третьи – просторечную лексику [Елистратов 1994].

Слово «арго» впервые появилось в русской литературе в 60-х годах XIX в. в романе «Петербургские трущобы» (1866 г.). Вс. Крестовский утверждал, что русские деклассированные элементы имеют свое argot. Лексема *арго* (франц. argot) представляет собой искаженное франц. *ergot* – «шпора петуха», символ воровского ремесла. Французские преступники XIII–XIV вв., чтобы узнавать своих, носили привязанную к поясу эту часть петушиной лапки (с. 12). Что-то подобное было, вероятно, и у русских преступников. К сожалению, это мы можем только предполагать. Вещественные символы были очень распространены в то время.

В России термин «арго» получил распространение среди языковедов лишь в начале XX века. До этого лексика деклассированных элементов в основном называлась «условным языком преступников», «ба́йковым языко́м», «му́зыкой». Ср., например, название рукописи В.И. Даля «Условный язык петербургских мошенников, известный под именем му́зыки или ба́йкового языка». «Ба́йковый» – от слова *ба́йка* – «побасенка, сказочка», в свою очередь, образовалась от русского глагола *ба́ять* – «говорить».

В начале XX века к слову *му́зыка* прибавилось и слово *блатна́я*. В 1908 г. появился словарь В.Ф. Трахтенберга с любопытным названием «Блатна́я му́зыка. (Жаргон тюрьмы)». И.А. Бодуэн де Куртенэ в статье, посвященной изучению арго, и не называет его иначе, как «блатна́я му́зыка» [Бодуэн де Куртенэ 1963].

Э.М. Береговская в своей монографии рассматривает и культурологические аспекты французского арго: проблемы использования его в языке художественной литературы, устной речи французов и – шире – во французском общенародном языке. По ее мнению, «арготический “взрыв” XIX века прошел не безболезненно» (с. 17). Лингвисты и писатели по-разному относились к использованию арго. Одни приветствовали употребление его элементов, другие были категорически против, третьи, выбрав «золотую середину», считали его как

неизбежную лингвистическую данность, которая будет активно влиять на французский язык, в том числе и на его литературную норму. Сравнивая исследования Э.М. Береговской французского арго последней трети XX в. с современными процессами, имеющими место в русском языке, можно наблюдать удивительную картину: использование арготизмов в современном русском языке во многом повторяет французский вариант, имевший место в XIX столетии – то же активное использование арготизмов в языке художественной литературы, та же борьба пуристов и антинормализаторов, те же многочисленные и разноаспектные исследования.

Э.М. Береговская отмечает, что арготизмы пришли во французскую литературу вместе с балладами Ф. Вийона. Загадка этих баллад, написанных на арго кокильяров, – пишет она, – интриговала не одно поколение филологов. Их расшифровке посвящен ряд работ французских ученых. Заметим, что данные баллады появились в XV веке. Однако арготизмы французских деклассированных элементов этого периода переведены на русский язык на основе лексики криминального мира конца XIX – начала XX в.! К сожалению, исчез дух французского XV века.

История французского арго, четко и лаконично изложенная в книге Э.М. Береговской, свидетельствует о его «живучести» и в то же время изменчивости под влиянием социальных и культурных факторов. Это можно подтвердить наблюдениями, сделанными целым рядом французских лингвистов в последние десятилетия.

Свидетельством особого интереса к арго явилось создание в 1986 году Центра арготологии при Сорбонне, результатом деятельности которого стал выпуск издательством «Лярус» словаря арго в 1994, переизданного в 2002 году [Colin, Mével 1994; 2002]. Научный руководитель Центра Д. Франсуа-Жежер во введении к этому фундаментальному изданию обосновывает общность взгляда его создателей на существование арго как языкового феномена современной Франции, несмотря на то, что он является «вторичным» по отношению к общеупотребительному французскому языку. Отмечается, что с начала XX века арго попадает в широкий обиход, сливается с такими функциональными зонами, как профессиональные говоры – «технолекты», но это не означает, по мнению автора, его исчезновения, а скорее размывание его границ. Подобная точка зрения соответствует сформулированной ранее концепции А. Бонара в Большом Ларусе. Он подчеркнул, что не следует забывать о криптологичности арго в замкнутых социальных группах, вследствие чего можно говорить об арго «во множественном числе». Основой этих разновидностей являются классические формы: верлан, люшебель, ларгонжи, жаванэ. Основным же носителем арго сегодня является «уличная толпа, не всегда живущая в дружбе с законом».

В современных публикациях акцентируются социальные, культурные и лингвистические факторы, влияющие на функционирование арго. Арго предстает не как традиционное выражение грубости, а как проявление народной мудрости, что придает ему «вкус, важность, красочность и легкость» [Mandelbaum-Reiner 1996]. Э.М. Береговская в ряде своих статей, посвященных арго во французском и русском языках, также приходит к выводу, что «арго, как его не называй – жаргон, сленг или социолект – это не вредный паразитарный нарост на теле языка, ... а органическая и в какой-то мере необходимая часть этой системы» [Береговская 1996]. Для лингвиста она интересна как лаборатория, в которой многие языковые процессы происходят быстрее, так как они не сдерживаются нормой [Береговская 1997; ср. 1975; 1996].

Тенденциям, наблюдаемым в современной французской разговорной речи, был посвящен в 2002 г. специальный номер журнала «La linguistique» [LL 2002]. Научные публикации этого выпуска свидетельствуют о том, что в поле зрения исследователей постоянно находится эволюция арго, его взаимодействие с другими разновидностями разговорной речи, а также его функции и языковые формы. Так, выделяется особый регистр разговорной речи, изобилующий арготическими элементами, модными неологизмами, иронической игрой слов и имеющий ярко выраженную сниженную тональность. Этот «новомодный французский» получил несколько наименований: «le français relaché», «le français branché», «le français kiskose», «le français cablé». Р. Бовэ определил его как «мозаику» из арго, патуа, социальных говоров, изменений смысла, неологизмов, новых образов, что делает общение как бы закодированным, предназначенным для людей, которые объединяются по социальному признаку, профессии, полу, возрасту, происхождению (например, автолюбители, меломаны, спортсмены, церковнослужители) [Beauvais 1975].

П. Мерль в получившей широкую популярность книге о судьбе арго выразил ностальгию по классическому арго и критически оценил его модификации в различных социальных прослойках и ситуациях [Merle 1990]. Назвав этот говор «fast food», он обвинил его в потере красочного, живого, волнующего характера и

в превращении всего лишь в новинку. Сферы его употребления: бар, пивная, такси, клуб, туристическая поездка, тротуар и т. д. П. Мерль попытался отразить современное состояние этой языковой сферы в «Словаре арго конца века» [Merle 1996], в котором, по мнению автора предисловия С. Дюнетона, ощущается «деструкция» и «мутация» арго, отражающие современное состояние общества и, главным образом, речевое поведение молодежи.

В современных лингвистических публикациях и в прессе, широко дебатирующей тенденции развития языка во Франции, употребляются в качестве терминов «новый французский» («le nouveau français») и «молодежный французский» («le français des jeunes»), которые выступают как синонимичные названия речи, присущей молодому поколению. Эта разновидность разговорной речи характеризуется грамматическими отклонениями от нормы, спорадическим употреблением традиционных арготизмов и многочисленными новыми «словечками» в целях оригинальности и сокрытия от взрослых подростковых секретов.

Наблюдается стремление старшего поколения ассимилировать этот говор, выражаться псевдомодным языком в целях поддержания контакта с молодежью. С возрастом пристрастие к молодежному французскому уменьшается, речь становится более конформистской.

Особого внимания в языковой ситуации во Франции заслуживают явления, связанные не столько с возрастным фактором, сколько с фактором социально-политическим. Имеется в виду форма речевого взаимодействия в маргинальных слоях общества, большую часть которых представляют собой иммигранты. Это речь обитателей кварталов, окраин больших городов, не имеющих образования, многие из которых плохо владеют французским языком. Данная разновидность наглядно представлена в работе Ж.-П. Гудайе [Goudailler 1997].

Задаваясь вопросом, что же это за язык, автор склонен считать его субъязыком, который обедняет французский, сводя его к роли языка-посредника или койне. Основными причинами его возникновения являются нищета, экономический кризис, протест, новыми, по сравнению с традиционными темами арго, – безработица, СПИД, отношения в землячестве по национальному признаку. В качестве основных функций выступают криптологическая, идентифицирующая и аксиологическая, образующие оригинальный гибрид. Арготическая основа этого регистра несомненна, на нее наслаивается пласт региональных говоров (например, Марселя) и заимствованной лексики. К. Ажеж в предисловии к указанной работе справедливо подчеркивает, что данная разновидность является отдельным феноменом современной французской разговорной речи, «лингвистической манифестацией бунта, промежуточной культуры и глубокой социальной ломки».

Распространение и коммуникативная роль данного регистра настолько велика, что в лингвистический обиход вошел новый термин «язык окраин» (la langue des cités). Ж.П. Гудайе уверенно аргументирует его правомерность, учитывая внушительную часть современного населения Франции, употребляющую данный регистр [Goudailler 2002: 7].

Новым термином в арготологии явился и термин «общее арго» (argot commun), обозначающий, в противовес предыдущему, широкий и вседоступный арготический обиход. Это связано с демократизацией общества, смещением различных социальных прослоек и возрастных групп в профессиональной деятельности, влиянием средств массовой информации, языковой модой.

Приведенная фрагментарная картина судьбы арго в современной Франции свидетельствует о ярком своеобразии этого языкового явления и его привлекательности для всестороннего лингвистического изучения.

Исследуя причины перехода арготизмов в различные лексические системы французского языка, Э.М. Береговская подчеркивает, что «социальные диалекты структурно и функционально гораздо теснее связаны с общенародным языком, чем территориальные». Развивая эту мысль применительно к современному этапу русского языка, можно констатировать, что влияние территориальных диалектов в настоящее время очень незначительно, а в общенародный язык активно переходят социолектизмы. К сожалению, это далеко не лучший источник пополнения словарного запаса общенародного языка, так как в системе социолектизмов многочисленны лексемы криминального мира, несущие на себе отрицательную коннотацию. Читая книгу Э.М. Береговской, еще и еще раз убеждаешься в прозорливости ее автора, в умении заинтересовать читателя и исследователя, наметить пути дальнейших арготологических изысканий.

Заслуга автора монографии в том, что проделана кропотливая работа, причем в диахроническом плане.

В настоящее время выходит множество работ по социальным вариантам языка, однако можно констатировать, что подлинно научных среди них мало.

Работа написана хорошим научным языком, с опорой как на предшествующих, так и на современных ученых, специализирующихся в разрешении проблем данной тематики.

Книга Э.М. Береговской, безусловно, будет хорошим подспорьем для написания исследований по функционированию арготизмов не только в языке художественной прозы. Эта книга начинается с эпиграфа – слов известного лингвиста М. Кутнера: «Не зная арго, едва ли можно понимать современный французский текст». Эти слова вполне применимы и к изучению лингвистической ситуации в России.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ


Береговская 1975 – *Э.М. Береговская*. Социальные диалекты и язык современной французской прозы. Смоленск, 1975.

Береговская 1996 – *Э.М. Береговская*. Молодежный сленг: формирование и функционирование // ВЯ. 1996. № 3.

Береговская 1997 – *Э.М. Береговская*. Французское арго: эволюция его восприятия // ФН. 1997. № 1.

Бодуэн де Куртенэ 1963 – *И.А. Бодуэн де Куртенэ*. «Блатная музыка» В.Ф. Трахтенберга // *И.А. Бодуэн де Куртенэ*. Избранные труды по общему языкознанию. Т. 2. М., 1963.

Бондалетов 1967 – *В.Д. Бондалетов*. Заимствования из германских языков в лексике русских условно-профессиональных арго // Язык и общество. Саратов, 1967.

Грачев 1997 – *М.А. Грачев*. Русское арго. Нижний Новгород, 1997.

Елистратов 1994 – *В.С. Елистратов*. Словарь московского арго. М., 1994.

Ермакова, Земская, Розина 1999 – *О.П. Ермакова, Е.А. Земская, Р.И. Розина*. Слова, с которыми мы встречались: Толковый словарь русского общего жаргона. М., 1999.

Beauvais 1975 – *R. Beauvais*. Le français kiskose. Paris, 1975.

Colin, Mével 1994 – *J.-P. Colin, J.-P. Mével*. Dictionnaire de l'argot. Paris, 1994.

Colin, Mével 2002 – *J.-P. Colin, J.-P. Mével*. Dictionnaire de l'argot français et de ses origines. Nouvelle édition. Paris, 2002.

Goudailler 1997 – *F.-P. Goudailler*. Comment tu tchatches! Dictionnaire du français contemporain des cités. Paris, 1997.

Goudailler 2002 – *F.-P. Goudailler*. De l'argot traditionnel au français contemporain des cités // La linguistique. V. 38. 1. 2002.

LL 2002 – La linguistique. Argot et argotologie. V. 38. 1. 2002.

Merle 1990 – *P. Merle*. Le blues de l'argot. Paris, 1990.

Merle 1996 – *P. Merle*. Le dico de l'argot fin de siècle. Paris, 1996.

Mandelbaum-Reiner 1996 – *F. Mandelbaum-Reiner*. L'argot ou les mots de la pudeur // Langage et société. 1996. № 75.


*М.А. Грачев, О.С. Сапожникова*

***J. Clackson.*** **Indo-European linguistics. An introduction.** Cambridge: Cambridge university press, 2007. 260 p.

В последние годы англо-американская индоевропеистика переживает своеобразный период подъема. Но если традиции сравнительно-исторического индоевропейского языкознания в США формировались в течение всего XX в. деятельностью таких знаменитостей, как Э. Стертевант, У. Леман, У. Коугилл или К. Уоткинс (да и сами основатели американской лингвистики – Э. Сепир и Л. Блумфильд тоже были по образованию филологами-германистами), то английская индоевропеистика проходит главный период своего становления, как кажется, именно сейчас. За последние 15 лет на английском языке вышло «Введение в сравнительную грамматику индоевропейских языков» Р. Бекеса [Beekes 1995], появились переводы трудов Т.В. Гамкрелидзе и Вяч.Вс. Иванова [Gamkrelidze, Ivanov 1995], О. Семереньи [Szemerényi 1996], М. Майера-Брюггера [Meier-Brügger 2003], в оксфордском издании вышли оригинальные введения в индоевропеистику американца Б. Фортсона [Fortson 2004], Дж. Меллори и Д. Адамса [Mallory, Adams 2006]. Интерес к индоевропейским проблемам в английской науке явно возрастает; и рецензируемая книга Дж. Клаксона, кембриджского филолога-классика и компаративиста, является закономерным продолжением этого интереса – первым собственно английским трудом в рассматриваемом жанре.

Книга имеет сравнительно небольшой объем (260 с.) и состоит из предисловия, к которому примыкает описание принятых транслитерационных правил (с. xii–xxii), семи глав (с. 1–215), глоссария, в котором приводятся важные для компаративистики и индоевропеистики термины (с. 216–229), библиографии (с. 230–245) и указателей: цитируемых слов (с. 246–256), языков (с. 257), персоналий (с. 258) и предметного (с. 259–260). Семь глав (или разделов): 1) «Индоевропейская семья языков» (с. 1–26), 2) «Фонология» (с. 27–63), 3) «Морфофонология» (с. 64–89), 4) «Именная морфология» (с. 90–113), 5) «Глагольная морфология» (с. 114–156), 6) «Синтаксис» (с. 157–186), 7) «Словарь и лексическая семантика» (с. 187–215). Последние

две главы следует отметить особо: вопросам реконструкции индоевропейского синтаксиса в книгах подобного жанра практически не уделяется должного места (а в трудах [Семереньи 1980] и [Beekes 1995] они не рассматриваются вовсе), что делает этот раздел в изложении Дж. Клаксона одним из самых подробных; весьма подробен и анализ индоевропейской лексики, хотя среди на этот счет современных «Введений» имеются и более содержательные работы (см., например [Mallory, Adams 2006]).

В предисловии (с. xii) автор поясняет, что цель его книги «to present rather areas where there currently is, or ought to be, debate and uncertainty», т.е. не подробное описание реконструируемой грамматики индоевропейского языка, но изложение некоторых важнейших проблем современной индоевропеистики. Надо сказать, что мысль создать книгу подобного рода – вводный и одновременно проблемно ориентированный курс – представляется глубоко правильной и справедливой; но нужно также признать, что адекватное решение поставленной задачи чрезвычайно трудно достижимо. Автору следует найти такой путь, который помог бы ему достойно избежать как крайности популизма и банальности, так и чрезмерной узости (и соответственно, все меньшей актуальности) излагаемых вопросов; книга должна иметь приемлемый объем, эрудиция автора соответствовать широте поставленной задачи, адекватно охватывать и излагать все актуальное в современной ему науке, и при этом «проблемный» подход к делу обязательно предполагает (по крайней мере, в идеале) ясное выражение и собственной точки зрения автора по тому или иному вопросу. Наконец, поскольку речь идет именно о «Введении», т. е. книге для начинающих, чрезвычайно важным оказывается как вопрос методологии изложения, так и некоторых общегуманистических установок, необходимых в каждом хорошем учебнике. Как кажется, грандиозный успех первопроходца в этом жанре Антуана Мейе и его книги [Мейе 1938], равно как и уже упомянутых трудов О. Семереньи и Р. Бекеса, объясняется как раз правильностью выбранного авторами пути и удачным сочетанием широты изложения с его глубиной.

К моему глубокому сожалению, следует сразу сказать, что Джеймсу Клаксону сделать этого по большей части не удалось. Это, однако, не означает, что книга Клаксона не имеет никаких объективных достоинств и не может быть в принципе рекомендована к прочтению. К таким достоинствам, без сомнения, следует отнести:

1) охват практически всех изученных отделов индоевропеистики: в книге есть и фонология, и морфология, и синтаксис, и лексикология, имеется и небольшое введение; полностью отсутствует только специальное рассмотрение просодических вопросов, отдельных от акцентно-аблаутных чередований, мало рассказано о словообразовании (в связи с морфологией) или о проблемах индоевропейской прародины (в связи с лексикой), но выбор тем для более или менее подробного рассмотрения следует считать все-таки прерогативой автора;

2) учет новейшей научной литературы[1]: автор привлекает и недавние работы по лексико-статистике (в главе 1), и современную типологическую литературу (особенно в главе 6 «Синтаксис»), подробно рассматриваются данные нового «словаря Рикса» ([LIV 2001], в главах 2, 3, 7), много внимания уделяется современному состоянию глоттальной теории (глава 2);

3) весьма качественное и доступное изложение некоторых современных теорий; так, в главе 3 («Морфофонология») простыми словами, коротко и ясно, с хорошими схемами, пересказывается весьма непростая теория акцентно-аблаутных парадигм, в главе 6 читатель найдет весьма интересный рассказ о проблемах реконструкции эргатива, или активного строя для индоевропейской предыстории; здесь особенно ценным представляется обсуждение вопроса о том, какой из двух известных видов активной типологии более близок индоевропейскому синтаксису;

4) внимание к практически не рассматриваемым (в книгах такого жанра) вопросам индоевропейской фразеологии и, в частности, к поэтическим клише;

5) компактность изложения и существенное преобладание (английского) текста над приводимыми примерами и соответствиями, что должно сильно облегчать усвоение материала;

6) множество задач по компаративистике, бóльшáя часть которых может быть признана интересной.

И тем не менее книгу Дж. Клаксона скорее следует считать неполучившейся. Главной причиной этому явилось, как кажется, то, что, разрываясь между широтой охвата материала, глубиной и доступностью, автор предпочел последнее; более того, местами книге Дж. Клаксона недостает и научной достоверности.

Автор действительно учитывает ряд новейших научных работ. Однако это (вполне правильное) стремление к охвату современной литературы, во-первых, оборачивается у Клак-

[1] С некоторыми оговорками, о которых см. ниже.

сона неучетом некоторых не потерявших актуальности трудов прошлых лет, а во-вторых, ограничивается почти исключительно английским и немецким языком. Более того, в ряде случаев видно, что речь идет не о неупоминании той или иной важной книги, а о незнакомстве Дж. Клаксона с той или иной основополагающей теорией. Иногда это вызывает полное недоумение. Так, в главе 3 (с. 78) обсуждается проблема связи позиции индоевропейского ударения и тембра гласного. Автор, ссылаясь на работу А. Лубоцкого, коротко приводит мысль последнего о возможной связи индоевропейского ударения и доисторического тона и добавляет: «At present, Lubotsky's findings are uncorroborated by other research» («В настоящий момент находки Лубоцкого не подтверждаются другими исследованиями»). Тем самым автор признает, что ему совершенно незнакомы ни мысли В.А. Дыбо, высказанные по данной проблеме 35 лет назад, ни теория Л.Г. Герценберга, ни даже статьи Ф. Кортландта. Это можно было бы объяснить тем, что автор не владеет русским языком, но такое объяснение не годится. Во-первых, Клаксон все же ссылается на некоторые русские работы (например, на «Опыт» Иллича-Свитыча [Иллич-Свитыч 1971–1984] или первое издание [Гамкрелидзе, Иванов 1984]); во-вторых, некоторые труды В.А. Дыбо переведены на английский (и термин «закон Дыбо» происходит именно из западной традиции), не говоря уже о работах Кортландта, одна из которых (что удивительно!) приводится в библиографии, но не имеет на себя отсылки по тексту.

Аналогичная ситуация в главе 1 с. 20, где обсуждается связь индоевропеистики и ностратики. Надо сказать, что внимание Дж. Клаксона к проблемам ностратики выгодно выделяет его книгу на фоне многих других, однако внимание это оказывается чрезвычайно поверхностным. Автор справедливо соглашается с позицией Д. Ринге о весьма большой вероятности ошибок в поиске фонетических соответствий между ностратическими языками (из-за значительного сокращения единиц общей лексики). Однако, ссылаясь на труды В.М. Иллича-Свитыча и А. Долгопольского, забывает упомянуть о методе ступенчатой реконструкции, принципиально важном для методологии ностратических исследований.

Еще раз хотел бы подчеркнуть, что речь идет не о незнакомстве Клаксона с русскими авторами, и не о его критическом отношении к ностратическим исследованиям (к которым очень многие индоевропеисты относятся с недоверием), но о неполном или фрагментарном освещении тех теорий, которые автор сам же выбирает, руководствуясь заявленным «проблемным» подходом к материалу. При этом большая широта теоретического охвата требуется не какими-то догмами формалистического толка, а простой логикой изложения. В случае с теорией праиндоевропейских тонов дело обстоит так, что она позволяет объяснить значительную часть тех явлений для которых традиционно привлекались ларингалы. И на фоне этой, потерянной для читателя, идеи, слова автора о том, что в настоящее время нет ни одного университетского преподавателя-индоевропеиста, кто не верил бы в ларингалы (с. 54), оказываются неправдой. Точно так же изложение достаточно известных на западе мыслей Л.Г. Герценберга послужило бы важным дополнением к рассказу об акцентно-аблаутных парадигмах, внимания которым уделено в работе немало.

Точно так же, например, теория Э. Бенвениста о структуре индоевропейского корня рассматривается без какой бы то ни было оглядки на устройство индоевропейского слога, что приводит Дж. Клаксона к излишне категоричным суждениям о ее слабой пригодности (с. 68). При этом ясно, что для языка суффигирующего типа, каким должно считать индоевропейский, теория слога теснейшим образом связана с теорией корня. Но в книге Клаксона раздел об индоевропейском слоге отсутствует начисто, и это вызывает ряд новых вопросов. Так, в глоссарии на с. 218 дается следующее определение термину «двуморный»: «bimoraic. Having two morae; in other words, consisting of two short vowels, or one long vowel, or a diphthong». Автор явно забывает об особом фонологическом положении закрытого слога в древних индоевропейских языках и не делает из этого никаких должных выводов[2].

В разделе об индоевропейской прародине (с. 18) отсутствует прямая ссылка на какие бы то ни было труды М. Гимбутене (Gimbutas), хотя имя ее все же один раз бегло упоминается (со ссылкой на обобщающий труд Дж. Меллори), а в разделе о глоттальной теории ни слова не говорится ни об одном из четырех ее создателей; но поскольку на монографию Т.В. Гамкрелидзе и Вяч.Вс. Иванова автор неоднократно ссылается по другим вопросам, об именах П. Хоппера, О.С. Широкова и Дж. Клаксона, кажется, даже неудобно спрашивать. В последнем случае хочется добавить, что помимо «традиционной теории» и глоттальной существует и несколько

[2] О проблеме мор в индоевропейских языках см. [Белов 2008]. Кроме того, данное Клаксоном определение годится для всякого языка (где есть долгие гласные и дифтонги), а не только для моросчитающего.

других (Педерсена, Старостина), которые тоже было бы полезно упомянуть в связи с проблемой индоевропейского консонантизма.

Здесь же следует сказать, что список цитируемой в конце книги литературы вообще выглядит чрезмерно коротким и неполным (в сопоставлении, например, с [Семереньи 1980]), тогда как избранный автором подход требовал бы как раз обратного. Так получается, что заявленная «проблемность» служит скорее средством для оправдания пробелов в книге, нежели благородной цели.

Вдобавок, следовало бы отметить и ту характерную особенность клаксоновского изложения, состоящую в том, что проблемы, рассматриваемые автором, далеко не всегда представляют собой сколько-нибудь строгую систему, оставаясь иной раз причудливой россыпью взаимопротиворечащих фактов. Так, на с. 10 проводится сопоставление двух «родословных деревьев»: дерева Шлейхера и так называемого «новозеландского дерева», предложенного Аткинсоном и Греем в [Gray, Atkinson 2003] и построенного с опорой на лексикостатистические данные[3]; автор совершенно недвусмысленно дает понять, что новая генеалогическая схема является значительным шагом вперед, хотя и она не лишена отдельных недостатков и несмотря на возражения некоторых противников. Но тут возникает проблема: по новозеландской схеме украинский и русский языки (вдвоем[4]) откололись от предка польского, вместе с которым все они образуют ветвь, противостоящую другой, содержащей чешский и словацкий языки; наконец, все упомянутые языки противостоят группе с болгарским и сербохорватским языком. Здесь я не имею достаточной возможности порассуждать о правомерности такой реконструкции; важен сам факт: лексикостатистическая схема очень сильно расходится с хорошо документированной реконструкцией, сделанной традиционным сравнительным методом. Разумеется, всякому читателю захочется здесь получить разъяснения автора по поводу того, как можно разрешить эту проблему и действительно ли метод Аткинсона и Грея точнее сравнительного метода. Но мы их почему-то не находим. И более того: в следующей главе читатель с удивлением обнаруживает подробное изложение именно сравнительного метода, тогда как лексикостатистика далее вообще не рассматривается. Кроме того, удивительно и само сравнение дерева Шлейхера с новейшими напрямую, без даже упоминания каких бы то ни было других теорий (младограмматиков, волн Шмидта и т. д.).

Помимо этого, книга Клаксона изобилует и многими частными погрешностями, ошибками и опечатками. Вот некоторые из них, в основном касающиеся неточности приводимых фактов классических и славянских языков.

С. 54. Великая книга де Соссюра называлась «Mémoire sur le système **primitif** des voyelles dans les langues indo-européennes», а не «...primatif...», как дважды (в том числе и в библиографии на с. 242) утверждает автор.

С. 66. Греческое δέατο переводится Клаксоном как ‘shone’ (‘воссиял’). Надо сказать, что слово является глоссой, значение которой комментаторы скорее дают как ‘он решил’, ‘ему показалось’: ἐδόκει у Евстафия, ἔδοξε в схолиях к Гомеру, ἐβουλεύσατο у Гесихия. Значение ‘сиять’ реконструируется лишь на уровне сопоставления с индоиранским, и для греческого оно неочевидно.

С. 74. Латинский глагол *gignō* почему-то (видимо, по аналогии с греческим γίγνομαι) переводится как ‘become’ (‘становиться, происходить’) вместо ‘рождать, порождать’.

На с. 78 болгарскому языку по непонятным причинам приписано «фиксированное силовое ударение».

С. 91. «В новогреческом языке нет отдельного дательного падежа. Его грамматические функции были переняты генитивом, а его местные функции – главным образом аккузативом». В действительности в современном новогреческом языке (в димотике) генитив выполняет функцию дательного главным образом у местоимений, тогда как в основном адресативное значение передается предложной конструкцией (при этом все предлоги управляют аккузативом): δίνω γλυκά στο παιδί μου ‘даю сладости моему ребенку’. В кафаревусе (старой книжной норме) дательный падеж теоретически может встречаться и до сих пор.

На с. 93 в склонении славянского слова **МАТИ** творительный падеж обозначен как *materija* вместо *materiją* (пропущена точка под последним *a*, требуемая для адекватной передачи юса). Тут же следует отметить, что формы местного падежа от этого слова *materi* (приводимой в той же парадигме) в старославянском языке (понимаемом в строгом смысле слова) не засвидетельствовано [Вайан 2002: 137].

С. 94. Автор утверждает, что в таблице 4.2 для слова ‘небо, бог неба’ приводятся две различных реконструкции номинатива, но в действительности мы находим повторенную дважды форму **dyéw-s*.

На с. 124 в таблице спряжения глагола ‘быть’ в разных языках неверно указана пози-

[3] Там же и далее приводится и так называемое «пенсильванское дерево» Ринге, Уорноу и Тейлора [Ringe et al. 2002].

[4] Белорусского языка на схеме нет вовсе.

ция ударения в греческом 2 л. мн. ч.: *éste*[5] вм. должного *esté*. Возможно, у автора были какие-то свои соображения на этот счет, но тогда их следовало бы оговорить здесь же.

С. 144. Из таблицы 5.22 следует, что в древнегреческом языке окончания медиума для 2 и 3 л. ед. ч. и 3 л. мн. ч. были *-οι*, *-τοι* и *-ντοι* соответственно. Надо сказать, что в греческом языке эти окончания засвидетельствованы лишь в нескольких аркадо-кипрских формах и несколькими (не всегда достоверными) прочтениями микенского письма [Sihler 1995: § 434]. Корректней было бы говорить о прагреческих формах; неясно также то, отчего *-οι* во втором лице предпочтено *-σοι* и как быть тогда с формами типа *δίδωσαι*. Кроме того, в этой же таблице соединительный гласный по непонятным причинам то приписан к окончанию (*οντο*), то нет.

На с. 204 без оговорок утверждается, что в русском языке есть слова *золва* и *ятры*.

Вообще, знания, получаемые нами из книги Дж. Клаксона, выглядят какими-то уж слишком вторичными. Читатель практически не найдет мест, где бы автор внятно и доказательно высказывал свою позицию по тому или иному вопросу[6]. В большинстве случаев Дж. Клаксон уклончиво дает понять, что обе рассматриваемые им теории недостаточно хороши, но какая из них лучше, – покажет будущее; факты языков рассматриваются в основном сами по себе, без демонстрации какой бы то ни было филологической работы: складывается непреодолимое впечатление, что современный компаративист как раз и должен работать не с языками и памятниками, а с уже готовыми таблицами и схемами, где ясно сказано, какое слово в каком языке есть, а какого нет. Более того, из текста Клаксона не следует даже того, что для работы компаративисту требуется знание древних языков; получается как раз наоборот, и даже набор греческих слов латиницей, причем не всегда последовательный, еще более усиливает это впечатление. Все это делает книгу Клаксона сомнительной и в смысле ее педагогической пользы.

Таким образом, «Введение» Дж. Клаксона не может считаться ни хорошим учебником, ни полноценной научной монографией. Следует ли считать книгу совсем бесполезной? Думаю, нет. Можно выделить две категории людей, которые могли бы найти в ней пользу. Во-первых, это уже сложившиеся специалисты, освоившие компаративистику по другим работам, но интересующиеся тем, какими идеями живет современная английская научная общественность. Они легко заметят ошибки и неточности, обратят внимание на то, что сведения, получаемые из книги неполны, но также найдут и что-то новое для себя. Во-вторых, это, наоборот, неспециалисты: те, кто прежде не изучал компаративистику и не собирается заниматься ею подробно, но интересуется самыми общими сведениями о ее предмете и методе. Эти люди не заметят ошибок и неточностей, а наличие ссылок на множество неизвестных им работ и теорий вызовет у них чувство благодарности.

Но будущим специалистам книга Клаксона, к сожалению, малопригодна. Так получается, что она лишь отчасти оправдывает свое название.

[5] Все греческие слова автор приводит в латинице.

[6] Здесь было бы интересно отметить, что, к примеру, самый цитируемый в [Семереньи 1980] автор – это Семереньи (упоминаются 36 работ). На втором месте (с небольшим отрывом) стоит Е. Курилович.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ


Белов 2008 – *А.М. Белов.* Вопрос о морах // Discipuli magistro (к 80-летию Н.А. Фёдорова). М., 2008.

Вайан 2002 – *А. Вайан.* Руководство по старославянскому языку. М., 2002.

Гамкрелидзе, Иванов 1984 – *Т.В. Гамкрелидзе, В.В. Иванов.* Индоевропейский язык и индоевропейцы. Тбилиси, 1984.

Иллич-Свитыч 1971–1984 – *В.М. Иллич-Свитыч.* Опыт сравнения ностратических языков. М., 1971–1984.

Мейе 1938 – *А. Мейе.* Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М.; Л., 1938.

Семереньи 1980 – *О. Семереньи.* Введение в сравнительное языкознание. М., 1980.

Beekes 1995 – *R. Beekes.* Comparative indoeuropean lingustics. An introduction. Leiden, 1995.

Fortson 2004 – B.W. Fortson. Indo-European language and culture. An introduction. Oxford, 2004.

Gamkrelidze, Ivanov 1995 – *T.V. Gamkrelidze, V.V. Ivanov.* Indo-European and the Indo-Europeans. Berlin; New York, 1995.

Gray, Atkinson 2003 – *R.D. Gray, Q.D. Atkinson.* Language-tree divergence times support the Anatolian theory of Indo-European origin // Nature. 426 (6965). 2003.

LIV 2001 – Lexikon der indogermanischen Verben. 2. Aufl. Wiesbaden, 2001.

Mallory, Adams 2006 – *J.P. Mallory, D.Q. Adams.* The Oxford introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European world. Oxford, 2006.

Meier-Brügger 2003 – *M. Meier-Brügger.* Indo-European Linguistics. Berlin; New York, 2003.

Ringe et al. 2002 – *D. Ringe, T. Warnow, A. Taylor.* Indo-European and computational cladistics // Transactions of the philological society. 100. 2002.

Sihler 1995 – *A. Sihler.* New comparative grammar of Greek and Latin. New York; Oxford, 1995.

Szemerényi 1996 – *O. Szemerényi.* Introduction to Indo-European linguistics. Oxford, 1996.

*А.М. Белов*

***D. Wodtko, B. Irslinger, C. Schneider.*** **Nomina im indogermanischen Lexikon.** Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 2008. LXXX + 863 S.

Одна из составляющих частей международного проекта «Индоевропейская грамматика» – тема «Индоевропейское имя», разрабатываемая в Институте общего и индоевропейского языкознания Фрайбургского университета под руководством проф. Эвы Тихи[1]. В 2001 г. этой теме было посвящено заседание Индогерманского общества, по результатам которого выпущен сборник [IN 2003]. И надо отметить, что характерной чертой современной индоевропеистики является стремление воспроизвести сумму имеющихся знаний в словарной форме. Так, в том же Фрайбургском университете под руководством покойного Х. Рикса опубликован «Lexikon der indogermanischen Verben» (LIV; 1998; исправленное и дополненное издание – 2001). Этот словарь (к сожалению, не отрецензированный в свое время в России), несмотря на неизбежную дискуссионность отдельных положений, приобрел статус классического труда; в настоящее время на него ссылаются не реже, чем на словарь Покорного. Большую ценность представляет вступительная статья, написанная самим Х. Риксом: в ней впервые после Бругмана представлена полная классификация индоевропейских глагольных основ и перечислены глагольные корни, образующие тот или иной тип презенса и аориста[2].

Новый словарь фрайбуржцев создан во многом по модели LIV. Вступительную статью написала руководитель коллектива Д. Водтко; у каждой словарной статьи есть свой автор, и мы в дальнейшем будем их именовать инициалами, как они и обозначены в издании (ДВ – Д. Водтко, БИ – Б. Ирслингер, КШ – К. Шнайдер). Заглавным словом каждой статьи является индоевропейский корень, описанный, как правило, и по Покорному, и по LIV. Затем перечисляются по возможности все корневые и производные имена этого корня. В особый раздел («Einzelheiten») выносятся дериваты, встречающиеся только в одной группе языков. Для подачи материала такая структура, безусловно, идеальна. Она дает представление обо всех словообразовательных гнездах данного корня. И в отечественной литературе уже появилась высокая оценка словаря [Герценберг 2009].

Однако, решив обозреть все богатство индоевропейской именной деривации, авторы столкнулись с весьма непростой задачей: материал оказался слишком обширен. В словаре рассмотрено свыше 10 000 дериватов от 207 корней, – притом, что у Покорного приведено около 2000 корней, и только от меньшинства корней (прономинальных и служебных) не образуется имен[3]. Очевидно, обозрение всех именных форм индоевропейского словаря – едва ли выполнимая задача. Она потребовала бы книги, превосходящей рецензируемую в

[1] Проект был основан Е. Куриловичем, написавшим для него второй том (аблаут и ударение, [Kuryłowicz 1968]). Затем появился третий том (глагольная флексия), написанный К. Уоткинсом [Watkins 1969]; затем – первый (фонетика), созданный У. Каугиллом и М. Майрхофером [Cowgill, Mayrhofer 1986]. В настоящее время проект возглавляет А. Баммсбергер; в его рамках, помимо Фрайбурга, работает группа ученых из Кельна под руководством Х.Л. Гарсия Рамона (глагольные основы, времена и наклонения), Вюрцбурга (руководитель Х. Хеттрих, индоевропейский синтаксис).

[2] О значении классификации Бругмана и Рикса, а также некоторые критические замечания см. в [Красухин 2005].

[3] Говоря точнее, и от них образуются притяжательные прилагательные (**meio-* ‘мой’, **t(u) uo-i* ‘твой’, **nōs-tro-, -io-, *ns-ro-, *ns-mos-ko-* ‘наш’, **uōs-tro-,-io-; *ius-ues-, *ius-mos-ko-* ‘ваш’). Но их описание, конечно, должно присутствовать в ином издании, посвященном местоимениям. То же можно отнести и к порядковым числительным. Другое дело – лат. *quies* ‘покой’, гот. *hveila* ‘время, час’. Кажется вероятной их связь с прономинальным **kʷei-* [Gonda 1975; ср. Wallace 1986]. Корень, обозначавший сначала неопределенность, вполне возможно, присутствует и в именах со значением временной протяженности, т.е., в общем, существования. И этот вопрос заслуживал бы обсуждения в рецензируемой книге.

7–8 раз по объему. Ясно, что отбор материала был неизбежен; осознавая это, ДВ отмечает в предисловии: «Если представленная здесь выборка индоевропейских имен побудит и поспособствует дальнейшей работе исследователей с данным словесным запасом и многими другими, не рассмотренными здесь корнями, цель книги будет достигнута» (с. XXX). Сразу замечу, что такой представительный корпус, безусловно, отвечает этой цели. Но одновременно возникает вопрос о критериях и методологических основаниях отбора и интерпретации материала.

Обратимся сначала к предисловию ДВ. Автор подчеркивает, что задача всего коллектива состояла не в обосновании какой-либо теории происхождения и развития индоевропейского имени, но в максимальном представлении индоевропейского наследия в области имени. Меньшая часть имен (корневые и ряд дериватов – такие, как **ph₂tér* 'отец', **néuo-* 'новый') может быть непосредственно возведена к индоевропейскому прототипу; у большинства же имен морфологические и семантические характеристики могли существенно измениться в отдельных языках и группах.

Небольшой раздел посвящен классификации именных суффиксов. Автор говорит о корневых именах, отмечая, что по большей части они имеют абстрактное значение, тогда как агентивное развивается в композитах и префиксациях. ДВ ссылается на работу [Scarlata 1999]. Но это старое мнение, высказанное еще в классических трудах [Chantraine 1933: 3–4; Debrunner 1954: 15–18][4]. Однако его трудно признать справедливым. С одной стороны, в композитах действительно основы могут приобрести конкретное и агентивное значение (ср. русск. *рок – пророк*, лат. *ops* 'сила' – *inops* 'бессильный'[5]); с другой – в санскрите, древнегреческом, латыни есть множество вполне конкретных симплексов. С другой стороны, немало и композитов с абстрактным значением: др.-инд. *pra-díś* 'поручение; пространство', *sam-sád* 'встреча', *sam-víd* 'свидание'; греч. *πρόσθη· πρόσθεσις* (Гезихий) 'установка' и т.д. Таким образом, «конкретизация» основ в композитах – не закон, а лишь тенденция, и трудно представить, чтобы именно она могла сформировать внушительный класс агентивных симплексов. Неоднозначность корневых имен (способность выражать и деятеля, и процесс, и результат действия), по-видимому, присуща им изначально. Гипотезы о причинах ее будут рассмотрены ниже. Далее ДВ кратко упоминает о гетероклитиках (которые действительно оказываются во многом близкими к корневым именам), именах на *-n*, а также с комплексным суффиксом *-men-/-mon-* (и латинским *-mentum*, являющимся расширением простого *-men-*), а также об «индивидуализирующих» именах с суффиксом, который авторы восстанавливают как **-h₃on*. Из контекста не вполне ясно, о чем идет речь, т.к. примеры не приводятся. Вероятно, ДВ имеет в виду тот суффикс, который присутствует в италийских именах типа *Nasō* (*nasum* 'нос'), *Pisō* (*pisum* 'горох'), *Cicerō* (*cicer* 'боб'). Но реконструкция ларингала здесь не выглядит обоснованной. Конечно, во всех этих именах *-ō-* сохраняется в косвенных падежах. Однако трудно предположить, что в имени *homō* 'человек' присутствует иной суффикс; в статье **dʰégʰ-om* 'земля' (ДВ) праформа латинского имени приводится без всякого ларингала (**dʰĝʰ(m̥)m-e/on-*). Правда, в примечании указана работа [Peters 1980: 188], где рассматривается вопрос о ларингале[6]. Попутно отметим, что восстановление здесь *-m-* дискуссионно. С одной стороны, его наличие объясняет вокализм ст.-лат. *hemōnem* (**ghm̥mōn-m*); с другой стороны, непонятно возникновение удвоения *-mm-*. Возвращаясь к нашему суффиксу, укажем также на *πίων* (род. п. *πίονος*) 'жирный' (производное от *πῖαρ* 'жир'), вед. вин. п. м. р.*pī́vānam* (*-ā-* < **-ŏ-* по закону Бругмана) и ж. р. *pī́varīs* (вин. п. мн. ч.) с абстрактным именем *pī́vas*; *rā́jān* 'царь' – род. п. *rā́jñas* (ср. корневое имя *rāj*, лат. *rēx* 'то же', абстрактное имя – авест. *rāzarə* 'царство, власть'[7]). Очевидно, поначалу этот суффикс имел в слабых падежах нулевую ступень во-

[4] Книга Шантрена есть в библиографии; странным и необъяснимым пропуском выглядит отсутствие классической работы Дебруннера.

[5] Имена bāhuvrīvi типа *носо-рог*, *долго-нос* и т.д. мы здесь специально не рассматриваем.

[6] А.С. Николаев обратил мое внимание на работы [Hoffmann 1955/76; Pinault 2000]. К. Хофман выделил особый суффикс **-əon-* со значением принадлежности, отношения к чему-либо. Наличие ларингала может объяснить долготы в формах типа авест. *mąθrā* 'знаток речений' с сохранением долготы в слабых падежах: gen. *mąθrāno*, dat. *mąθrāne*. Ж.Ж. Пино полагает, что здесь имеет место именно **-h₃-*, предлагая подробное, но не всегда убедительное обоснование этого утверждения. По мнению Пино, этот суффикс есть грамматикализация самостоятельного корня **h₃en-* 'genießen' (ср. греч. ὀνίνημι 'быть полезным').

[7] На значимость этой формы для морфологии *rā́jan* обратил внимание П. Видмер [Widmer 2004: 64–65]. По-видимому, имя с назальным суффиксом – субстантивированное прилагательное.

кализма, затем основа выровнялась. Таким образом, долгота гласного перед *-n-* в латинских именах может быть только вторичным явлением, по аналогии с формой им. п[8].

Далее ДВ упоминает еще 8 типов основ: основы на *-r-* (с производными *-ter-/-tor-*), имена на *-l-* с производным славянским именем деятеля **-tel-* (рассматриваемым как полный аналог **-ter-*), имена на *-i-* – как самостоятельные, так и первые части композитов. Аблаутный вариант тех же суффиксов представлен в именах на **-oi-* (греч. *-ώ*); впрочем, реконструкция этого типа не вполне ясна из-за ограниченности материала (греч. *ἠχώ* 'эхо', *φειδώ* 'бережливость', *πειθώ* 'убеждение', *πευθώ* 'весть'; однако класс *-ai-*, род. п. *-aias* довольно продуктивен в хеттском [Kronasser 1966: 204–208][9]).

Производный тип **-ti-* характерен для корней в ступени *e* или 0; ступень *o* или продленная практически отсутствуют (м. б. только в слав. *в,сть*). Он же лег в основу балто-славянского инфинитива. От суффикса *-u-* производен суффикс *-tu-*, который тоже принимает участие в образовании инфинитива (в древнеиндийском) и супина (в латыни и славянском) и конъюнктива в литовском. Впрочем, ДВ полагает, что эти формы слишком грамматикализованы и не всегда могут точно отражать индоевропейские прототипы.

Формы на *-H-* в чистом виде не встречаются; этот суффикс засвидетельствован только в составе **-aH-* (см. ниже) и **-ih$_2$-* (др.-инд. тип *devī́*); тип же *vrkī́* может воспроизводить вариант **-iH- ~ *-ih$_1$-* (т. е. соотноситься с именами типа лат. *materies*). Несколько производных есть от суффикса **-s-*. Во-первых, существуют аблаутные варианты **-os-/-es-*, причем ДВ ссылается на работу [Stüber 2002: 25], где первый вариант определяется как позднеиндоевропейский показатель коллективности. ДВ достаточно сдержанно оценивает эту гипотезу, справедливо полагая, что речь идет скорее об инновациях отдельных языков. Попутно отметим, что абстрактно-собирательное значение спорадически может возникать у любых имен среднего рода: др.-инд. *mitrá* 'друг' – *mitrám* 'дружба'; *párśu* 'ребро' – *pārśvám* 'реберная область'; греч. *λοιπός* 'оставшийся' – *λοιπόν* 'будущее'.

Соединением суффиксов **-u-* и **-s-* является перфектный причастный суффикс **-u̯es-* (с гетероклитикой **-u̯et-*). ДВ упоминает реликтовые формы типа гот *weitwops* 'свидетель', др.-ирл. *brigu* 'возвышенный'. Заметим также, что этот суффикс регулярен в славянском (*-въ*, *-въши*) и, по-видимому, в оскском (*sipus* 'узнавший'). Его следы есть в балтийских языках (лит. *siutios žmones* 'бешеные люди' – *siùsti* 'яриться' [Ambrazas 1978: 15]). Суффикс **-t-* встречается в таких именах, как **ne/og$^{u}$-t-* 'ноготь'. Такие имена по значению и морфологии вполне подобны корневым.

Наконец, отмечается и суффикс **-nt-*, образующий причастия. Этот суффикс также определяется как составной. Автор классической (и пропущенной в библиографии) работы об этом суффиксе Г.Р. Солта [Solta 1958] считал, что он представляет собой расширение суффикса **-on-*. Это весьма убедительно обосновано такими формами, как греч. *περικτίονες* 'соседи, жители окрестностей', *ἀμφικτίονες* 'то же'. Это древние производные от корня **ḱei-* 'жить, обитать; обладать' (др.-инд. *kṣéti*), который в греческом представлен в производном *κτίζω*, но в микенском сохранилась форма *kitijesi* (PY Na 520) *κτιενσι* 'они выращивают(?)'. От такого корня причастие могло выглядеть как **κτιών, -όντος* (= вед. вин. п. *kṣiyántam*); форма *-κτιον-* демонстрирует связь имен на *-on-* и *-ont-*. Отметим также обстоятельную работу Ф. Юзефсона [Josephson 2004], в которой показана изначальная многозначность данного суффикса: в хеттском языке, к примеру, он образует активные причастия при непереходных глаголах и пассивные – при переходных (*appanza* 'захваченный', *kunanza* 'убитый'). Кроме того, в хеттском этот суффикс образует имена одушевленные и агентивные (о чем см. [Laroche 1962]), производные (*ānza* 'единица' от и.-е. **oi-* 'один'), «субъектные» (*irmananza* 'болезнь' – *irmananza apatar-set* (KUB XXXVII 190 Rs. 9), дословно 'болезнь свое заражение' (= заразная болезнь) в отличие от оборота *kurur appatar* 'враждебность, агрессия', дословно «взятие вражды», где *kurur* играет роль объекта). Юзефсон сравнивает данный суффикс с английским *-ing-*, также отличающимся многозначностью. В хеттском же суффикс *-ant-* играет как лексическую роль, так и синтаксическую, выражая субъект, прежде всего в конструкциях со значением активного действия. Конечно, в рецензируемом словаре хотелось бы видеть мнение составителей и по данным вопросам.

Соответственно корневые и многие производные атематические имена находят тематические параллели. Из тематических суффиксов

---

[8] Следовательно, перед нами многоступенчатый процесс выравнивания основ. Ср. греч. *χθών – χθονός* 'земля' в сравнении с др.-инд. *kṣā́m – kṣmás*. О выравнивании основ по номинативу см. [Красухин 2007].

[9] И эта выдающаяся, отнюдь не утратившая своего значения монография отсутствует в списке литературы.

упоминаются **-ro-/-ero*, **-lo-/-elo-*, **-to-/-eto-*, **-io-*, **-uo-*, **-ko-*, а также суффиксы nominum instrumenti **-tro-/-tlo-*, **-dʰro-/-dʰlo-* и ларингальный **-eH-*, справедливо определяемый как собирательный.

На наш взгляд, было бы целесообразно не просто дать этот перечень, а хотя бы кратко охарактеризовать функцию соответствующих суффиксов. Так, имена на *-t* могут выступать как nomina actionis (хетт. *aniiatt-* 'дело'), имена результата (греч. *δαίς* 'пир' – *δαίομαι* 'делить'), деятеля (*πλανής* 'бродяга' – *πλανάω* 'бродить') [Chantraine 1932: 265–267]. Имена на **-tó-* суть их аблаутно-акцентные варианты (др.-инд. *devaśtút* 'славящий богов' – *śtutáḥ* 'хвалимый'). Понятно, что описать систему именных суффиксов сложнее, чем систему глагольных. Первые относятся к области словообразования, вторые по большей части – к области словоизменения. Поэтому именные суффиксы гораздо более многозначны, чем глагольные[10]. Тем не менее, стоило бы дать краткий обзор. При этом случаи грамматикализации необходимо указать не выборочно (инфинитив, супин, литовский конъюнктив), а полностью. К примеру, имена на **-(e/o)lo-*, могут обозначать деятеля (лат. *fingere* 'лепить' – *figulus* 'гончар'), орудие (*iaculum* 'копье' — *iacere* 'бросать'[11]), активные и пассивные прилагательные (*bibere* 'пить' – *bibulus* 'любящий выпить; годный для питья; впитывающий влагу); в славянских языках они функционируют как результативные причастия (изначально страдательные: польск. *priniosły* 'принесенный', *rozwiazły* 'развязанный')[12]. Они легли в основу славянского перфекта. Имена на **-to-/-no-* во многих языках являются медиопассивными причастиями; оба суффикса нередко чередуются (нем. *gewoben/gewebt* 'сотканный', лит. прилагательное *pìlnas* 'полный' – причастие *ìpiltas* 'насыпанный, наполненный'). След подобных чередований в латыни, возможно, отразился в удлинении корневого согласного у некоторых страдательных причастий (закон Лахмана [Откупщиков 1967]). Попутно отметим существование небольшого числа абстрактных баритонных имен на *-to-*: греч. *κύρτος* 'кривизна' – *κυρτός* 'кривой', *πότος* 'попойка' – *ποτός* 'пьяный'.

Большой интерес представляет не отмеченный авторами параллелизм дентальных именных суффиксов и глагольных флексий 3 л.: **-t* – «вторичное» (немаркированное) окончание 3 л., **-tó* – окончание медия и суффикс медиопассивного причастия, **-ti* – «первичное» (презентное) окончание и суффикс «объективного» имени деятеля, **-tu* – 3 л. императива и суффикс «субъективного» имени, грамматикализирующийся в показатель финального инфинитива и супина. См. о деталях реконструкции: [Benveniste 1948; Laroche 1975; Красухин 1987; Stempel 1996: 62–63].

В особый раздел предисловия выделено описание аблаута и акцента в именах. Это действительно очень важный вопрос. Дело в том, что в именах происходили процессы аналогического выравнивания ступеней вокализма и иммобилизации акцента, что делает восстановление первоначальных черт этимона весьма сложной задачей. ДВ обращает внимание на такие формы, как **gʷm̥-ti-* и **gʷém-tu* (абстрактные имена от **gʷem-* 'идти'). Варианты **gʷm̥-téi-*, **gʷm̥-téu-* встречаются только в косвенных падежах, вариант **gʷém-ti-* вообще не засвидетельствован, в отличие от **gʷém-tu-*, представленного в др.-инд. *gántu* 'ход, бег' (+ инфинитив *gántave*), возможно, и лат. *ad-ventus* 'приход'. С другой стороны, лат. *adventūs*, вед. *gántoh* предполагают праформу **gʷént-eu*, хотя и.-е. аблаут требовал бы скорее **gʷm̥-téu-*. Таким образом, хотя формы **gʷém-ti-/gm̥-téi-*, *gʷm̥-téu-* больше соответствуют правилам и.-е. аблаута и акцента, приходится описывать в словарных статьях те, что соответствуют реально засвидетельствованным (др.-инд. *gáti*, греч. *βάσις* < **gm̥-ti-*). Верные принципу описания, а не теоретизирования, авторы ограничиваются указанием на тип спряжения только данных, пусть и характерных имен. Вместе с тем проблема, многократно обсуждавшаяся в литературе, заключается в том, что рефлексы отдельных этимонов в отдельных языках меняют свои аблаутные характеристики. Этому вопросу, в частности, посвящены монографии А. Нуссбаума [Nussbaum 1986] и П. Видмера [Widmer 2004]. В последней из них прямо ставится вопрос о взаимоотношении др.-ирл. *ith* 'зерно' (< **pitu-*) и *iath* 'поле' (**peitu-*). Исследованию этого и посвящен у Видмера подробный анализ внутренней деривации (к которой мы еще вернемся). Этот анализ осуществлен с точки зрения Эрлангенской школы.

В этой связи отметим и досадный пропуск в обсуждаемом словаре. Говоря о суффиксе **-tér-/-tor-*, авторы не упоминают о его варианте **-tr̥-#* (с 0 ступенью). Он присутствует

---

[10] О соотношении словообразования и словоизменения см. [Панов 1956; Dressler 1989].

[11] Также можно отметить *baculum* 'палка' в сравнении с греч. *βάκτρον* 'то же', *βακτήριον* 'посох'. Согласно Шантрену [Chantraine 1932: 331], это общеиндоевропейское слово с вокализмом *a* (ср. также др.-ирл. *bacc*), относящееся к «народному» словарю.

[12] Особая проблема – модальное значение подобных прилагательных, которые в оскском языке легли в основу футурума: *ampelust* 'impenditō', *entelust* 'intenditō'.

на периферии древнегреческого словообразования: *θέλκαρ* (**θέλκ-ταρ*)· *θελκτήριον* (Гезихий) 'колдовство'[13], а в хеттском он регулярно образует абстрактные имена: *huiszi* 'жить' – *huisuatar* 'жизнь', *paprizzi* 'грешить' – *papratar* 'грех'. Эта форма гетероклитическая (род. п. *huisuannas*, *paprannas*, *-nna-* < **-tno-*), вариант **-tno-/-teno-* также распространен в индоевропейском словообразовании. Ее варианты суть следующие: во-первых, хеттский инфинитив II: *ekuzi* 'пить' – *akuuanna* 'чтобы пить', во-вторых, греческие имена типа *βάτνος· αὐλός* (Гезихий) 'трубка' или 'струя' (*βαίνω* 'приходить'; *βατήρ* 'постамент'[14]); древнеиндийские прилагательные типа *cyautná* 'колеблющий', существительные *rátnam* 'богатство'; в-третьих, литовские герундивы типа *dirbtinas* 'должный быть сделанным' (*dìrbti* 'работать'); ср. также слав. *прііа-тьнъ*, *понѧ-тьнъ* [Krasuchin 2003: 96–98]. Таким образом, за пределами рецензируемой книги остался небольшой, но важный для реконструкции именной морфологии класс. Он наглядно показывает взаимоотношение полной и нулевой ступени корня и суффикса, гетероклизис в производных основах.

Также, говоря о суффиксах **-men-/-mon-*, следовало бы упомянуть и о суффиксе нулевой ступени **-mn̥-#* (имена действия) и **-mno-* (прилагательные). Правда, ДВ упоминает об абстрактном суффиксе **-men-*, но целесообразно было бы привести такие параллели, как греч. *πολυπράγμων* 'много делающий' – *πρᾶγμα* 'дело', *δάγμνος· οἶκτρος* (Гезихий) 'вопль' – *δάγμα*, *δῆγμα* 'укус' (в статье **denḱ-* приведены только два последних имени), *βραδυβάμων* 'медленно идущий' – *βῆμα* 'шаг'[15]. Имена на *-mno-* вообще не упомянуты (хотя этот суффикс довольно продуктивен в греческом и древнеиндийском, его следы есть и в латыни[16]), имена на **-mn̥-#* – упоминаются в одном контексте с **-men-*, но ряд важных морфологических и апофонических деталей, как видим, при этом оказался упущен.

Д. Водтко ставила перед собой, очевидно, более простую задачу: обосновать схему построения словаря. Но ведь и она требует определенного принципа отбора словарного материала. Поэтому и для такой, выглядящей скромно, цели необходима классификация именных суффиксов, учитывающая как формальные (морфологические, морфонологические), так и семантические критерии. Вообще рассмотрение любых фактов вне какой-либо теории невозможно. Всем известны так называемые загадочные картинки, смысл которых меняется в зависимости от восприятия смотрящего. И составители рецензируемого словаря на самом деле не так свободны от теории. Они тоже описывают индоевропейский корнеслов и именную деривацию в рамках Эрлангенской школы, хотя и не слишком явно: авторы говорят об «акродинамических», протеро-, гистеро- и амфикинетических именах. Приведу лишь один пример того, как теория должна помочь классифицировать материал. Поскольку в индоевропеистике уже 60–80 лет присутствует эта терминология[17], то желательно было бы использовать и эти характеристики в описании каждого деривата. Более того, именно учет всех вариантов позволяет иногда построить правдоподобную модель развития аблаутно-акцентных отношений в определенном классе имен. Иными словами, в словаре рассматриваемого типа хотелось бы видеть краткое описание индоевропейских суффиксов в их соотношении и развитии. Оно может быть сделано с учетом любой теории; для корректности целесообразно было бы упомянуть и конкурирующие концепции. Очевидно, такую работу авторы намерены представить в томе «Indogermanisches Nomen» [IN 2003]. Но рецензируемый словарь был бы самым подходящим местом для предварительной публикации идей его составителей. Это превратило бы его из простой и отнюдь не полной сводки материала в исследование динамики именной деривации, что, собственно, и должно являться целью подобного издания.

Чтобы показать значимость динамического подхода, рассмотрим имена на **-tu-*. Авторы совершенно правы, относя имя **gʷém-tu* к протеродинамическому классу: вед. *gántu* имеет аблатив и генитив *gántos*; латинский генитив *adventūs* может восходить только к **-tous* (< ***-teus*). Но вопрос о полной ступени корневого вокализма, имплицитно заданный авторами, сохраняется. Для ответа на него и необходимо

[13] Это имя четко корреспондирует с *θέλκτωρ* 'колдун'.

[14] Имя *βατήρ* упомянуто (с. 175, корень **gʷem-*), *θέλκτωρ* – нет.

[15] В статье **gʷeh₂-* упомянуто только *ἱπποβάμων* 'сидящий на коне, использующийся как конь' с долгим α. Но в имени *βραδυβάμων*, засвидетельствованном у Аристотеля, этот гласный может быть только кратким (иначе бы имя звучало как **-βημων*). Следовательно, мы имеем дело с сохранением старого аблаута (**gʷéh₂-mn̥- > βῆμα / *gʷh₂-món- > -βάμων* с последующей рецессией акцента) и выравниванием по аналогии (*-βάμων*).

[16] Ср. еще греч. *κρημνός* 'круча' (*κρέμαμαι* 'висеть'), др.-инд. *dyumnám* 'свет' (*divyate* 'сиять, играть'), лат. *alumnus* 'рожденный, вскормленный' (*alere* 'кормить').

[17] Ее начало ведут от выдающихся работ [Pedersen 1926; Kuiper 1942].

описать аблаутные и акцентные черты по возможности всего класса на *-*tu*-. В Ригведе к нему относятся в общей сложности 81 имен: 56 на *-tu*, 21 – *-atu*, 4 – *ītu*[18]. Большинство из них встречаются в корпусе по одному или несколько раз; мы учитывали, естественно, только слабые падежи. Среди них встретились как протеро-, так и гистеродинамические имена. Так, от имени *ṛtú* 'подходящее время' образован генитив *ṛtós*, номинатив мн. ч. *ṛtávas*, *gántu* – *gántos*, *aktú* 'ночь' – генитив *aktós*, датив *aktáve*, *jantú* – ген. *jantós*, дат. *jantáve*, *hetú* 'причина' – *hetós*, *tanyatú* 'гром; грохочущий' – *tanyatós* (во втором значении), *vástu* 'утро' – *vástos* (как правило, в значении «утром»), *vā́stu* 'жилище' – *vā́stos*, но производное *suvā́stu* (название реки, дословно 'находящееся в хорошем месте') имеет генитив *suvā́stvas* (VIII 19, 37). К тому же типу относятся прилагательное *tridhā́tu* 'тройной' (*tridhā́tavas gā́vas* (V 47, 4) 'наделенные тройным благом коровы'; первичное имя *dhā́tu* 'часть'); *yātú* 'волшебство; демон' (N. pl. *yātávas* (V 37, 5) во втором значении), *sváitu* 'идущий своим ходом' – *sváitavas* (V 41, 9); *tántu* 'нить' – *tántavas*, *mántu* 'совет' – *mántavas* (и композит *amantávas* (X 125, 4) 'не понимающие'), а также гапаксы: N. pl. *durdhártavas* (V 87, 9) 'неудержимые'; Dat. sg. *duṣṭárītave* (II 21, 2) 'непобедимому'. С другой стороны, наречие *kṛ́tvas* 'раз', образованное от **kṛ́tu*, явно предполагает гистеродинамическую флексию. Такое же окончание в *pitvás* – генитиве и аблативе от *pitú* 'питье' (в общей сложности 9 раз – аблатив, поссессивные и партитивные генитивы). Весьма интересно имя *krátu* 'сила': от него засвидетельствован один генитив *krátos* и два – *krátvas*; один датив *krátave* – 9 *krátve*. Среди композитов отметим гистеродинамическое *śatákratu* (Voc. Pl. *śatakratvas* 'о стосильные' в X 97, 2) и протеродинамическое *simhā́ ná hesákratavah* 'словно мощно рычащие львы' (III 26, 5). Итак, налицо две тенденции: преобладание гистеродинамических вариантов там, где есть дублеты[19], и колебание композитов с конкретно-адъективным значением, образованных от абстрактных имен. Все вместе позволяет обрисовать картину развития протеродинамического типа. Он явно поначалу характеризовал имена с конкретным и адъективным значением, как правило, окситонные[20]. Напротив, nomina actionis на *–tu*- изначально склонялись как гистеродинамические. И затем протеродинамический тип стал преобладающим (в послеведическом санскрите встречается только он). В именах на *-ti*- следов старого склонения уже не осталось, в именах на *-tu*- они есть.

Обратимся к греческому материалу. Здесь имена на -τυ- склоняются исключительно по гистеродинамической модели; у подавляющего их большинства ударение стабилизировалось на суффиксе. Вследствие этого сформировался генитив *-ύος*: *ἀγορητύς* 'дар красноречия' – *ἀγορητύος*, *βοητύς* 'крик' – *βοητύος*, *βρωτύς* 'еда' – *βρωτύος* и т.д. [Chantraine 1932: 290–292]. Единственное, но очень показательное исключение – *ἄστυ* 'город', сохранившее баритонезу и, по-видимому, являющееся полной этимологической параллелью др.-инд. *vā́stu* 'жилище'. От него образуется протеродинамический генитив *ἄστεως* (*ϝᾰ́στηϝος*), но архаичный генитив отразился в деривате *ἀστός* (*ϝᾰ́στϝός*) 'горожанин' с впечатляющей параллелью *vā́stos* (**uāsteus*) и *suvā́stvas* в Ригведе. Не вдаваясь в дальнейшую дискуссию, отметим здесь варианты и имен на *-ti*-: помимо *φύξις* 'бегство' (р. п. *φύξεως*), засвидетельствовано имя и с полной ступенью вокализма *φεῦξις* (Soph. Antigona 362). Возможно, здесь мы имеем след исконного аблаута **bhéug-ti-/ *bhug-téi-*, постулируемого всеми исследователями протеродинамического склонения. Такой аблаут представляет собой четкую параллель к др.-ирл. *ith/iath* < **pitu-/peitu-* (см. выше). На различные ступени корневого вокализма имен на **-ti-*, **-tu-*, **-to-* обратил внимание и Б. Вайн [Vine 2004]. Такие имена, как *νόστος* 'возвращение', авест. *sraota* 'звук' (**kleu-to-*) суть поздние абстрактные формы, подобные типу *τόμος*; имена же на **-ti-/-tu-* образуют менее регулярные аблаутно-акцентные модели в словоизменении.

Наконец, в хеттском существительные на *-i-*, *-u-*, как правило, склоняются по гистеродинамической модели, прилагательные – по протеродинамической [Kronasser 1966: 203–208; 250–253]. Итак, вместо простой ссылки на протеродинамическое склонение имени *gantu* целесообразнее было бы описать сложное взаимоотношение протеро- и гистеродинамических основ.

Следует указать также на литературу, не полностью проанализированную авторами, трактующую аблаут и акцент в деривации. Так,

---

[18] Учитывались и первичные имена, и композиты; последние иногда демонстрируют иную аблаутно-акцентную модель, чем симплексы.

[19] Эта же черта свойственна и иным именам на *-u-/-eu-* в ведическом. См. [Miller 1967; Красухин 1998].

[20] Здесь мы опускаем многие важные детали. В литературе, указанной в прим. 4, содержатся аргументы в пользу того, что так называемые протеродинамические имена с ауслаутом основы на *-i-, -u-* в действительности заканчивались на ударный дифтонг (**-éi-*, **-eu-*).

в упомянутой книге А. Нуссбаума [Nussbaum 1986] подробно рассмотрены дериваты корня **ker(H)-*, имеющего два основных значения: «голова» и «рог» (а также производные: «вершина, череп» и т.д.). Автор показывает, как различные варианты корня приобретают то или иное значение: «рог» – **~oru-* (авест. *sruua-*; производные греч. *κόρυς*, *κόρυθος* «шлем», *κορυφή* «вершина»), **kérh$_2$-* (греч. *κέρας*), так же и варианты с 0 ступенью корня: **~ k̥rn-g-ó-* (др.-инд. *śṛngá-*); «голова» — **~ k̥r-s-eh$_2$-* (греч. *κάρη*, род. п. *κράατος* < **~ k̥rsh$_2$-n̥tós*), **(ki)k̂r-en-* (др.-инд. *śirṣā́n*) и т.д. Ср. также хетт. *karāuar* 'рог' (< **k̂r-eh$_2$-u(o)r*: 0 ступень без вокализации сонанта). В работе Нуссбаума показано, что аблаутно-акцентные характеристики имен могут меняться, особенно, если речь идет о многосложных суффиксальных формах. И в рамках склонения, и в рамках словообразовательного ряда в таких именах ударение может фиксироваться, а вокализм той или иной морфемы – обобщаться. Автор говорит о замене акростатических парадигм на протеродинамические, гистеродинамических на амфикинетические, рассматривая этот процесс как способ деривации: акростат. **ĝónu-* – протерокинет. *ĝnéu-/ĝnu-* [Ibid.: 91] гистерокинет. *πατήρ* – амфикинет. *ἀπάτωρ* [Ibid.: 137].

В этом отношении шаг вперед представляет и работа П. Видмера [Widmer 2004]. Автор рассматривает взаимоотношение между различными аблаутными моделями имен с точки зрения их внутренней деривации, под которой подразумевается взаимоотношение существительного / прилагательного, имени предмета / имени свойства, имени класса / имени принадлежности к классу; единичного имени / коллективного имени. Видмер строит следующую последовательность [Ibid. 62–68]. 1. Акростатическое имя с количественным аблаутом (*ē/ĕ*) → акростатическое имя с качественным аблаутом (*o/e*): **uḗsu* 'добро' → *uósu* 'добрый'. 2. Акростатическое имя с качественным аблаутом → протеродинамическое имя: **kr$^{é}_{ó}$tu-* 'сила, власть' → **kr(o)tú-*, *-éu-* 'сильный'. 3. Протеродинамическое имя → гистеродинамическое имя: **ĝénos-* 'род' → **ĝenes-* '(у) рожденный'. 4. Акростатическое имя → амфикинетическое имя: (**rēg$^{r}_{n}$-* 'царство' → **regōn* 'царь', см. прим. 7. Конкретные детали этой схемы вызывают определенные возражения. Автору обзора, к примеру, представляется, что корневых акростатических имен не существует, а имеющиеся примеры допускают иное объяснение [Красухин 1998; 2005]. Далее, не все характеристики имен в примерах Видмера представляются адекватными. Например, вед. *krátus* (род. п. *krátvas* и – реже – *krátos*) является не акростатическим, а гистеродинамическим. Производные имена типа греч. *γένος и εὐγενῆς* с их стабильным ударением нельзя характеризовать как протеро- или гистеродинамические. То же можно сказать об авест. *rāzarə* / вед. *rājān*. Вообще все примеры Видмера с морфологической точки зрения едины: они образованы путем перемещения ударения на конец основы. Мы предполагаем здесь действие общего закона правостороннего передвижения акцента.

Вообще, актуальной проблемой изучение аблаута и акцента, прежде всего в имени, является разграничение имен с подвижным ударением и имен с вторичной иммобилизацией акцента и с сохраненным аблаутом. Таковы имена типа греч. *ψεῦδος* 'обман' – *ψευδής* 'лживый', др.-инд. *ápas* 'дело, работа' – *apás* 'деятельный'. Формы род. п. у них неизменно оканчиваются на **-os/-es*, что является динамической чертой. Тем не менее, ударение стабильно, как и апофония суффикса: ни то, ни другое не меняется при склонении. Таковы же баритонные и окситонные имена деятеля на **-tor-* и **-tér-*, в отличие от имен родства на **-ter-*, где ударение подвижно, и апофония суффикса подобна корневым именам [Tichy 1992; 1995]. Исходя из этого, можно критически оценить и пример Нуссбаума: имя *ἀπάτωρ* вовсе не амфикинетическое: в нем стабилизовался количественный аблаут атематического имени (номинатив -ς / генитив -ος) и качественный аблаут, обусловленный рецессией ударения. Ср. в этой связи *φρήν/ἄφρων*. Иммобилизация акцента характерна именно для производных имен, в том числе и композитов. Авторам рецензируемой книги можно бы порекомендовать высказать свое мнение по этому вопросу.

Теперь перейдем к словарным статьям. Приходится отметить, что, при всей подробности и обстоятельности поднятого материала, в нем тоже можно найти лакуны. О некоторых из них речь шла выше. Рассмотрим еще несколько примеров. В корне **bheh$_1$-* 'сиять, сверкать' (ДВ) странно выглядит отсутствие латинского *fās* 'божественное право'. Это имя – одно из самых интересных в индоевропейском лексиконе. Оно не изменяемо, не сочетается ни с каким предикатом, кроме *esse*, может быть только подлежащим или прямым дополнением, а чаще всего образует односоставные предложения. Основное синтаксическое значение такого имени – обособленность: *si fas est dictu* (Cic. Tusc. 5, 8) 'если позволено сказать'; *leporem... gustare fas non putant* (Caes. B.G. V 12, 6) 'они не считают допустимым наслаждаться удовольствием'; *fas illi divom limina tangere* (Verg. Georg. IV 358) 'ему позволено дотронуться до жилища богов'. Любопытно, что римские грамматики ощущали амбивалентность этого имени; об этом есть свидетельство Павла у Феста: *utrum*

*fas illud strictiore quadam nominatione id ipsum, quod facere illis diebus licebat, antiquitus in se comprehenditur, an alicuius verbi infinitivus* (*velut 'lege agere'*) *sit supplendus, in dubio relinquo* (Paul. apud Festum, GGL I 59) 'Есть ли *fas* в строгом смысле «то, что в эти дни было можно делать» (как это понималось в древности), или же к нему должен быть присоединен инфинитив какого-то глагола (подобно «делать по закону») – это я оставляю в сомнении'. На наш взгляд, данное имя лучше всего воспроизводит черты древнего односоставного слова-предложения, обозначавшего одновременно деятеля, действие, объект / результат, орудие действия [Krasuchin 1996: 49–61; Красухин 2004: 246–265]. С точки зрения рецензента, к аналогичным словам можно возвести все атематические корневые имена; их многозначность, таким образом, объясняется их происхождением.

Существовало два пути для них: превращение в полноизменяемые слова или же сохранение обособленного статуса в предложении. Так, от имени *fās*[21], по удачному предположению Г. Дункеля [Dunkel 1997], образовано имя *iubār* (gen. *iubaris*, ср. р.) 'светящееся тело': **diu-bhas*, с последующим ротацизмом и изменением формы именительного падежа (*honos*, *honoris* → *honor*, *honoris*; аналогично **iubas*, *iubaris* → *iubar*, *iubaris*). Обособленные же имена, как правило, превращаются в наречия. В рецензируемом словаре это обстоятельство отражено не полностью. Так, греч. *πύξ* 'кулаком, в кулачной борьбе' упомянуто только в примечании к **pn̥k"sti-* 'кулак' (БИ). Фонетически эту форму можно выводить и из данного корня. Но этому противоречат лат. *pungere* 'протыкать', *pugio* 'кинжал', заставляющие предположить здесь корень **pug-* 'ударять, протыкать'. Следовало бы также отметить, что у Гезихия сохранилось и полноизменяемое имя: *πύξ· πυγμή, γρόνθος* 'кулак'. Другое наречие той же структуры – *ὀδάξ* – упоминается в статье **denk-* (ДВ), с обзором мнений о происхождении данного наречия. Но почему-то не приводится ни мнение П. Шантрена (*οδοντ-* + *-δαξ*), ни простое *δάξ*, встретившееся в Halieutica («Морская поэма») 4, 60 Оппиана (II в. н.э.) [Chantraine 1974: 774]. Взаимоотношение *ὀδάξ* и *δάξ* примерно таково же, как у гомеровского *ἐπιμίξ* 'вперемешку' и *μίξ* (Никанор, II в. н.э.), приведенных в **meik-* (ДВ). Далее ДВ, упоминая имя *δήξ*, *δηκός* 'древесный червь' (у Иоанна Тцетца), с полным основанием утверждает, что оно сформировалось под влиянием *σφήξ* 'оса' (у автора ошибочно 'червь'); укажем в этой связи и послегомеровский аорист *ἔδηξα* (под влиянием *ἐπέλησεν* / *ἔλαθε*). Но при этом целесообразно упомянуть и имя *διάσφαξ* 'расщелина', а также варианты корней, представленные в: как *πλήξ* 'повязка' (= 'стягивающая'), *βουπλήξ* 'стрекало для быков; жертвенный топор' – *πλάξ* 'лепешка', *δίπλαξ* 'двойной', *τρίπλαξ* 'тройной'; *σύμπληξ* '1) вбитый в землю; 2) дверная ось' – *πάξ* 1. 'достаточно' (наречие); 2. 'подвязка' (последнее можно сравнить и с лат *pax* 'мир' = 'нечто утвержденное'). Иными словами, имена с полной ступенью вокализма указывают на активного деятеля или подвергающегося активному воздействию; имена с 0 ступенью имеют скорее результативное значение[22]. Таких примеров немного, но их четкость свидетельствует об определенном аблаутном и семантическом отношении. Явная близость наречий на -ς и корневых имен тоже обращает на себя внимание. По сути это одна словоформа в различных функциях; морфема -ς переосмысливается либо как наречный суффикс, либо как окончание номинатива. К сожалению, имена *-πηξ, πλήξ, πάξ* и соответствующие композиты оказались за пределами словаря; из родственных корней зафиксировано только **pleh₂-* 'плоский, широкий', **pleth₂-* 'быть широким' (ср. [Pokorny 787]: **pāk/pak*, *pāg/pag* 'укреплять'; 831 – *plāk, plək, plek, plok, pleik, peləg* 'широкий, плоский; расширять', 832 – *plāg/k* 'ударять').

В последнее время делались попытки связать вокализм корневых имен с их значением. Одна из первых работ – [Schindler 1972], где предполагается, что имена с вокализмом *e* суть акростатические генитивы, а имена с *o* – номинативы с вытекающим различием значений. Б.А. Олсен [Olsen 2009] предполагает, что аблаут *e/0* маркирует имена действия или деятеля, часто со стативным значением, а аблаут *o/e* – имена деятеля или результата. Но дело в том, что провести границу между именами деятеля и результата непросто; ср. русск. *печенье*,

[21] Строго говоря, имя *fās* – не корневое, а наделенное первичным суффиксом *-s-*. Этот суффикс имел значение единичности, целостности и отдельности [Lehmann 1958: 31; Erhart 2006: 315–325]; ср. [Красухин 2004: 65–67], также [Николаева 2008: 234–252] о «морфологическом центре индоевропейских языков **-s/-t*». Его значение способствовало консервации первичной семантики в имени *fas*. Помимо прочего, он же присутствует в функциях наречного в греческом [Schwyzer 1939: 620 ff.], а также в числительных-наречиях типа лат. *bis* = греч. *δίς* 'дважды', ter = *τρίς* 'трижды', а также *quinties* 'пятижды' и т.д. О наречиях см. далее.

[22] Колебания в ауслауте основ (*πληγ-/πλαγ-*, *σφηκ-/σφαγ-*, *πηγ-/πακ-*) не препятствуют их этимологическому сближению: они возможны и в одной основе (*σφάττω* < **σφακ-i̯ω/σφάζω* < **σφαγ-i̯ω*).

*варенье* (*овсяное печенье* vs. *печенье пирогов*). Автор этих строк полагает, что семантическая оппозиция выражена скорее полной и нулевой ступенью вокализма в номинативе. Что же касается акростатических имен, то среди корневых таковых просто не существуют; примеры Шиндлера, Нуссбаума, Видмера, Олсен могут быть объяснены иначе [Красухин 2005: 95–103]. В рецензируемой работе было бы целесообразно составить список имен, относящихся к различным аблаутно-акцентным моделям – хотя бы в пределах рассмотренных корней.

Весьма подробны такие статьи, как **b$^h$er-* 'нести', **sk̂$^h$eid-* 'ломать, разбивать, разделять', **sneig$^{wh}$-* 'увлажнять' (все – БИ). В них учтены и корневые имена, и их тематические деривaты, образующие тип *τόμος–τομός* или, говоря точнее, тип *φώρ–φορός–φόρος* (обоснование такого наименования см. в [Krasukhin 2004]). Но, как в любом подробном и обстоятельном описании предмета, находятся некоторые неточности. Так, в статье **bher-* не упоминаются латинские прилагательные на *-fer* (*igni-fer* 'огненосный'), где второй элемент, вероятнее всего, происходит из **-bhro-*, представляя собой любопытную параллель цитируемому в статье *probrum* 'позор, бесчестный поступок' – субстантивированное прилагательное от *prober* 'бесчестный'[23]. В этом префиксальном имени изменилась и фонетика (**-b$^h$-* > *-b-* по закону середины слова), и семантика (**'уносящий вдаль' > 'бесчестный', ср. русск. *проходимец*, *пройдоха*). Напротив, композиты, в отличие от префиксаций, сохраняют исконное звучание входящих в них элементов (ср. *facio* → *ef-ficio* с редукцией, но *pate-facio* без редукции). К корню **b$^h$er-* автор относит и лат. *fermentum* 'закваска', с оговоркой, что здесь, как и в др.-англ. *beorm* 'дрожжи' может присутствовать омонимичный корень **b$^h$er(H)-* 'вздыматься' или **b$^h$eru-* 'бурлить, кипеть'. Последнее предположение выглядит более вероятным; лат. *fermentum* скорее всего происходит из **fervimentum*. А вот *fretum* 'прибой', возможно, связан не с **b$^h$er-*, а с *frendere* 'дробить' (см. о дериватах этого корня [Откупщиков 2001: 259–272]). Лит. *bãras* (4) 'участок, полоса (земли)' отнесено (под вопросом) к варианту **bhóro-*. Но очевидно, что если оно склоняется по четвертой, т. е. подвижной парадигме, то его можно сравнивать только с **bhoró-* (греч. *φορός*). Можно понять сомнения автора: по своему значению это имя далеко от окситонов, – как правило, прилагательных или имен действующих лиц. Но это существенная проблема: литовские имена с подвижными а. п. иногда по своему значению приближаются к баритонным именам. Ср. лит. *laũkas* (4) 'луг' – греч. *λεῦκος* 'белый тополь' при окситонном прилагательном *λευκός* 'белый'. Это обстоятельство, на которое не всегда обращают внимание акцентологи [Дыбо 1981: 17], требует объяснения. Возможно, такие имена когда-то относились к среднему роду и перешли в мужской после падения этой категории в балтийском.

В статье **sk̂$^h$eid-* возникает сходная проблема с акцентологией: среди дериватов оказывается имя-омограф с идентичным значением, но разной акцентуацией: *skáida* (1) / *skaidà* (4) 'часть, расщепление, разбиение'. БИ ссылается на работу [Derksen 1996: 130], где предполагается métatonie douche, замечая при этом: «Остается открытым, полагает ли Дерксен этот индоевропейский корень содержащим ларингал» (с. 620). Сомнение вполне оправдано, так как этот корень нигде не обнаруживает следов ларингала. Также и в литовском ни один из его дериватов (кроме собственно *skáida*) не обнаруживает акута. Подобные пары в литовском засвидетельствованы, ср. *síela* (1) / *sielà* (4) 'душа'. По-видимому, вторичен здесь именно акут, и он каким-то образом связан с иммобилизацией парадигмы (имена с ним переходят в первую а. п.); ср. с аблаутом: *kaĩmas* (1) 'село' / *kiẽmas* (4) 'двор'. Следовательно, здесь надо говорить скорее о métatonie rude.

Мы уже отмечали отсутствие ряда, на наш взгляд, важных и показательных статей. Отметим еще несколько. Так, отсутствует статья **(s)pek̂-/(s)kep-* 'видеть, наблюдать'. Многие языки образуют с помощью этого корня корневое имя: др.-инд. *spáś* 'разведчик', греч. *σκώψ* 'филин', *κώψ* 'ястреб', лат. *-spex* в *auspex* (< *avi-spek-s*) 'птицегадатель', др.-исл. *spā* 'свидетельство'. В греческом представлен окситон *σκοπός* 'стражник; цель'. Несмотря на кажущуюся разницу обоих значений, их объединяет значение признака, ограниченного во времени. Это обстоятельство позволяет точнее понять процесс окситонезы в именном словообразовании [Krasuchin 1996: 64–65; Красухин 2004: 273–274]: от корневых имен со старым недифференцированным значением образуются первичные производные, обозначающие временные, возникающие лишь в определенной ситуации признаки и отношения. И если мы примем гипотезу о корневых именах как рефлексах слова-предложения, то нам становятся ясны механизмы образования как прилагательных и имен конкретных лиц, так и глаголов.

Не вполне ясно, почему присутствует корень **d$^h$eiĝ$^h$-* 'лепить, смазывать', но отсутствует близкий ему по структуре **d$^h$eug$^h$-*

[23] 0 ступень без вокализации сонанта представлена также в греч. *δίφρος* 'повозка, сидение для возницы', вед. *anavabhrárādhas* 'имеющий неуносимый дар'.

‘созидать, распространять силу; мочь, быть в состоянии’ [Pokorny 271]. Этот корень имеет большое значение для реконструкции глагольной парадигмы, но и его именные производные важны для соответствующей категории. Имя *duh* ‘доитель’ в Ригведе образует этимологические фигуры, которые, на наш взгляд, являются одним из способов развертывания древнего односоставного предложения. Ср. *úpahvaye sudúghām dhenúm...etā́m suhásto godhúg dohat* (RV I 164, 26) ‘я воспеваю хорошо доящуюся корову; доитель коров с сильными руками так ее доил’; *tám tvā vayáṃ sudúghām ivá godúgho juhūmasi* (VIII 52, 4) ‘так тебе мы, как доители коров, возливаем хорошо выдоенное’; *sudúghām godúghe juhūmasi dyávi-dyavi* (I 4,1) ‘мы возливаем хорошо выдоенное доителю коров’. Такую же фигуру образует имя *bhid* ‘разрушитель’, гапакс в Ригведе: *bhinát púro ná bhído ádevīr* (I 174, 8) ‘разгромил крепости, словно нечестивых разрушителей’. Довольно активно образуется figura etymologica с *dhī* ‘мысль’ (< *$d^heiH$-, переведенное в словаре как ‘замечать’): *pitā́ dadhyán dhī́yam atnata* (I 80, 16) ‘отец Дадхьян (= Созерцающий) мыслью устремился’. Ср. еще: *rāyá ése ’vase dadhīta dhī́ḥ* (V 41, 5)‘для богатства, блага пусть будет принята молитва’ (паронимическое сближение корней *$d^heh_1$- и *$d^heiH$-). Такие конструкции позволяют лучше понять прошлое корневых имен: односоставные предложения развертываются в виде этимологических фигур.

Приводится корень *$g^{u}eih_3$- ‘жить’, но нет его варианта ‘побеждать, преодолевать’ [Pokorny 1959: 469] с такими именными дериватами, как др.-инд. *jyā́*, греч. *βία* ‘сила’. Основа *$g^host(h_2)ti$- ‘чужой’ дается как корневая, хотя в действительности давно установлено, что она происходит из *$g^hes$- ‘есть, пожирать’ [Иванов 1975; ЭССЯ 1980]; его производность вытекает из его структуры (суффикс *-ti-*). Это один из общеиндоевропейских дериватов. Более внимательно рассмотрена производность таких этимонов, как *$b^hráh_2ter$ ‘брат’ (БИ), *$máh_2ter$ ‘мать’, *$ph_2tér$ ‘отец’, *$suésor$ ‘сестра’ (все КШ). Так, БИ приводит сводку мнений об основе *$b^hráh_2ter$: *$b^her$- ‘нести’ + *$āter$ ‘огонь’; *$b^hr$- + *-$eh_2$- + -ter-*, резонно замечая, что имена деятеля на *-ter-*, по крайней мере, в позднем индоевропейском могли образовываться только от чистых корней. Отмечу, что БИ неточно, хотя и со ссылкой на В.И. Абаева, переводит осет. *ærвад* как ‘брат, родственник’. В.И. Абаев [1973: 437–439] определяет это имя так: 1. ‘брат’ (в иронском крайне редко); 2 ‘родич, член семьи’. Ср. *ærвад(д)æлтæ* ‘группа людей, имеющая общего предка (разделившиеся от одного очага)’, *madyrvad* ‘родич по матери’. В современном осетинском языке *ærвад* может означать ‘однофамилец’[24]. Это имеет принципиальное значение, т. к. греч. *φράτηρ, φράτωρ* – не ‘брат’, а ‘член фратрии’ (при глоссе *φράτηρ· ἀδελφός*). И в том, и в другом языке имеется особое имя для брата, образованное сходным образом: осет. *ævsymært/ænsuvaær* (< *æn-* < **sm̥-* ‘совместно’ + *suvaær* ‘матка’), греч. *ἀδελφός* (< *ἀ-* < *ά-* < **sm̥-* + *δέλφυς* ‘матка’). Греко-осетинская параллель, как представляется, помогает лучше понять семантическое развитие этого имени: ‘имеющий отношение’ → ‘родственник, сосед, имеющий что-то общее’ (ср. англ. *relative* ‘родственник’). Как справедливо заметил В.И. Абаев (loc. cit.), история этого этимона запечатлела переход от большой семьи к малой[25]. Таким образом, можно предположить здесь корень *$b^her$- (> *$b^hr$-$eh_2$-) в значении ‘собирать, иметь отношение’. Надо полагать, что именно такой вариант корня мог иметь терминативное значение (не ‘нести’, а именно ‘приносить, собирать’). Позднее он развился в аористный в балто-славянском ареале (церк.-слав. *бьра*, лит. *bìro*). Имена *$ph_2tér$- и *$máh_2ter$-, возможно, звукоподражательны с суффиксом *-ter-*, хотя предлагались и иные этимологии. Так, в основе *$máh_2$-ter* находили корень *$meh_2$- ‘считать’, а суффикс *-($h_2$)ter-* иногда сравнивался с *$h_1ter$- ‘община’ (иер.-лув. *atara* ‘лицо, образ’, греч. *ἑταῖρος* ‘товарищ’). Но последняя гипотеза не выглядит убедительно. Во-первых, тембры ларингалов в предполагаемом втором члене композита и корне различны (*$h_2$ > *a* vs. *$h_1$ > *e*). В-третьих, греч. *ἑταῖρος / ἕταρος*, скорее всего, восходит к **sue-tr-(i)os* ‘член общины’, а иер.-лув. *atara* сравнивается с *$ta_4$-ra* и клин.-лув. *dārus* ‘образ’. Иными словами, предложенная этимология не вполне обоснована; нет необходимости отказываться от интерпретации морфемы *-ter-* как суффикса. Имя **sue-sor*, вероятно, означало ‘своя женщина’; предлагалась, впрочем, и иная сегментация, и интерпретация (*-sor – числительное ‘три’; **su-esor* ‘своя кровь’), но этимологии в скобках менее убедительны. В этой связи замечу, что и имя **suekuro-* ‘тесть, свекор’ (КШ) тоже содержит элемент **sue-* ‘свой’. КШ рассматривает вопрос о возможной метатезе *-kur-/-krū-* и предполагает возможным отождествление последнего с **kreu-* ‘кровь’[26], ссылаясь, впрочем,

---

[24] Осетино-русский словарь / Сост. Б.Б. Бигулаев и др. Владикавказ, 1993. С. 94.

[25] Семантическую параллель здесь может предоставить история имен *семья, дружина* [Ларин 1977: 51–63].

[26] Неожиданно эта этимология возникает в «Вассе Железновой» Горького: «Что такое свекровь? Это всех кровь!».

и на иные мнения. Корень же **kuro-* может быть отождествлен с греч. *κῦρος* 'сила', *κύριος* 'господин', др.-инд. *śūrá* 'герой; учитель' [Бенвенист 1995: 171]. Таким образом, имя свекра или тестя означает «свой-хозяин», что укладывается в понятие «большой семьи», семьи-задруги. Ср. [Бенвенист 1995: 216–219] о значении корня **sue-* как имени хозяина, свободного человека в и.-е. лексиконе. А для имени **suēkuro-* 'шурин, деверь' (др.-в.-нем. *swāgur*) следовало указать не только продленную ступень, но и окситонезу (**suēkuró-*). Это имя имеет канонические аблаутно-акцентные черты производности. Они (т. е. продленная ступень и ударение на тематическом гласном) более всего свойственны древнеиндийским именам [Leumann 1959]. Но приведенная основа показывает общеиндоевропейский характер этих черт.

Наконец, особая проблема – превращение полнозначных корней в суффиксы (или суффиксоиды). Надо сказать, что авторы уделили ей внимание. Так, в статье **b$^h$er-* упоминаются местоименные наречия **ku-b$^h$ro-* (арм. *erb* 'когда?', *erbek$^c$* 'некогда', тох. А *kupre* 'ли', В *kwri*), **to-bhro* (греч. *τόφρα* 'до тех пор')[27]. Упомянуто также **-b$^h$(u)o-* в лат. *tribus* 'триба, округ' (изначально – «третья часть населения Рима»), умбр. *trifu*, *trifo*. Можно было бы упомянуть и суффикс имени действия в лит. *darýba* 'образование', русск. *борьба*. Но не упомянуто **-d$^h$eh$_1$-* в качестве довольно продуктивного суффиксоида: **sue-dh-* > греч. *ἔθος* 'обычай', лат. *sodālis* 'союзник'; **m(e)ns-dh-* > др.-инд. *medhā́* 'мудрость', авест. *mazdā* 'мудрый', греч. *μάθημα* 'наука' и некоторые другие композиты [Meier-Brügger 2004]. Прибавим к этому вед. *bahudhā́* 'много', где лексическое значение несет первый член композита, а второй скорее служит указанием на наречный характер. Такую же функцию второй элемент имеет в *sa-kṛt* 'однажды' (*krt* 'резать'), лит. *tuõkart* 'тогда' (тот же корень). Можно упомянуть и **-ok$^u$o-*: общеслав. **glob-okъ-*, **vys-okъ*, **šir-okъ*, лат. *anti-quus*, а также **h$_1$es-ti/iā* в слав. *кр҃тн-ость*, лит. *draug-ỹstė* 'дружба'. Приведенная в прим. 6 гипотеза Ж.Ж. Пино о суффиксе **-h$_3$en-* как изначально полнозначном корне спорна, но и она нуждается в осмыслении. Изучение этих явлений открывает, как представляется, новые перспективы в исследовании праиндоевропейской грамматикализации. В словаре такого типа, наверное, нужно было привести полный список служебных морфем, происходящих из знаменательных, посвятив ему специальный раздел предисловия. Или, может быть, это задача еще не созданного словаря индоевропейских морфем?

Таким образом, замечаний можно высказать немало. Но они не должны заслонять от нас то, что авторы подготовили действительно фундаментальный труд. При всей его неполноте, при всех подмеченных огрехах, он представляет собой внушительную сводку материала по индоевропейскому имени, которая, безусловно, будет полезна в дальнейших исследованиях по индоевропейской этимологии и словообразования. Также хотелось бы пожелать составителям еще раз вернуться к тексту и опубликовать его снова, учтя некоторые замечания, высказанные здесь, а также, несомненно, и в других рецензиях.

Корректурное примечание. И в новых работах, вышедших уже после «Nomina» высказываются интересные идеи, в чем-то близкие данной книге, в чем-то ее дополняющие или дискуссионные. В только что появившейся работе [Olsen 2009] содержатся соображения о грамматикализации в праиндоевропейском. Так, упомянутый нами суффикс **-ok$^u$o-* (**-h$_3$(o)k$^u$o-*) исследователь видит также в др.-инд. *pratīc-* 'передний', *śvitīc-* 'светлый'. Первая основа может быть сравнена с греч. *πρόσωπον* 'лицо', тох. В *pratsāko* 'грудь' (**proti-h$_3$k$^u$-*), ср. и др.-инд. *prátīkam* 'лицо, явление'; в этих примерах второй элемент композита сохраняет свое корневое значение. Интересны идеи Олсен относительно упоминавшегося «суффикса Хофмана», упомянутого нами в прим. 6. Его значение, по мнению исследовательницы, можно определить так: «большое количество *x*»: и.-е. **h$_2$ap-* 'вода' – **h$_2$ap-h$_3$on-* 'масса воды' > кимр. *afon* 'река'. Тот же суффикс вместе с другими образует комплексы типа **-ti-h$_3$on-* (лат. *natio*), **-h$_3$k$^u$-h$_3$onh$_2$-* (лат. *robigō* 'волчанка') и т.д. Если принять точку зрения Пино на происхождение этого суффикса, то к нему могут быть возведены абстрактные имена на *-ōn-*. Что же касается прилагательных и имен деятеля типа упоминавшихся *πίων*, *pīvān*, также др.-инд. *yuvān* 'юноша', то они, как отмечалось выше (с. 4), содержат суффикс **-on-* без ларингала. С таким дополнением можно принять и гипотезу Ж.Ж. Пино [Pinot 2000].

Особое внимание в статье Олсен уделяется суффиксальным вариациям: **-a/ik-/-a/ig-* (по мнению автора, происходящих из ларингала, преобразующегося в смычный в позиции перед **-s*). Варьируют и иные смычные в суффиксах:

[27] Свод мнений об этимологии греч. *τόφρα* см. в [Monteil 1963: 312; Chantraine 1974: 812]. Оба автора, приводя указанные параллели, считают, однако, их недостаточно обоснованными. А. ван Виндекенс [van Windekens 1976: 177] находит тот же формант и в тох. В *emprem* 'истинный; истина' (усилительный префикс + **-bhro*).

*-tro-/-t$^h$ro-/-d$^h$ro-, *-tlo-/-d$^h$lo-. Замечу, что эти явления рассматривались еще в классических работах: как фонетические вариации в [Hirt 1925], как морфологические – в [Specht 1947]. Исследование Б.А. Олсен ставит актуальную задачу: разобраться с происхождением этих чередований. В том же сборнике публикуется и статья Й.Э. Расмуссена, компактно подытоживающая его исследования об индоевропейском аблауте (ступень *o* корневого вокализма окситонных имен как инфикс и окситонные прилагательные на *-í-*, *-ú-* как аналог суффиксальным на *-ró-*, *-ló-* и т.д.), ср. [Rasmussen 2009]. Таким образом, вопросы оформления и апофонии именных основ остаются центральными для индоевропейского языкознания.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ


Абаев 1973 – *В.И. Абаев.* Историко-этимологический словарь осетинского языка. Т. III. Л., 1973.

Бенвенист 1995 – *Э. Бенвенист.* Словарь индоевропейских социальных терминов / Пер.; общ. ред. Ю.С. Степанова, М., 1995.

Герценберг 2009 – *Л.Г. Герценберг.* Новая литература по индоевропеистике // Индоевропейское языкознание и классическая филология: Материалы чтений памяти И.М. Тронского / Отв. ред. Н.Н. Казанский. СПб., 2009.

Дыбо 1981 – *В.А. Дыбо.* Славянская акцентология. М., 1981.

Иванов 1975 – *Вяч.Вс. Иванов.* К этимологии слав. *čelověkъ* // Этимология 1973. М., 1975.

Красухин 1987 – *К.Г. Красухин.* К вопросу о взаимоотношении индоевропейского активного и среднего залога // ВЯ. 1987. № 6.

Красухин 1998 – *К.Г. Красухин.* Акцентология в предыстории индоевропейских языков // ВЯ. 1998. № 6.

Красухин 2004 – *К.Г. Красухин.* Аспекты индоевропейской реконструкции: Акцентология. Морфология. Синтаксис. М., 2004.

Красухин 2005 – *К.Г. Красухин.* Аспект и время праиндоевропейского глагола // ВЯ. 2005. № 6.

Красухин 2007 – *К.Г. Красухин.* Studia declinabilia // Лингвистическая полифония: сб. в честь юбилея проф. Р.К. Потаповой. М., 2007.

Ларин 1977 – *Б.А. Ларин.* История русского языка и общее языкознание. Л., 1977.

Николаева 2008 – *Т.М. Николаева.* Непарадигматическая лингвистика. М., 2008.

Откупщиков 1967 – *Ю.В. Откупщиков.* Из истории индоевропейского словообразования. Л., 1967.

Откупщиков 2001 – *Ю.В. Откупщиков.* Труды по этимологии. СПб., 2001.

Панов 1956 – *М.В. Панов.* К вопросу о слове // Учен. зап. Мос. гор. пед. ин-та им. В.П. Потемкина, 1956.

ЭССЯ 1980 – Этимологический словарь славянских языков / Под ред. О.Н. Трубачева. Вып. 6. М., 1980.

Ambrazas 1978 – *V.J. Ambrazas.* Lietuvijų kalbos dalivijų istorinė sintakse. Vilnius, 1978.

Benveniste 1948 – *E. Benveniste.* Noms d'agent et noms d'action. Paris, 1948.

Chantraine 1932 – *P. Chantraine.* La formation des noms en grec ancient. Paris, 1932.

Chantraine 1974 – *P. Chantraine.* Dictionnaire etymologique de la langue grecque: Histoire des mots. V. 3. Paris, 1974.

Debrunner 1954 – *A. Debrunner.* Altindische Grammatik. Bd. III: Die Nominalbildung. Berlin, 1954.

Derksen 1996 – *R. Derksen.* Metatony in Baltic. Amsterdam; Atlanta, 1996.

Dressler 1989 – *W. Dressler.* Prototypical differences between Inflection and derivation // Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung. Bd. 42. Hf. 1. 1989.

Dunkel 1997 – *G. Dunkel.* Lat. *iubar* and *fas* // Sound law and analogy: Papers in honor R.S.P. Beekes on the occasion of his 60-th birthday / Ed. by A. Lubotsky. Amsterdam; Atlanta, 1997.

Erhart 2006 – *A. Erhart.* Das ewige *s* // A. Erhart. Ausgewählte Abhandlungen zur indogermanischen vergleichenden Sprachwissenschaft / Hrsg. von B. Vykypěl; übersetzt von I. Kneisel. Hamburg, 2006.

Gonda 1975 – *J. Gonda.* Notes on the Indo-European *k$^u$i-* and *k$^u$o-* pronouns // J. Gonda. Selected studies. Leiden, 1975.

Hoffmann 1955/76 – *K. Hoffmann.* Ein grundsprachliches Possessivsuffix // MSS. 1955. Bd. 6 (= Hoffmann K. Die Aufsätze zur Indoiranistik. Wiesbaden, 19)76, Bd. 2.

IN 2003 – Indogermanisches Nomen: Derivation, Flexion und Ablaut. Akten der Arbeitstagung der Indogermanischen Gesellschaft / Hrsg. E. Tichy, D. Wodtko, B. Irslinger. Bremen, 2003.

Josephson 2004 – *F. Josephson.* Semantic and typology of Hittite *-ant-* // Indo-European word formation: Proceedings of the Conference held at the University of Copenhagen / Ed. by J. Clackson, B. Olsen. Copenhagen, 2004.

Krasuchin 1996 – *K.G. Krasuchin.* Studien zur Beziehungen zwischen indoeuropäischen Nomina und Verben // IF. 1996. Bd. 101.

Krasuchin 2003 – *K.G. Krasuchin.* Qualitativer und quantitativer Ablaut in der Nominalderivation // Indogermanisches Nomen. Bremen, 2003.

Krasukhin 2004 – *K.G. Krasukhin.* Archaic Features of Indo-European Word formation: The Greek and Old Indic type *τόμος – τομός* in a PIE perspective // Indo-European Word Formation: Proceedings of the Conference held at the University of Copenhagen / Ed. by J. Clackson, B. Olsen. Copenhagen, 2004.

Kronasser 1966 – *H. Kronasser.* Die Etymologie der hethitischen Sprache. Wiesbaden, 1966.

Kuiper 1942 – *F.B.J. Kuiper.* Notes on the Vedic noun inflection // Meddelingen van Koniklikge Nederlandshe Akademie van Wetenschappen, aft. letterkunde. V. 5. 1942.

Kuryłowicz 1968 – *J. Kuryłowicz.* Indogermanische Grammatik. Bd. II: Akzent. Ablaut. Heidelberg, 1968.

Laroche 1962 – *E. Laroche.* L' 'ergatif' en indo-européen // BSL. 1962. V. 57.

Laroche 1975 – *E. Laroche.* Les noms *-ti* et *-tu* dans les langues anatoliennes // Mélanges offertes à Emile Benveniste. Paris, 1975.

Lehmann 1958 – *W.P. Lehmann.* On the earlier stage of Indo-European nominal Inflexion // Language. 1958. V. 29.

Leumann 1959 — *M. Leumann.* Vokaldehnung, Dehnstufe und Vrddhi // M. Leumann. Kleine Schriften. Zürich; Stuttgard, 1959.

Mayrhofer, Cowgill 1986 – *M. Mayrhofer, W. Cowgill.* Indogermanische Grammatik. Bd. II: Phonetik. Heidelberg, 1986.

Meier-Brügger 2004 – *M. Meier-Brügger.* Zur uridg. Sekundärwurzel **sued$^h$($h_1$)-/*suēd$^h$($h_1$)- // Indo-European Word Formation: Proceedings of the Conference held at the University of Copenhagen / J. Clackson, B. Olsen (eds.). Copenhagen: Museum Tusculanum, 2004.

Miller 1967 – *D.G. Miller.* Forms of Indo-European genitive. PhD Dis. Harvard University. Cambridge (Mass.), 1967.

Monteil 1963 – *P. Monteil.* Le phrase relative en grec ancien. Paris, 1963.

Nussbaum 1986 – *A. Nussbaum.* Head and Horn in Indo-European. Berlin; New York, 1986.

Olsen 2009 – *B.A. Olsen.* How many noun suffixes did Proto-Indo-European have? // Internal reconstruction in Indo-European: Methods, results, and problems / Ed. by J.E. Rasmussen, T. Olander. Copenhagen, 2009.

Pedersen 1926 – *H. Pedersen.* La cinqième declinaison en latin. Copenhague, 1926.

Peters 1980 – *M. Peters.* Untersuchungen zur Vertretung der indogermanischen Laryngals im Griechischen. Wien, 1980.

Pinault 2000 – *G.J. Pinault.* Védique *dámūnas*, latin. *dominus* et l'origine du suffix du Hoffmann // BSL. V. 95, fasc. 1. 2000.

Pokorny 1959 – *J. Pokorny.* Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern, 1959.

Rasmussen 2009 – *J.R. Rasmussen.* Internal reconstruction applied to Indo-European: where do we stand? Internal reconstruction in Indo-European: Methods, results, and problems / J.E. Rasmussen, Th. Olander (eds.). Copenhagen, 2009.

Scarlata 1999 – *S. Scarlata.* Die Wurzelkompositen im Rigveda. Wiesbaden, 1999.

Schindler 1972 – *J. Schindler.* L'apophonie des noms-racines indo-européens // BSL. 1972. V. 67.

Schwyzer 1939 – *E. Schwyzer.* Griechische Grammatik. München, 1939.

Solta 1958 – *G.R. Solta.* Gedanken über *-nt*-Suffix. Wien, 1958.

Stempel 1966 – *R. Stempel.* Die Diathese im Indogermanischen: Form und Funktion des Mediums und seine sprachhistorische Grundlagen. Innsbruck, 1996.

Stüber 2002 – *K. Stüber.* Die primäre *s*-Stamme des Indogermanischen. Wiesbaden, 2002.

Tichy 1992 – *E. Tichy.* Zur Rekonstruktion der Nomina agentis auf **-tér-* und **-tor-* // Rekonstruktion und relative Chronologie / Hrsg. R.S.P. Beekes, A. Lubotsky, J. Weitenberg. Innsbruck, 1992.

Tichy 1995 – *E. Tichy.* Nomina agentis auf *-tar-* im Vedischen. Heidelberg, 1995.

Vine 2004 – *B. Vine.* On PIE full grades in some zero-grade contexts: **-ti- *-tó-* // Indo-European Word Formation: Proceedings of the Conference held at the University of Copenhagen / J. Clackson, B. Olsen (eds.). Copenhagen, 2004.

Wallace 1986 – *R. Wallace.* Latin *tranquillus* // Glotta. Bd. 66. 1986.

Watkins 1969 – *C. Watkins.* Indogermanische Grammatik. Bd. III: Geschichte der indogermanischen Verbalflexion. Heidelberg, 1969.

Widmer 2004 — *P. Widmer.* Das Korn des breiten Feldes. Interne Derivation und Flexionsklassenhierarchie; Aspekten der nominalen Wortbildung im Urindogermanischen. Innsbruck, 2004.

van Windekens 1976 – *A. van Windekens.* Le tohkharien confronté avec les autres langues indo-européennes. Louvain, 1976.

*К.Г. Красухин*

***T. Olander.*** **Balto-Slavic accentual mobility.** Berlin; New York: Mouton de Guyter, 2009. 274 p. (Trends in linguistics. Studies and monographs; 199).

Монография датского лингвиста Томаса Оландера «Балтославянская подвижность ударения» посвящена вопросу происхождения подвижного (подвижно-маргинального) ударения в именных и глагольных парадигмах балтийских и славянских языков. Она выросла из его докторской диссертации, защищенной в 2006 г., и является ее расширенной и переработанной версией, учитывающей последовавшие после защиты уточнения и замечания Х. Андерсена и критику Ф. Кортланда.

Как известно, свободное ударение сохранилось в литовском и ряде славянских языков (восточнославянских и южнославянских). В этих языках представлено, по большому счету, два типа словоизменительных парадигм: (1) такие, в которых ударение так или иначе «привязано» к определенной морфеме словоформы (неподвижное ударение), ср. наиболее тривиальные примеры: литов. им. ед. *várna*, род. *várnos*, вин. *várną*, им. мн. *várnos*, род. *várnų*; русск. *воро́на*, *воро́ны*, *воро́ну*, *воро́ны*, *воро́н* и т. д.; (2) такие, в которых одни формы получают начальное ударение, другие – конечное (подвижное ударение), ср. литов. им. ед. *galvà*, род. *galvõs*, вин. *gálvą*, им. мн. *gálvos*, род. *galvų̃*; русск. *голова́*, *головы́*, *го́лову*, *го́ловы*, *голо́в* и т. д. Именно второй тип акцентных кривых давно волнует ученых и является предметом многочисленных споров. Книга Оландера содержит очередную попытку объяснения его происхождения из гипотетического индоевропейского состояния.

На первых же страницах первой главы (Introduction) автор определяет суть проблемы. Он перечисляет основные теории на данную тему, деля их сторонников на два лагеря. Первый: подвижность напрямую восходит к индоевропейскому состоянию и является архаизмом (Мейе, Станг, Дыбо, Гард, поздние работы Кортланда). Второй: подвижность является локальным балтославянским нововведением, независимо от конкретного объяснения его природы (Эбелинг, Курилович, Маретич, Ван Вейк и др.). Приверженцы второго лагеря возводят подвижную парадигму к конечноударной, нуждаясь, таким образом, в объяснении преобразования колонного ударения в подвижное (т. е. почему, например, форма *голова́* сохраняет конечное ударение, а формы *го́лову* и *на́ голову* его «теряют»). Сам Оландер сразу сообщает, что принадлежит ко второму лагерю, и пытается определить условия этого преобразования, т. е. – в его понимании – потери конечного ударения в некоторых формах парадигмы. На с. 1 читаем: «Просодическая система индоевропейского праязыка более или менее непосредственно сохраняется в ведийском санскрите и древнегреческом. Эти языки не обнаруживают никаких следов подвижности ударения у [тематических] основ на гласные. Таким образом, ведийские и греческие основы на гласные, этимологически соответствующие балтийским и славянским подвижным словам, обычно имеют колонное ударение на первом слоге окончания» («The prosodic system of the Indo-European proto-language is preserved more or less directly in Vedic Sanskrit and Ancient Greek. These languages show no traces of accentual mobility in the vowel stems. Thus, Vedic and Greek vowel stems that correspond etymologically to Baltic and Slavic accentually mobile words usually have columnar accent on the first syllable of the desinence»). Сразу оговорюсь, что такое категоричное утверждение (об исключительной архаичности греческого и древнеиндийского) на первой же странице не может не вызвать недоверия к дальнейшему изложению, т. к. содержит в виде посылки недоказанный тезис об исконной неподвижности ударения. Впрочем, четко излагая и критикуя позиции своих предшественников (и, в частности, оппонентов), автор высказывает соображения в поддержку своего взгляда; так, на с. 47, обсуждая теорию «Мейе–Станга–Дыбо», он пишет: «...поскольку подвижность ударения в основах на гласные имеется в балтийском и славянском, существует вероятность общей инновации в балтославянском праязыке, однако для объяснения ведийской и греческой неподвижности мы были бы вынуждены постулировать независимые, но тождественные инновации на доисторических стадиях обеих языковых ветвей» («...since accentual mobility in vowel stems is found in Baltic and Slavic, the possibility of a common innovation in the Balto-Slavic proto-language exists, while in the case of the Vedic and Greek immobility we would have to posit independent but identical innovations in pre-stages of these two language branches»). Таким образом, отправной точкой в теории Оландера является отсутствие подвижности в тематических греческих и древнеиндийских образованиях (при ее наличии в атематических), из которого, по его мысли, следует, что подвижности не было и в соответствующих индоевропейских праформах[1]. Это значит, что

[1] Этот довод кажется убедительным только на первый взгляд: ведь греческий и индоарийский могли некоторое время развиваться вместе и вместе же потерять подвижность в

если удастся найти некоторый регулярный закон, способный объяснить потерю конечноударности в формах, представленных в балтославянском начальноударными формами, то этим подтвердится положение об отсутствии подвижности у тематических основ в индоевропейском.

Именно такой закон и является главной находкой автора, который называет его «законом подвижности» (Mobility law). В самом начале исследования (с. 3) он приводится в формальном виде:

$$\acute{\mu} > [-\text{high}]/\_C_0\#,$$

что означает, что «...слова, изначально имевшие ударение на конечном – кратком или содержавшем зияние – отрезке, стали безударными. Если предположить, что краткие гласные имели высокий тон (акцент) на своей единственной море, а отрезки с зиянием – на последней [из двух], то можно сказать, что высокий тон стал низким в последней море фонологического слова» («...words originally accented on a final short or hiatal structure became unaccented. Assuming that short vowels had a high tone (accent) on the only mora, and hiatal structures had a high tone on the last mora, we may say that a high tone became low in the last mora of the phonological word»). Под «высоким» тоном здесь понимается ударение, под «низким» – его отсутствие. Таким образом, речь идет просто-напросто о потере ударения последней морой слова.

Что касается вообще наличия подвижности ударения в индоевропейском, Оландер сразу же (с. 1) упоминает древнеиндийские и греческие атематические (consonantal) имена, в которых «все-таки встречается подвижность ударения, подобная балтийской и славянской» («we do find an accentual mobility similar to that of Baltic and Slavic»), и приводит примеры: др.-инд. им. ед. *pā́t* 'нога, стопа', вин. *pā́dam*, род.-абл. *padáḥ*, дат. *padé* и т. д.; греч. им. ед. *πούς* 'тж.', вин. *πόδα*, род. *ποδός*, дат. *ποδί* и т. д. Кроме того, говорится о «вторичной» подвижности в словах типа др.-инд. *duhitā́* 'дочь'. Здесь необходимо заметить, что автором не упомянута еще одна важная группа слов, показывающая подвижность в греческом и древнеиндийском, – числительные, ср. подвижность в др.-инд. им.-вин. *páñca* '5', твор. *pañcábhis* и колонность в *saptá* '7', *saptábhis*. Они, конечно, примыкают к атематическим именам (различное поведение этих основ проявляется в русск. *пятьдеся́т*, но *се́мьдесят*). В этой связи досадно, что автор, видимо, не знаком с работой [Дыбо 2003], где довольно подробно говорится об этом. Судя по всему, автор считает, что подвижность была обязательным свойством всех атематических имен (и не упоминает о неподвижных). Это, однако, неверно, ср. др.-инд. *nár* 'человек', род. *náras*, а также литов. им. мн. *dùrys* 'дверь', род. *dùrų* (а.п. 2), соответствующее слав. **dvь̀rь* (а.п. *b*), и нек. др. [Дыбо 2003: 139, 144]. Атематические имена в индоевропейском могли, таким образом, быть и неподвижны.

Следующие за введением две главы (вторая – Indo-European, третья – Balto-Slavic) содержат описание акцентных систем отдельных (групп) индоевропейских языков и подводят к теоретическому обоснованию «закона подвижности» и его проверке на материале, данном в четвертой главе (The Balto-Slavic mobility). Следует сказать, что все положения автора и возражения оппонентам, на мой взгляд, изложены в книге предельно четко и доступно. При том, что иные его утверждения явно вызывают сомнения или производят впечатление чрезмерно смелых, автор почти всегда сам оговаривает то или иное свое решение, приводя и соответствующие контраргументы. Впрочем, опять-таки, местами чувствуется несколько догматичная убежденность в архаичности древнеиндийского ударения, ср. его характеристику как «вероятно, консервативнейшей из объемно засвидетельствованных индоевропейских акцентных систем» («the probably most conservative Indo-European accentuation system comprehensively attested») (с. 54) без каких-либо пояснений.

Не вдаваясь в подробности по поводу описания отдельных языков, обратим внимание лишь на общие выводы автора касательно природы праславянского ударения. Автор предупреждает, что рассматривает некоторую стадию – праславянскую (Proto-Slavic), предшествующую той, что отражается общепринятой реконструкцией – общеславянской (Common Slavic). «В праславянском было свободное ударение и смыслоразличительная долгота», т. е. в этом языке не было тонов: «тональное противопоставление было бы избыточным» («Proto-Slavic had a free accent and distinctive quality... [A] tonal

---

тематических основах, независимо от уже отделившегося балтославянского. Рассуждение о неправдоподобии «параллельных инноваций» может быть лишь вспомогательным, и спорить здесь, по существу, не о чем. Замечу лишь, что сама по себе потеря подвижности в тематических именах при сохранении ее в атематических не столь уж маловероятна, если принять во внимание, что архаизм (подвижность) мог сохраниться именно в атематических именах как в непродуктивном классе слов, а выравнивание могло затронуть слова, построенные по живой модели (подобно блр. *галава́*, *галаву́*). Тезис об исконной неподвижности в любом случае подлежит иному обоснованию.

opposition would be redundant» – с. 128). Слоги, где обычно реконструируют балтославянский циркумфлекс, Оландер считает во всех случаях краткими (краткие монофтонги и краткие дифтонги), причем на описываемой стадии они – по его реконструкции – уже потеряли ударение по закону Дыбо – Иллич-Свитыча (сдвиг на один слог вправо): твор. мн. **geˈnāmīs* («общеславянское» **ženãmi*). Эта модель, привлекательная своей простотой, тем не менее, не учитывает ряда моментов. Грубым упрощением кажется отождествление балтославянского циркумфлекса с краткостью. Не вдаваясь здесь в подробности (в том числе в проблематику отражения апофонической долготы в славянском), отмечу лишь, что автор не учел многочисленных примеров балтославянской метатонии, ср. (от подвижного порождающего глагола **dẽjǫ*, **dějetè*) производное **dẽdlo* > **dẽdlò* (а.п. *b*): серб.-хорв. *одéло*, *одијèло* 'одежда', ст.-хорв. (Крижанич) *одӣло* (ударение на конце), где до действия закона Дыбо – Иллич-Свитыча явно имелась циркумфлексовая долгота на монофтонге, что, видимо, трудно отрицать при каком бы то ни было отношении к «николаевской» метатонии, о которой см. подробно в работе [Николаев 1989]. То же можно сказать о долгом циркумфлексе в корнях таких слов, как **trāvà* и **dãvišь*. Кроме того, не очень понятно, к каким, если не просодическим, различиям автор возводит наблюдаемые в славянских языках различные рефлексы долгих падежных окончаний. Он без каких-либо оговорок ставит краткостное ударение во всех «общеславянских» падежных формах с конечным ударным слогом: им. **golvà* и род. **golvỳ*, как будто эти ударения восходят к сокращенному акуту (в традиционной терминологии), хотя имеется немало диалектов, где представлена и долгота (т. е. не акут), ср. ст.-хорв. (Крижанич) *глāвá* при род. *глāвē*, а также твор. мн. *зубȋ*. Это надо было бы специально оговорить, т. к. вообще вопрос о количестве окончаний в славянском является спорным. Подобные возражения можно высказать и касательно авторской реконструкции прабалтославянской системы.

Для индоевропейской же системы ударения, по Оландеру, актуальны лишь следующие признаки: долгота или краткость слога (две или одна мора), место ударения, а в окончаниях – ударность первой или второй моры в слоге. Все возможные по этому поводу замечания (каковых немало) носят частный характер, т. к., по большому счету, кажется, никак не влияют на главные выводы касательно «закона подвижности».

В четвертой главе еще раз приводится формулировка «закона подвижности» и условия его действия. Исходя из сказанного выше, дается реконструкция фонетической реализации индоевропейского акцента (с. 155): (1) краткие гласные имеют высокий тон (high pitch) на единственной море: μ́; (2) долгие гласные (из сочетаний с ларингалом или нет) получают высокий тон на первой море: $\hat{V}$ = μ́μ; (3) долгие гласные, возникшие из зияния, получают высокий тон на второй море: $\acute{V}(h)V(h)$ = μμ́. Эта реконструкция (представляющаяся несколько искусственной) подготавливает почву для действия «закона подвижности», который, как уже было сказано, заключается в простой потере последней морой высокого тона (ударения). Приводятся иллюстрации (в записи автора): им. мн. **gʰoləu̯áh₂as* > **gālu̯aˈas* > **gālu̯ās* > литов. *gálvos*, но без потери ударения: **gʰoləu̯áh₂* > **gāˀluˈaaˀ* > **gāˀlˈu̯ā* > литов. *galvà*. Затем дается типологическое обоснование «закона подвижности» (с. 159–162), в котором автор опирается на данные Андерсена о потере ударения последней морой в славонском диалекте Подравины (ср. обычное славонск. *vodẽ*, *u ministarstvȏ*, но подрав. *vȏdē*, *ù ministarstvo*), хотя ударение на предпоследней море сохраняется (ср. *danâs*, т. е. [-*ȁas*]), а также данные А.В. Тер-Аванесовой [Тер-Аванесова 2004] о заонежском «ляпанье», при котором любое конечное ударение тактовой группы переходит на начало[2].

Далее Оландер приводит материал, на котором проверяются результаты действия «закона подвижности» в основных литовских и славянских падежных формах (вскользь также упоминается глагол; всего окончаний около 50). Обсуждая каждую форму, он дает свою реконструкцию окончания, приводя доводы за и против. Надо сразу отметить, что довольно большое количество форм противоречит «закону подвижности» (об этом ниже).

В пятой главе (Conclusion) дается краткое изложение содержания глав, повторяются выводы и подводятся итоги. Один из главных выводов (на мой взгляд, самый главный) гласит: «...развитие балтославянской парадигматической подвижности ударения не предполагает существования какой бы то ни было подвижности ударения в индоевропейском» («...the development of the Balto-Slavic paradigmatic accent mobility does not presuppose an existing

---

[2] Добавлю, что похожее явление широко представлено в жемайтских говорах литовского языка [Zinkevičius 1994: 97]. В них ударение оттягивается на первый слог тактовой группы с последней моры (т. е. с конечных кратких и восходящих слогов, но не со срединных и не с конечных нисходящих), оставляя след на старом месте в виде второстепенного ударения, ср. *šàkà* (литературное *šakà* 'ветвь'), род. *šàkũos* (*šakõs*), *prì kitũ·* (*prie kitų̃* 'при / возле других'), но без оттяжки: дат. мн. *šakúoms* (*šakóms*).

accentual mobility of any kind in Proto-Indo-European» – с. 202). Замечу в скобках, что мне совершенно неясно, что вдруг стало с подвижностью в атематических именах, ср. выражение автора «какой бы то ни было» («of any kind»), хотя на с. 98 сказано: «Соответствия между акцентными парадигмами ведийских и греческих односложных [атематических] основ на согласные [...] не оставляют сомнения в том, что мы имеем дело с индоевропейской парадигматической подвижностью» («The correspondences between the accent paradigms of Vedic and Greek monosyllabic consonant stems [...] leave no doubt that we are dealing with Proto-Indo-European paradigmatic mobility»), значит, это, видимо, не что иное, как описка (впрочем, довольно опасная в заключении ко всей книге). К чести автора необходимо заметить, что он без колебаний признает, что его теория не объясняет всех фактов и в большой степени опирается на многочисленные аналогические выравнивания. Однако, по его мнению, «закон подвижности» является хорошей альтернативой существующим теориям.

В эпилоге (Postscript) автор излагает свою реакцию на критику Кортланда [Kortlandt 2006], причем, как представляется, в большинстве случаев приводя веские аргументы в свою пользу. Впрочем, все они касаются частностей, и я здесь не буду их разбирать.

Основных общих возражений к теории Оландера – три.

Первое возражение. Утверждая, что подвижность в индоевропейском имелась только у атематических имен, трудно не заметить, что она наблюдается и у соответствующих имен в литовском. Причем древнеиндийская, греческая и (древне-)литовская акцентные кривые почти тождественны, ср. (древне-)литовскую парадигму с греческой: им. ед. *šuõ* (*βῶ*) ≈ *κύων*, род. *šuñs* (*βunes*[3]) = *κυνός*, дат. *šùniui* (*βúni*) ≠ *κυνί*, вин. *šùnį* = *κύνα*, им. мн. *šùnys* (*βúnes*) = *κύνες*, род. *šunų̃* = *κυνῶν*, дат. *šunìms* (*βunímus*) = *κυσί*, вин. *šunìs* < **šùn-īns*[4] = *κύνας*. Только в дат. ед. наблюдается несоответствие, что, вероятно, связано с тем, что в греческом эта форма перенесена из местного падежа. Таким образом, индоевропейские «ударные» окончания отражаются в литовском именно как ударные, хотя в целом в литовском атематические имена претерпевают некоторое уподобление тематическим. Все это наглядно показано в работе [Дыбо 2003].

Более того, сравнив кривые атематических и тематических имен на **-ā* < **-eH*, мы легко обнаружим, что и они друг другу практически тождественны. Для примера сравним (др.-)литов. *šuõ* и *galvà*: род. *šuñs* < **šunès* = *galvõs*, дат. *βúni* = *gálvai*, вин. *šùnį*= *gálvą*, твор. *šuniù* < **šùn-(i̯)-ō* (по закону де Соссюра) = *gálva*, им. мн. *βúnes* = *gálvos*, род. мн. *šunų̃* = *galvų̃* и т. д. Тут сам собой напрашивается вопрос: может ли безударность тематических окончаний диктоваться «законом подвижности», если в общем то же распределение ударных и безударных окончаний по падежам было представлено уже в индоевропейском (в атематических именах)? Неужели результаты «закона подвижности» совпали с результатами какого-то еще (совершенно другого) «закона», определившего акцентную кривую атематических имен в индоевропейском? Если так, то это совпадение достойно удивления. Если уж настаивать на исконности колонного ударения в тематических именах, то легче согласиться со сторонниками идеи, что подвижность в тематических именах возникла «по аналогии» с атематическими (Эбелинг и др.). Впрочем, и это предположение на поверку оказывается избыточным. Дело в том, что если разложить тематические падежные окончания на тему и собственно окончание (которые слились, устраняя зияния), окажется, что никакой особой разницы между окончаниями атематических и тематических имен нет. Наиболее наглядно это видно по парадигме склонения на **-ā* < **-eH*. Автор сам делает именно это. На с. 98 он реконструирует тематические падежные окончания. Лишь одно окончание имеет у него иную ступень, нежели соответствующее атематическое: это формы род. ед. типа **g*$^{h}$*oləu̯áh*$_2$*s*, где собственно окончание **-s* находится в нулевой ступени, ср. атематические греч. *κυνός*, др.-инд. *padás*, где налицо полная ступень **-o/e-s*. Зачем это нужно автору, становится ясно ближе к концу книги (см. ниже).

В любом случае представляется очевидным, что, вопреки мысли Оландера и многих его предшественников, вряд ли следует искать двух различных объяснений для акцентных кривых атематических и тематических имен, т. к. сами окончания, по сути дела, материально тождественны. Тем самым, ударность или безударность окончания в подвижной парадигме – следствие неких признаков, внутренне присущих самим этим окончаниям и не связана с тематическими гласными и зияниями в окончаниях.

Второе возражение. По мнению автора, в индоевропейском праязыке тематические имена распределялись по двум парадигмам – баритонированной (ударение на основе, т. е. – для двухсложных слов – на первом слоге) и

[3] Эта форма не акцентована, но ср. др.-литов. *dukterés* > совр. *dukteřs*.

[4] Аналогия с другими основами (долгота в окончании), а затем закон де Соссюра (сдвиг ударения с корня).

окситонированной (ударение на окончании), а сами морфемы не имели никаких просодических признаков, кроме ударности-безударности (причем не сами по себе, а только в пределах слова). Значит, ударение – это признак словоформы, а не отдельных морфем. Тогда чем же определялось место ударения, скажем, в словоформах с двухсложными основами, например, производных? Руководствуясь логикой Оландера, было бы естественно думать, что и производные ударялись либо на первом слоге, либо на окончании. Однако этому, конечно, противоречат факты, т. к. ударение производных в действительности ставится по более сложным правилам. Так, производные с суффиксом **-āt-* от подвижного слав. **bȏgъ* (а. п. *c*): **bogãtъ*, **bogãtъ-jь*, **bogãtьstvo* получают ударение на суффиксе, а производные с суффиксом **-ot-* от подвижного **lě̂pъ* (а. п. *c*) – сами подвижны: **lěpotà*, **lě̂potǫ*. Причем это вовсе не отдельные случаи какой-то «аналогии», а весьма четкая система, реконструируемая для прабалтославянского. Широко известно «контурное правило», сформулированное Дыбо, согласно которому дело здесь в валентностях морфем, на первой доминантной из которых и ставится иктус [Дыбо 1981]. В.А. Дыбо (и вслед за ним, в частности, Ф. Кортланд) возводит эти валентности к гипотетическим индоевропейским регистровым тонам. Оландер же, напрямую не отвергая такого подхода, видимо, полагает, что эти валентности могли быть в изучаемый им период уже чисто абстрактными единицами, и дипломатично замечает, что для него «вопрос о [индоевропейских] смыслоразличительных тонах не имеет значения в рамках задач настоящей работы, в которой не рассматривается предыстория праиндоевропейского языка» («the question of distinctive tones is irrelevant to the purpose of the present work which is not concerned with the prehistory of Proto-Indo-European» – c. 85), ибо в интересующий его период имелось разноместное фонологическое ударение, являвшееся исчерпывающим признаком. Значит, если продолжить логику Оландера, место ударения в производных не могло определяться каким-либо живым фонетическим законом, а было к тому времени уже закреплено за определенным слогом, восходя к «предыстории» индоевропейского. Тогда непонятно, как ударение ставилось в производных, образованных в балтославянскую эпоху. Если бы упомянутое контурное правило тогда уже не действовало, то вряд ли было бы возможно прийти к столь четкой его реконструкции [Дыбо 1981 и т. д.], в которую систематическим образом укладываются свидетельства памятников и современных языков. Сейчас мы наблюдаем последовательное разложение этой системы, категориализацию и разрушение балтославянского акцента, дошедшее в отдельных случаях до предела (ср. польский язык). Но в балтославянскую эпоху «валентности» все-таки, вероятно, были вполне живым фонетическим явлением. Здесь я не буду говорить о балтославянской метатонии и других тональных явлениях, признав которые, трудно согласиться с Оландером. Но это даже не главное. Неясно следующее: если на корни, суффиксы и даже клитики действовало некое контурное правило, то почему в нем не участвовали падежные и личные окончания? Подобный взгляд кажется в высшей степени искусственным и, судя по всему, вытекает из изначальной убежденности в колонности индоевропейского ударения в тематических именах, а вовсе не доказывается материалом. Таким образом, это возражение является еще и чисто методологическим.

Третье – и главное – возражение. Посмотрим еще раз на формулировку «закона подвижности»: ударение теряется последней морой. Очевидно, что окончания, в которых последняя мора ударна, о чем говорит и сам автор, – либо краткие, либо сверхдолгие (возникшие из зияния). Как известно, сверхдолгие окончания получают циркумфлекс. Значит, по «закону подвижности» в балтославянском не может быть циркумфлектированных окончаний. Это явно не соответствует действительности, причем речь идет не об отдельных случаях отклонения от предсказаний «закона подвижности», а о системном факте. Все циркумфлектированные окончания объясняются у Оландера той или иной аналогией. Формы литов. род. ед. *galvõs*, *širdiẽs*, *lietaũs* и род. мн. *galvų̃* автор считает вторичными. Для первой из перечисленных форм это противоречие разрешается реконструкцией акута: **g$^{h}$oləu̯áh$_2$s*, что дает правильное место ударения (конечное), но неправильную интонацию – акут якобы превращается в циркумфлекс: «циркумфлексовый тон в *galvõs* был введен по аналогии с дат. ед. основ на *-ā* и род. ед. основ прочих классов» («the circumflex tone of *galvõs* was introduced by analogy with the dative singular of the *ā*-stems and the genitive singular of the other stem classes» – c. 171). Как реконструкция окончания род. ед. **-áh$_2$s*, в отличие от им. мн. **-áh$_2$as*, так и рассуждения об аналогии, совершенно произвольны. Вторичными также объявляются почти все формы им.-вин. дв., ср. литов. *lángu*, *gálvi*, *šìrdi*, *lietu*, в которых окончание (по Оландеру, из **-óh$_1$*, **-áh$_2$ih$_1$* и др.) должно было остаться ударным, как в им. ед. *galvà*. Из приблизительно пятидесяти форм, приведенных для подтверждения «закона подвижности», более десяти объяснены различными аналогиями. Столь большая погрешность не может не ставить под сомнение

правомочность предлагаемого закона. Об этом уже не раз писал Ф. Кортланд в своих отзывах на диссертацию и доклад Оландера, поэтому я не буду разбирать всех его реконструкций, о которых подробно сказано у Кортланда [Kortlandt 2006: 365]. Кортланд выносит теории Оландера довольно радикальный вердикт: «Я заключаю, что теория Оландера весьма несостоятельна» («I conclude that Olander's theory is quite inadequate») [Kortlandt 2007: 233]. Соглашаясь далеко не со всеми возражениями и, вообще, теоретическими воззрениями Кортланда, я могу лишь присоединиться к его оценке общей предсказательной силы теории Оландера.

Несмотря на все высказанные возражения, следует признать, что книга в целом написана в образцовом стиле, прекрасно построена и предельно логична. Демонстрируемой в работе научной эрудиции автора можно только позавидовать. Увы, согласиться с изложенной в ней теорией я не нахожу возможным, но уверен, что она являет собой весьма смелую и потому ценную попытку пересмотра фундаментальных положений балтославянской (и индоевропейской) акцентологии, что достойно внимания и интереса. Не отрицая, что я являюсь адептом совершенно иной акцентологической школы, нежели автор рецензируемой монографии, и тем самым допуская, что и сам могу где-то проявлять «догматическую убежденность», в каковой упрекаю его, я тем не менее считаю, что именно такие работы, как книга Томаса Оландера, несомненно способствуют диалогу между научными школами и снижению уровня догматичности у всех их представителей[5].

[5] Автор рецензии выражает благодарность И.Б. Иткину за ряд замечаний и поправок.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ


Дыбо 1981 – *В.А. Дыбо.* Славянская акцентология. М., 1981.

Дыбо 2003 – *В.А. Дыбо.* Балто-славянская акцентологическая реконструкция и индоевропейская акцентология // Славянское языкознание. XIII междунар. съезд славистов (Любляна, 2003 г.). Докл. российской делегации. М., 2003.

Николаев 1989 – *С.Н. Николаев.* Балто-славянская акцентуация и ее индоевропейские истоки // Историческая акцентология и сравнительно-исторический метод. М., 1989.

Тер-Аванесова 2004 – *А.В. Тер-Аванесова. Говорить по-культурному* и *лявзять по-заонежски* (о языковых разновидностях в Заонежье) // Исследования по славянской диалектологии. 9. Методы изучения территориальных и социальных диалектов. К итогам опыта славянской диалектологии XX в. М., 2004.

Kortlandt 2006 – *F. Kortlandt.* Balto-Slavic accentual mobility // Baltistica. XLI (3). Vilnius, 2006.

Kortlandt 2007 – *F. Kortlandt.* Miscellaneous remarks on Balto-Slavic accentuation // Tones and theories: Proceedings of the International workshop on Balto-Slavic accentology. Zagreb, 2007.

Zinkevičius 1994 – *Z. Zinkevičius.* Lietuvių kalbos dialektologija. Vilnius, 1994.


*М.В. Ослон*

***B.T.S. Atkins, M. Rundell.* The Oxford guide to practical lexicography.** Oxford university press, 2008. xii + 540 p.

Учебников или учебных пособий по лексикографии у нас в стране и за рубежом не так уж много. В XXI веке они стали переиздаваться и появляться чаще [Шимчук 2003; Берков 2004; Козырев, Черняк 2004; Девель 2005; Крупнов 2009; Федорова 2006; Landau 2001; Hartmann 2001 и др.]. Оксфордское руководство по практической лексикографии представляет собой первый учебник по корпусной лексикографии. Имена авторов хорошо известны лексикографам. С. Аткинс – специалист по двуязычной лексикографии, стояла у истоков создания Британского национального корпуса, занимается Американским национальным корпусом, являлась президентом Европейской ассоциации лексикографов EUROLEX. М. Ранделл в качестве главного редактора руководил лексикографическими проектами издательств «Longman» и «Macmillan». Правда, во введении к книге, буквально на самой первой странице авторы отмежевываются от сообщества металексикографов, таких как Р.Р.К. Хартман, Г. Стейн, А. Бежуа, написавших «массу книг о словарях» или таких, как Л. Згуста, Л. Урдганг, которые «имеют немало научных трудов и участвовали в создании словарей». Авторы заявляют, что в отличие от вышеназванных ученых сосредоточивают свое внимание на практике, на том, как преобразовать сырой лингвистический материал в словарь. Кроме того, авторы позволяют себе не останавливаться на ряде обычно предполагаемых для подобных изданий темах.

Здесь главным образом рассматриваются учебные словари английского языка как второго или иностранного и двуязычные словари. Несмотря на это, книга представляет интерес для любого лексикографа, в том числе непосредственно не занимающегося указанными темами.

Безусловно, читателя привлекает заглавие: сочетание в названии таких слов, как «Оксфорд», «руководство» или «путеводитель», «практическая направленность». Полистав издание, приятно видеть, что оно хорошо спланировано, страницы имеют удобный для чтения формат. Читатель сразу отмечает большое количество иллюстраций, рамки-боксы, выделение синим и серым тоном, характерные для современных словарей. Таким образом, здесь применяются лексикографические приемы полиграфической семиотики. Мысль о том, что, вероятно, надо готовиться к непростому чтению, возникает при виде рамок-боксов с фрагментами конкордансов, экранами компьютера, например, на с. 114 и 115 рис. 4.8 «Простая форма словарной статьи редакторской программы XML», на рис. 4.9 «Интерфейс лексикографа в CHC (система написания словаря)». Изложение ведется в простой, доходчивой, непринужденной манере с проявлениями самоиронии авторами, называющими себя «простыми смертными», характеризующими поставленные в книге цели как «вполне скромные». В заключительной части введения с элегантным академическим названием envoi приводится диалог между лексикографом и лингвистом, обсуждающими в кафе в Беркли написание совместного труда, что служит своеобразной формой оправдания позиции авторов дистанцироваться от лингвистики. Манера изложения и форма подачи материала помогают любому читателю преодолеть трудности чтения.

Появление учебника, посвященного корпусной лексикографии, является своеобразной вехой, свидетельствующей, что обычные словари, основанные на данных картотек и интроспекции составителей (при всей необходимости и незаменимости такого материала), уже не совсем современная лексикография: так сказать, «не вчерашний день, но и не совсем сегодняшний». Уже при беглом просмотре книги становится ясно, что перед нами труд опытных лексикографов и педагогов. Книга имеет четкую структуру и практическую педагогическую направленность. Она состоит из 12 глав, разбивающихся на многочисленные подзаголовки, списка сокращений и символов, библиографии на 15 страницах и индекса. Все части имеют свою схему – введение, заключение, набор упражнений, рекомендуемое чтение, список литературы для дальнейшего изучения вопроса и перечень Интернет-адресов. Между составными частями имеются взаимные ссылки, иногда даже избыточное их количество. Много наглядного материала. Ряд иллюстраций имеет общеобразовательное значение, например, на с. 112 – рамка-бокс 4.2 «Компьютеры и лексикография: краткая история», на с. 151–152 – рамка-бокс 5.2 с описанием коллокаций и лексических функций по И. Мельчуку. За введением из 1 главы следуют главы, тематически объединенные в три части: самая большая Часть I «Подготовка к лексикографированию» (со 2 по 7 главы). Затем следует посвященная анализу корпусных данных Часть II. Заключительной частью, посвященной собственно «моменту истины», процессу лексикографирования, является Часть III, где и поднимаются вопросы составления одноязычной толковой и переводной словарной статьи. Как один из главных принципов составления словарей указан принцип учета потребностей и уровня подготовленности читателя – пользователя словарей. Пользователь или читатель самого Оксфордского руководства не определен авторами. Вероятно, это лексикограф издательства, преподаватель лексикографии, широкий круг будущих лексикографов.

Во введении, которое состоит из главы 1, читатель знакомится с постановкой задач, с изложением позиций авторов, рекомендациями относительно пользования учебным пособием.

Часть I «Подготовка к лексикографированию». Самая большая первая часть указывает, чем необходимо располагать, перед тем как приступить к составлению словаря. В главах 2–7 рассматриваются вопросы типологии словарей и говорится о пользователях словарей. Авторы останавливаются только на трех типах справочной литературы (общий словарь, учебный словарь и двуязычный словарь) и здесь же высказывают необходимость определения уровня лексикографической компетенции потенциального пользователя, и говорится о потребностях и уровне навыков пользователей словарем. В зависимости от характеристик пользователя авторы предлагают принимать решения о размещении той или иной информации в той или иной форме в словарных статьях конкретного словаря. На основе собственного опыта (С. Аткинс имеет опыт работы над двуязычными словарями «Collins–Robert French» и «Oxford–Hachette French», М. Ранделл – над английскими учебными словарями издательств Longman, Macmillan) авторы в 3 главе – о лексикографических данных – рассматривают проблему надежности словаря, цитирование в словарях, проблематику корпусных данных, обработку и аннотирование данных, создание корпуса и напоминают, что наличие объективных данных не отменяет важности учета

индивидуальной интроспекции лексикографа. В 4 главе говорится о методиках и ресурсах. Речь идет об анализе данных корпусов и синтезе имеющихся в распоряжении данных для составления словарных статей на промежуточной стадии перевода в случае переводного словаря. В 4 главе также описываются способы эмпирической проверки фактов узуса путем систем проверки поисковым механизмом типа Sketch Engine, «гид стиля», который определяет в виде шаблонов представление набора необходимых компонентов словарной статьи. В сложной для начинающих главе 5 затрагиваются вопросы фреймовой семантики, лексикографическая релевантность. С. Аткинс давно занимается фреймовой семантикой наряду с Ч. Филмором. Может вызвать сомнение необходимость затрагивания фреймовой семантики в руководстве для обучения практической лексикографии, но, очевидно, что этот раздел является важной, характерной особенностью издания (с. 349–359 рецензируемой книги). Замысел главы состоит в том, чтобы показать, что основные лингвистические представления важны для практики лексикографирования. При этом авторы относят лексикографию к прикладной лингвистике и, на удивление, не считают возможным признавать широко принятое в литературе различие между теоретической и прикладной лингвистикой. Указаны такие языковеды и теории, как Н. Хомский и рационализм, Ч. Филмор и фреймовая семантика, FrameNet, система сверки прикладного лингвиста А. Килгариффа и их вклад в решение проблем снятия двусмысленности в случаях синонимии, полисемии и прочих (для слов со сходным значением) и ряде случаев антонимии и конверсии (для слов с различным значением). Глава 6 посвящена планированию словаря и типам вокабуляра для словаря, в том числе типам лексических единиц, компонентам словаря, созданию и организации словника, типам словарных статей. Особое внимание уделено грамматике, пометам и порядку представления значений в пределах словарной статьи, включая трактовку энциклопедической информации в форме имен собственных. Можно отметить следующее. В 6.4.1.4 определения групп слов (регион, диалект, регистр, стиль, время, сленг и жаргон, отношение к собеседнику, оскорбительные слова) слишком кратки для аудитории, испытывающей любовь к многочисленным словарям сленга, жаргонов и вариантам английского языка. Такая краткость определений не дает возможности вникнуть в суть трактовки явлений. Российские учащиеся, воспитанные на внимательном отношении к американскому варианту английского языка, замечают, что слово *negro* не является современным, оно в языке заменено на *African American*. Слово *zipcode* принято писать в американском варианте английского языка в два слова. *ZIP* часто пишется заглавными буквами или с одной заглавной буквой, является акронимом *zone improvement plan*. Упоминание вскользь о том, что в словарях указывают ряд вариантов английского языка, является преувеличением, так как чаще всего речь идет только об американском варианте. В главе 7 – о планировании словарной статьи – излагаются положения о представлении компонентов словарной статьи. В целях обучения очень полезны некоторые повторы в главах 6 и 7.

Часть II «Анализ данных». Только во второй половине книге «дело дошло до дела»: 8 и 9 главы в части II посвящены созданию баз данных с точек зрения смыслов слов и лексических единиц. Глава 8 посвящена смыслу слова (ср. разделы о метафоре и метонимии, о снятии неоднозначности значения (с. 287–293, 294–299, 304–307)). В главе 9 рассматриваются «лексические единицы». Ссылаясь на С. Джонсона и его предисловие к словарю английского языка, на примеры из повседневной жизни и из конкретных словарей, авторы говорят о том, как давать множество значений слова, «порознь или вместе», при представлении в словарной статье (при этом приводя в качестве примера излюбленные примеры с *bank* и *argue*). При этом упоминается ряд лингвистических положений (например, Э. Рош, А. Круза и Ч. Филмора), которые, по мнению авторов, могут помочь разобраться в процессе описания значений слова, и отмечается, что «никакое описание слова нельзя считать окончательным» (с. 315). Глава 9 дает практические решения проблемы при описании словарной статьи.

Часть III «Составление словарной статьи». В третью заключительную часть входят три главы. Глава 10 посвящена созданию одноязычной словарной статьи. Для отечественной практики полезны замечания, высказанные в подзаголовке 10.5.6.2, в отношении необходимости учета воздействия слов на слушателя при создании учебных словарей. Здесь авторы рекомендуют обратить внимание на группы слов, которые в нашей практике имеют пометы *вульгарные*, *грубые*, *табу*, мало обсуждаются и в учебных словарях предпочитают просто исключать. Глава 11 посвящена переводу с точки зрения использования корпусов параллельных текстов и рассмотрению переводных эквивалентов. Авторы различают понятия переведенного текста и сопоставимого текста. Глава 12 описывает создание двуязычной словарной статьи. Здесь показано как база данных перевода преобразуется в словарные

статьи двуязычного словаря. Эквиваленты в оксфордском руководстве используются в общепринятом смысле, то есть слова и выражения разных языков имеют соответствия не один к одному, а несколько-нескольким с учетом контекста. Особенностью декодирования в отличие от кодирования при помощи словаря является то, что оно может быть сделано ad hoc. Авторы обращают внимание читателя на явление кодирования и предпочитают привлечь цитату Ч. Филлмора [Fillmore 2003: 268] о том, что «обычный словарь не может помочь сделать или же не очень хорошо помогает это сделать, если это словарь для иностранцев». Последний этап лексикографирования предусматривает преобразование собранного в базе данных материала в словарь для дальнейшей публикации.

Оксфордское руководство по лексикографии стало заметным событием [Hartmann 2009; Landau 2009]. Оно используется в учебном процессе (см., например, www.lexmasterclass.com) в паре с Антологией практической лексикографии [Fontenelle 2008] как взаимодополняющие друг друга. Несомненно, рецензируемая книга нужна и полезна, займет достойное место среди учебников по лексикографии. Это хороший вклад в развитие лексикографии и таких дисциплин, как корпусная лингвистика и прикладное переводоведение. Оксфордское руководство по практической лексикографии – это путеводитель по практике создания широко используемых общих словарей английского языка для иностранных учащихся с применением современных мощных и скоростных компьютеров.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ


Берков 2004 – *В.П. Берков*. Двуязычная лексикография. 2-е изд. М., 2004.

Девель 2005 – *Л.А. Девель*. Введение в лексикографию. Выбор словарей. М., 2005.

Козырев, Черняк 2004 – *В.А. Козырев, В.Д. Черняк*. Русская лексикография. М., 2004.

Крупнов 2009 – *В.Н. Крупнов*. Лексикографические проблемы перевода. М., 2009.

Шимчук 2003 – *З.Н. Шимчук*. Русская лексикография. М., 2003.

Федорова 2006 – *И.В. Федорова*. Учебная лексикография: теория и практика. 2-е изд. М., 2006.

Fillmore 2003 – *C.J. Fillmore*. Double-decker definitions: the role of frames in meaning explanations // Sign language studies. III.3. 2003.

Fontenelle 2008 – *T. Fontenelle* (ed.). Practical lexicography. A reader (Oxford linguistics). Oxford, 2008.

Hartmann 2001 – *R.R.K. Hartmann*. Teaching and researching lexicography. Edinburgh, 2001.

Hartmann 2009 – *R.R.K. Hartmann*. International journal of lexicography. January 2009. Rec.: B.T.S. Atkins, M. Rundell. The Oxford guide to practical lexicography. Oxford, 2008.

Landau 2001 – *S.I. Landau*. Dictionaries. The art and craft of lexicography. 2-nd ed. NewYork; Cambridge, 2001.

Landau 2009 – *S.I. Landau*. International journal of lexicography. January 2009. Rec.: B.T. S. Atkins, M. Rundell. The Oxford guide to practical lexicography. Oxford, 2008.


*Л.А. Девель*

## *НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ*

## *ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ*

### Международный симпозиум «Славянские языки и культуры в современном мире»

С 24 по 26 марта 2009 г. на филологическом факультете Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и фонда «Русский мир» проходил Международный научный симпозиум «Славянские языки и культуры в современном мире». Идея проведения симпозиума, явившаяся реакцией на заметное сокращение межславянских научных контактов, нашла самый заинтересованный отклик у отечественных и зарубежных славистов. Симпозиум стал одним из наиболее заметных событий в славистике последних лет.

Зам. председателя оргкомитета, декан филологического факультета МГУ М.Л. Ремнева отметила, что активность славистов в ответ на приглашение оргкомитета была беспрецедентной, программным комитетом были отобраны тезисы 554 докладов, которые опубликованы в сборнике «Трудов и материалов» симпозиума [Славянские языки и культуры 2009] и на сайте филологического факультета МГУ (http://www.philol.msu.ru/~slavmir2009/materials/). Реально в симпозиуме приняли участие 352 ученых из 29 стран мира. Были представлены учебные и научные центры России (195 участников), других славянских стран (146 славистов из Украины, Беларуси, Польши, Чехии, Словакии, Болгарии, Сербии, Словении, Хорватии, Македонии), а также университеты Западной Европы, Азии и США. М.Л. Ремнева выразила уверенность в том, что данный симпозиум будет служить научной консолидации славистов разных стран.

Спектр обсуждаемых на симпозиуме проблем был чрезвычайно широк и включал как традиционные фундаментальные области славистики, так и области, связанные с современным этапом развития славянских языков. Основные контуры научной программы симпозиума были означены в докладах, прочитанных на пленарных заседаниях.

Доклад «Славистика сегодня» А.М. Молдована (Москва) был посвящен глобальным проблемам развития современной славистики. В наши дни славистика, сохраняя такие классические направления, как славянская этимология и праславянская лексикография, диалектология и лингвогеография, этнолингвистика, исследование славянского рукописного наследия и, в частности, истории славянской Библии, изучение формирования славянских литературных языков и литератур, должна более активно осваивать новые методологические средства и новые области знания. А.М. Молдован обратил внимание на необходимость развития славянской корпусной лингвистики и поставил также задачу создания в Интернете общедоступной электронной библиотеки древних славянских рукописей на основе единой базы данных с широкими возможностями для научно-исследовательской работы, образования и просвещения.

Т.М. Николаева (Москва) выступила с докладом «Коммуникативная грамматика славянства». В этом докладе была поставлена проблема последовательного разграничения в славянских (и, шире, индоевропейских) языках двух механизмов, один из которых обслуживается знаменательными частями речи, а второй базируется на лексике так называемого коммуникативного фонда: союзах, частицах, местоимениях. Большая часть слов коммуникативного фонда состоит из особых компонентов («партикул»), функционирующих или изолированно (*да*, *же*, *и*, *а*, *но* и некоторые другие), или же в сочетаниях различной степени сложности (*да-же*, *и-но*, *а-по*, *ta-ko-ž(e)-de*

и т. п.). Функциональная семантика лексем коммуникативного фонда должна учитывать наличие в их строении партикул.

В докладе В. Гладрова (Германия) «Отражение языковой ситуации в художественной литературе России, Чехии и Болгарии. Картины мира в славянских языках» были проанализированы тексты художественной литературы с целью выявления закономерностей функционирования разговорного языка в трех славянских странах в его отношении к кодифицированному литературному языку. Несмотря на близость, русский, чешский и болгарский в этом плане проявляют существенные различия.

Проблемы коммуникативной грамматики рассматривались также в докладе Б.Ю. Нормана (Беларусь) «Прагматический аспект грамматики славянских языков». Докладчик обосновывал положение об особой важности для современной славистики изучения грамматической лингвопрагматики. В сферу прагматики были включены категории определенности / неопределенности, рода, числа, притяжательности, дейксиса и др. Докладчиком была поставлена задача комплексного сопоставительного лингвопрагматического описания грамматики славянских языков.

А.А. Лукашанец (Беларусь) в докладе «Современное состояние и тенденции развития славянских языков (белорусский язык)» дал оценку общих тенденций современного развития славянских языков, а именно тенденции к интернационализации, свойственной всем славянским языкам, и тенденции к национализации, актуальной для ряда языков (таких, как белорусский, украинский, македонский). Уникальность языковой ситуации в Беларуси, по мнению докладчика, заключается в том, что начиная с середины 90-х гг. XX в. белорусский язык является государственным языком наряду с другим близкородственным (русским) языком.

И. Онхайзер (Австрия) выступила с докладом «Тенденции развития славянских языков: номинация / словообразование. Опыт международного сотрудничества», в котором был представлен крупный международный научный проект, осуществленный учеными различных европейских стран и отраженный в изданной в 2003 году коллективной монографии, посвященной проблемам развития и функционирования словообразования славянских языков, а также перспективы таких сопоставительных исследований.

В.М. Шаклеин (Москва) в докладе «Лингвокультурологический аспект общеславянского культурного наследия» подчеркнул важность вклада славян в мировую культуру. Кратко охарактеризовав специфику языковой общности славян, докладчик показал также общность славянских фольклорных текстов в плане поэтики. По мнению В.М. Шаклеина, можно говорить не только о единстве славянского культурного наследия, но и об особой картине мира, присущей именно славянам.

Вопросы изучения славянской картины мира обсуждались также в докладе Н.В. Уфимцевой (Москва) «Культура и ее отражение в языковом сознании». Доклад был посвящен анализу сходств и различий в картине мира четырех славянских народов – белорусов, болгар, русских и украинцев (анализ осуществлялся на материале Славянского ассоциативного словаря). На основе ассоциативного эксперимента была проанализирована роль, которую играют в образе мира славян понятия *душа*, *жизнь*, *человек*, *работа*, *вера* и др. Докладчиком были показаны возможности выявления системности образа мира в определенной культуре и системности знаний, стоящих за отдельным словом.

Ряд пленарных докладов был посвящен общим вопросам современного состояния славянского мира в условиях глобализации и унификации культур. Директор Синодальной библиотеки Московского Патриархата, ответственный секретарь Патриаршей Синодальной Библейской комиссии протоиерей Борис Даниленко (Москва) выступил с докладом «Славянство: факторы единения и разделения». Проанализировав роль свв. Кирилла и Мефодия в развитии славянской культуры, докладчик подчеркнул, что одним из факторов единения славян является в настоящее время церковнославянский язык; теологи и филологи-слависты должны объединить свои усилия для научного издания полного текста славянской Библии, а также для перевода Библии на современные славянские языки.

Я. Чарногурский (Словакия) в докладе «Славянские народы между взаимной солидарностью и членством в Европейском Союзе. Языковая ситуация и языковая политика в странах славянского мира» рассматривал проблемы существования славянских стран в контексте непростой геополитической ситуации в современной Европе. Доклад Б. Станковича (Сербия) «Славистика и организованное славистическое движение в современном мире» был посвящен рассмотрению роли Международного комитета славистов, МАПРЯЛ и других международных и национальных научных организаций в создании консолидированных славистических проектов. Докладчик предложил искать новые формы межславянского со-

трудничества и борьбы против изоляционизма, в частности проводить славистические симпозиумы, подобные тому, что был организован в МГУ. А.А. Сказа (Словения) в докладе «Поверх барьеров: общество Словения – Россия и межкультурный диалог» рассказал об основных направлениях деятельности общества, развивающего и укрепляющего межкультурный диалог между Россией и Словенией.

Основная часть докладов была заслушана на заседаниях 13 секций и 5 круглых столов. В рамках Симпозиума при поддержке РГНФ прошла XI конференция комиссии по славянскому словообразованию при Международном комитете славистов (МКС), в которой приняли участие ведущие дериватологи из 11 стран Европы. Было проведено также заседание еще одной комиссии при МКС – по лексикологии и лексикографии.

Круглый стол «Балтия – центр межкультурных и межъязыковых контактов» продемонстрировал новые возможности международного научного общения в эпоху компьютерных технологий: к участникам дискуссии в ходе видеоконференции (SKYPE) присоединились коллеги, находящиеся в Латвии, Литве и Германии. О роли балтийского региона в славяно-германских языковых контактах (XV–XIX вв.) говорили Е.Р. Сквайрс (Москва), М. Лазар (Германия), С. Темчин (Литва), Л.А. Юргите (Латвия); о современных языковых и культурных контактах – М. Рамониене (Литва), О.В. Синёва (Москва), И. Саукане (Латвия).

На заседании круглого стола «Проблемы формирования современной финансово-экономической и юридической терминологии» президент Национальной лиги переводчиков России Ю.М. Алексеев (Москва) рассказал о работе Терминологического комитета этой организации. Вопросы перевода английских терминов и терминотворчества в финансово-экономической, юридической сферах и при деловом общении рассматривались в докладах В.Я. Факова (Москва), А.И. Матыцина (Москва), Т.П. Некрасовой (Москва), Г.В. Моисеевой (Москва).

На заседании круглого стола «Актуальные этноязыковые и этнокультурные проблемы современности» в докладе Г.П. Нещименко (Москва) и в дискуссии речь шла о культурных и языковых последствиях интегрирования славянских этносов в состав глобальных надгосударственных сообществ, о проблемах сохранения этноязыковой и этнокультурной идентичности, а также этнокультурного и этноязыкового фонда славян. Этой же проблематике была посвящена работа секции «Языковая ситуация и политика в странах славянского мира» (13 докладов). Вызвало интерес обсуждение функционирования славянских языков на постсоветском геополитическом пространстве: в Беларуси, Казахстане и Татарстане – доклад М. Вингендер (Германия); на Украине – выступления В.В. Дубичинского (Украина), Ю. Бестерс-Дильгер (Германия), Е.Э. Пчелинцевой (Украина) и О.А. Остапчук (Москва). М. Парзулова (Болгария) сопоставила языковые ситуации в Молдове, Украине и России, а С. Чмейркова (Чехия) представила современную языковую ситуацию Чехии, где в эпоху компьютерной коммуникации все больше усиливаются различия между разговорным и литературным узусами. Доклад П. Карагьозова (Болгария) был посвящен партоцентризму в славянских культурах XX–XXI вв.

Обсуждение проблем славянского словообразования происходило в рамках работы XI конференции Словообразовательной комиссии при МКС (при финансовой поддержке РГНФ). Был проведен круглый стол «Дискуссионные вопросы славянского словообразования и номинации: соотношение своего и заимствованного, узуса и словотворчества», а также заседания секции «Новые явления в славянском словообразовании: система и функционирование» (48 докладов). Были отмечены общие для всех славянских языков явления: увеличение количества заимствований, образование новых словообразовательных гнезд от заимствованных основ при ослаблении словообразовательной активности исконной лексики; активизация интернациональных аффиксов; усиление роли словосложения разных типов; семантико-прагматическая и стилистическая дифференциация исконных и иноязычных языковых единиц, типологическое воздействие заимствований на славянские языки и др. Об этом говорили Ц. Аврамова и Ю. Балтова (Болгария), И. Боздехова (Чехия), Е.А. Земская (Москва) и З. Рудник-Карватова (Польша), Е.А. Карпиловская (Украина), Й. Митурска-Бояновска (Польша), Е.В. Петрухина (Москва), М. Радченко (Хорватия) и С. Хаджихалилович (Хорватия), Л.В. Рацибурская (Нижний Новгород), И.С. Улуханов (Москва). Наблюдается усиление словообразовательных функций систематизации, интеграции и адаптация заимствованной лексики, что было отражено в докладах И. Онхайзер (Австрия) и Н. Яночковой (Словакия). При этом по-прежнему велика роль аналогии в словопроизводстве, проанализированная в докладе Е.С. Кубряковой (Москва). В докладах И.С. Улуханова (Москва) и Р. Драгичевич (Сербия) русская и сербская словообразовательные системы соответственно рассматривались с точки зрения закономерностей появления новых единиц, заполняющих лакуны в системе. Г.А. Николаев (Казань) большое внимание уделил конфикса-

ции в русском словообразовании. Системно-парадигматические отношения на конкретном языковом материале глаголов с морфом *об-* исследовались в докладе Р. Беленчиковой (Германия). В выступлении К. Вашаковой (Польша) была показана активизация в польском языке таких моделей, как *biurokratura*. Возможности славянского словообразования на материале отонимической лексики рассматривала Н.Е. Ананьева (Москва). Мощным рычагом развития словообразования является языковая экономия (проанализированная Г.П. Нещименко, Москва), и в частности универбация, о которой говорилось в докладах Б. Чорича (Сербия) и М. Вторковской (Словения). Инновации в области славянских nomina abstracta были проанализированы Е.И. Коряковцевой (Польша). Доклады М.А. Кронгауза (Москва), И. Страмлич-Брезник (Словения), Л.А. Араевой (Кемерово) и В.В. Химика (Санкт-Петербург) продемонстрировали возрастание роли эмоционально-прагматической и игровой функций неузуального словообразования. О потенциале словообразовательных моделей говорили К. Клещева (Польша) и Н.Б. Лебедева (Кемерово), использовавшая в своем исследовании лингвистический эксперимент. О.П. Ермакова (Калуга) рассмотрела особый тип деривационно связанных корней. Н.Д. Голев (Кемерово) говорил об использовании статистических данных поисковых систем Интернета при изучении лексических инноваций. Доклады А.А. Лукашанца (Беларусь) и Б. Тошовича (Австрия) были посвящены проблемам языковой ситуации и языковой политики в Беларуси и новых государствах, образовавшихся на территории бывшей Югославии. Завершали конференцию доклады Е. Сероцюка (Польша), М.А. Осадчего (Кемерово) и Е.Г. Лукашанец (Беларусь), посвященные исследованию словообразования в подсистемах славянских языков – в диалектах и жаргонах.

В фокусе внимания секции «Тенденции изучения грамматики славянских языков» (35 докладов) были такие вопросы, как реализация в синтаксических структурах и морфологических формах речевых актов, текстовых категорий и прагматических смыслов. В докладе О.Н. Плотниковой (Москва) обсуждалась категория определенности / неопределенности в современном словенском языке. Н.К. Онипенко (Москва) и Чжан Юйпин (Китай) рассмотрели именные субъектные синтаксемы, выражающие модусную семантику. Н.О. Григорьева (Ростов-на-Дону) посвятила свой доклад прагматической специфике русского пожелания. Л.А. Пиотровская (Санкт-Петербург) – сопоставительному анализу эмотивных высказываний в русском и чешском языках. А.Г. Хорошавина (Казань) рассмотрела конструкции с семантикой аргументированного несогласия. Д.П. Войводич (Сербия) проанализировал выражение каузальности в русском и сербском сложном предложении. Л.Б. Парубченко (Барнаул) – связь интонации высказывания и правил пунктуации. Р. Урханова (Италия) представила возможности концепции коммуникативной грамматики в преподавании русского языка итальянцам. Обсуждались вопросы функционально-грамматического анализа текста – доклады А.В. Уржи (Москва), В.Е. Чумириной (Москва), И.А. Магеррамова (Оренбург). Большое внимание было уделено обсуждению глагольных категорий: аспектуальности, таксиса, акциональности, залога. В докладе С.Б. Славковой (Италия) были рассмотрены двувидовые глаголы в русском и болгарском языках (на фоне итальянского языка). Интерпретационная функция русского глагольного вида обсуждалась О.К. Грековой (Москва). Э.Г. Шимчук (Москва) рассмотрела русские безличные конструкции, включающие verba meteorologika. К.Х. Лунд (Дания) показал большую степень смысловой мотивированности залоговых форм в русском тексте в сравнении с его переводами на английский и датский. Е.Н. Никитина (Москва) анализировала русские возвратные глаголы как декаузативы, выражающие идею отрицания причастности человека к изменению ситуации. М. Номати (Япония) обсуждал проблему дативного пассива в кашубском языке. В докладе М. Каранфиловского (Македония) сопоставлялось употребление македонских и русских глагольных видов в повелительном наклонении. Е.В. Верижникова (Москва) исследовала функционирование пересказывательных форм в македонских СМИ. Выступление Е.В. Клобукова (Москва) было посвящено структуре субстантивной словоизменительной парадигмы в русском и болгарском языках. М.В. Всеволодовой и Т.Е. Чаплыгиной (Москва) была предложена морфосинтаксическая типология русских предложных единиц. С этих же позиций Е.Н. Виноградовой (Москва) анализировались русские предложные обороты со значением причинности. В докладах Ж. Муякича и П. Станковской (Словения) обсуждалась грамматическая специфика современного чешского языка на фоне других славянских языков.

В выступлениях, прозвучавших на заседаниях секции «Лексикология и лексикография славянских языков» (34 доклада), были представлены как лексикографические проекты: С.Г. Беликова (Москва) «Интерактивный толково-энциклопедический словарь русского языка: возможности и ограничения», Л.Л. Шестакова (Москва) «Словарь языка русской поэзии

XX века и его место в поэтической лексикографии», Х. Вальтер (Германия) и В.М. Мокиенко (Россия) «Немецко-славянские языковые контакты в зеркале фразеологии (опыт словаря)», – так и исследования аналитического характера – доклады М.И. Чернышевой, Ю.Г. Кокориной (Москва), С.В. Дорониной (Барнаул). Выступления М.Я. Дымарского (Санкт-Петербург), А.И. Изотова, И.В. Баданиной, В.Г. Кульпиной (Москва), А. Ярошовой (Словакия) продемонстрировали, что актуальные проблемы современной славянской лексикографии многоаспектны: это, с одной стороны, активные неологические процессы, отражающие изменения внеязыковой действительности, а с другой – совершенствование принципов отбора, систематизации и представления материала, поиск научно обоснованного баланса между кодификацией и дескрипцией. В докладах коллег из Сербии (Н. Вулович и Р. Баич, В.З. Йованович, М.С. Гочанин) были проанализированы актуальные явления в лексической системе сербского языка. Новые явления номинации и референции, взаимосвязь языка и ментальности рассматривались в докладах С.М. Беляковой (Тюмень), Ж. Финк (Хорватия), И.В. Бугаевой (Москва). В докладах О.Н. Григорьевой и Е.М. Сусловой (Москва) были проанализированы новые лексико-семантические процессы в языке СМИ. В выступлении Н.А. Аксариной (Тюмень) та же проблематика была рассмотрена на материале публицистической речи. Связь словотворчества и заимствования анализировалась Л.К. Байрамовой (Казань), С. Ристич (Сербия), О.О. Лешковой (Москва). Прагматическим факторам речевого употребления были посвящены доклады О.Е. Фроловой (Москва), Г.И. Драгоевой-Тальской (Болгария). В докладе Д. Пандева (Македония) на македонском материале была рассмотрена номинативная и оценочная функции метафоры. К. Вельяновская (Македония) проанализировала особенности функционирования и адаптации в македонском языке английских заимствований.

Плодотворной была работа секции «Вопросы истории и этимологии славянских языков» (21 доклад). Ядро этого тематического направления составили выступления, посвященные вопросам изучения церковнославянского языка и формированию книжно-письменной традиции у православных славян. Вопросам функционирования церковнославянского языка (по терминологии автора – староболгарского) в разных православных государствах был посвящен доклад Б. Даскаловой (Болгария). Л.М. Устюгова (Украина) поддержала мнение Н.С. Трубецкого о том, что отказ от церковнославянской письменной традиции предопределил неустойчивость и разнородность украинского литературного языка. В рамках обсуждения проблем церковнославянского языка были рассмотрены конкретные памятники письменности. Т.В. Пентковская (Москва) описала разноуровневые особенности Афонской редакции Нового завета; Е.А. Кузьминова и Н.В. Николенкова (Москва) проанализировали рукописный грамматический трактат Ивана Иконника (1733 г.), содержащий обобщение и переосмысление предшествующей славянской грамматической традиции. В докладе О.Н. Кияновой (Москва) сниженная норма церковнославянского языка конца XVI–XVIII вв. рассматривалась как отражение тенденций развития литературного языка. Объектами обсуждения стали также перевод грамматики Милетия Смотрицкого, хранящийся в Национальной и университетской библиотеке в Любляне (доклад А. Дерганц из Словении), Смоленско-рижские акты XIII–XIV вв. из Латвийского архива (А.М. Кузнецов, Латвия) и др. Функциональный анализ «слов в скобках» в болгарских текстах эпохи Возрождения был представлен М. Димитровой (Болгария). Ж.Ж. Варбот (Москва) в своем выступлении говорила о проблемах определения первичной мотивации слова. В докладе К.В. Лифанова (Москва) были изложены результаты социолингвистического исследования процесса формирования мини-систем неопределенных местоимений в словацком языке. М.П. Фейса (Сербия) осветил основные тенденции развития южнорусинского литературного языка, являющегося одним из официальных языков сербского края Воеводина. Л. Спасов (Македония) рассмотрел Кониковское евангелие 1852 г. как веху на пути стандартизации македонского языка.

На заседаниях секции «Славянская диалектология» были заслушаны 12 докладов, в основном посвященных лексикологическому и лексикографическому аспектам диалектных систем. Об общеславянских синонимах в диахроническом и лингвогеографическом аспекте говорилось в докладе Я. Сятковского (Польша). В выступлении О.Е. Кармаковой и И.Л. Букринской (Москва) диалектная лексика рассматривалась с точки зрения традиционной народной культуры, а И.Б. Качинская (Москва) говорила о системности связей на уровне лексических групп (семантика, синтагматика, прагматика). А.А. Плотникова (Москва) рассказала о перспективах ареального направления в современной этнолингвистике. На заседании обсуждался такой важный вопрос, как динамика развития современных говоров и связанная с этим проблема методов сбора и интерпретации материала. Об этом шла речь в выступлениях С.А. Мызникова (Санкт-Петер-

бург), Д. Рембишевской (Польша). Опираясь на опыт составления «Архангельского областного словаря», Е.А. Нефедова (Москва) показала функциональную значимость обиходно-разговорной лексики, вариативность которой опирается на общерусский компонент и поэтому практически не препятствует междиалектным контактам. Проблемы диалектной личности и диалектной картины мира обсуждались в докладах Т. Лёнгренн (Норвегия) и Ю.В. Каменской (Саратов). Категории времени и вида рассматривались (на материале архангельских говоров) В.А. Закревской (Тюмень). В двух докладах анализировались вопросы диалектной фонетики: И.И. Исаев (Москва) рассказал о фонетических особенностях современных говоров в аспекте материалов ДАРЯ, а И.В. Бегунц (Москва) – об опыте субстратного объяснения нетривиальных фонетических явлений в диахронии.

Внимание участников секции «Концептосфера и картина мира славянских языков» было сосредоточено на обсуждении таких вопросов, как этнокультурное сознание в языке, речи и фольклоре славян; категоризация мира в лексике и фразеологии; стереотипы и противоречия современного языкового сознания. Были прочитаны 20 докладов, в которых говорилось о продуктивности сочетания синхронного и диахронного подходов (И.А. Морозова, Борисоглебск), о стремлении фиксировать и анализировать как общее, так и различное в концептосферах и картинах мира славянских языков – выступления А.М. Мелерович (Кострома) и В.М. Мокиенко (Санкт-Петербург), И.А. Шушариной (Курган), Е.Е. Стефанского (Самара), Л.А. Шестак (Волгоград), Е.И. Якушкиной (Москва), Г.Ф. Гавриловой и Л.В. Гриченко (Ростов-на-Дону), Ю. Канэко (Япония), Л. Крумовой-Цветковой (Болгария). Особенности структуры и функционирования национальных концептосфер анализировались также в докладах И.Н. Кошман (Украина), М.Г. Милютиной (Ижевск), Е.Л. Березович и Л.А. Феоктистовой (Екатеринбург). Предметом рассмотрения были факты, коды и концепты традиционной культуры, о чем говорили Н.В. Шестеркина (Саранск), К.В. Пьянкова (Екатеринбург), Н.В. Семёнова (Великий Новгород), В.Б. Колосова (Гатчина). Взаимосвязь понятий «языковая картина мира» и «языковая личность» обсуждалась в рамках антропоцентрического подхода к исследованию лингвокультурных проблем. Этому были посвящены доклады Л.Г. Ким, Н.В. Сайковой (Кемерово), О.В. Сахаровой (Украина).

Содержание докладов секции «Славянский художественный дискурс и язык художественной литературы» свидетельствует о том, что художественный текст является предметом интереса не только славянских литературоведов, но и лингвистов. Внимание исследователей привлекают как лексические особенности произведений художественной литературы (доклад Л.М. Кимягаровой, Л.М. Баш, Л.А. Илюшиной, Москва), так и грамматические – доклады А.С. Кулевой и Л.Л. Шестаковой (Москва), Н.В. Панченко (Барнаул). В выступлениях Э.А. Рахматуллиной (Москва), О.В. Ломакиной (Тула), Р.Е. Гайды (Польша) были выявлены национально-специфичные черты художественных дискурсов отдельных авторов. С.В. Полковникова (Латвия), Т.С. Шевчук (Украина), Г.П. Тыртова (Москва) посвятили свои выступления проблемам межъязыковой трансляции литературно-художественных текстов.

На заседаниях секции «Воздействие СМИ и Интернета на современные славянские языки» было прочитано 13 докладов. Обсуждение интернет-дискурса и его специфических явлений стало одной из тематических доминант в работе секции. О.В. Дедова (Москва) охарактеризовала различные аспекты феномена, который получил название «язык Интернета». Авторы большинства прозвучавших докладов: С.С. Скорвид (Москва), Сл. Кадич (Хорватия), Э. Ниами, Н.А. Шовгун (Москва) – были едины во мнении, что Интернет оказывает самое непосредственное влияние на речевые реализации и является важным источником лингвистической информации. Причем накопленный в этой области материал и его научное осмысление уже сейчас позволяют обратиться к типологическому описанию сетевого общения (доклад О.Ю. Усачевой, Липецк). В докладе А.К. Киклевича (Польша) рассматривалось функционирование элементов пропагандистского стиля («новояза») в текстах современной политической журналистики. Еще одним направлением работы секции стало обсуждение теоретических и практических аспектов использования компьютерных технологий в изучении и преподавании славянских языков. Этому были посвящены выступления Г.Е. Кедровой, А.М. Егорова, М.В. Волковой, С.Б. Потемкина (Москва), М. Хилченко (Сербия). Доклады сопровождались презентациями разработок и программных продуктов.

На последнем пленарном заседании симпозиума был принят заключительный документ, в котором, в частности, говорится, что нивелирование национального самосознания приводит к необратимым последствиям для славянских языков и культур. Поэтому перед славистами всего мира стоит задача осмысления нового поворота в этноязыковом и этнокультурном развитии славянских народов

и выработки на этом основании конкретных мер и рекомендаций по укреплению взаимодействия между ними. Важно не допустить, чтобы глобализация превратилась в культурное и духовное порабощение славянских народов. Расширение славистического сотрудничества позволит добиться значительных результатов в распространении славянских языков, литератур и культур и обеспечит им равноправное положение в интегрирующейся Европе. Одной из форм международного сотрудничества славистов является проведение научных форумов, подобных данному симпозиуму.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Славянские языки и культуры 2009 – Славянские языки и культуры в современном мире: Международный научный симпозиум (Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, филологический факультет, 24–26 марта 2009 г.): Труды и материалы / Сост. О.В. Дедова, Л.М. Захаров; под общим рук. М.Л. Ремневой. М., 2009.

*О.В. Дедова, Е.В. Петрухина, М.Ю. Сидорова, Е.В. Клобуков*
(Москва)

## Коллоквиум «Евгений Поливанов (1891–1938) и его вклад в языкознание»

25–26 июня 2009 г. в Париже состоялся коллоквиум «Евгений Поливанов (1891–1938) и его вклад в языкознание», организованный Центром славянских исследований Парижского университета имени Д. Дидро. В работе коллоквиума приняли участие специалисты из России, Франции, Швейцарии, Германии, Великобритании, Швеции; часть докладов представили российские исследователи, работающие за рубежом. Коллоквиум продемонстрировал продолжение мирового интереса к деятельности этого выдающегося отечественного ученого, поставившего проблемы, остающиеся актуальными, предвосхитившего многие идеи, обсуждаемые в лингвистике последних десятилетий. Интерес вызывают и личность Е.Д. Поливанова, и его общественная и политическая деятельность в СССР. И научная, и общественная деятельность ученого во многих докладах рассматривалась в связи с ситуацией в стране, порожденной революцией; интерес, в частности, продолжают вызывать поиски Е.Д. Поливанова в области построения марксистской лингвистики.

Тематика коллоквиума была разнообразной, отразив почти все стороны многогранной деятельности Е.Д. Поливанова (кроме лишь китаистики). В докладах затрагивались как разработка ученым вопросов общего языкознания (проблемы фонологии, теории языковых изменений, диалога, социолингвистики), так и его вклад в изучение конкретных языков и языковых семей (тюркских, японского). Ряд докладов был посвящен проблемам, выходящим за пределы лингвистики: практической деятельности Е.Д. Поливанова в области языковой политики, его исследованиям по поэтике, собственным поэтическим опытам и даже Поливанову как литературному персонажу.

Два доклада были представлены московскими лингвистами. В.М. Алпатов в докладе «Поливанов, жизнь и труды» рассмотрел биографию ученого и выделил основные направления его деятельности: развитие лингвистической теории, социолингвистику, японистику, изучение языков Средней Азии и ряда других языков. В области теории особо обсуждались его фонологические идеи, продолжавшие традиции, заложенные И.А. Бодуэном де Куртенэ, концепции причин языковых изменений и постановка вопроса о прогнозировании будущего развития языка. В докладе специально рассмотрен вклад Е.Д. Поливанова в японистику, где он впервые выяснил характер японского ударения, ввел в науку материал ряда диалектов и предложил интересную, хотя и спорную концепцию слова и частей речи в этом языке. А.В. Дыбо в докладе «Тюркологические исследования Е.Д. Поливанова» дала характеристику этой стороны деятельности ученого, представленную в наибольшем количестве работ, многие из которых, к сожалению, до нас не дошли. По ее мнению, главный его вклад в тюркологию связан с изучением, в том числе сравнительным, узбекских диалектов, в этой области до сих пор его труды остаются непревзойденными. А.В. Дыбо также ознакомила участников коллоквиума со статьей В.А. Дыбо, посвященной значению трудов Е.Д. Поливанова по японской акцентологии.

Доклад Р. Комте (Тулуза) «Наследие Бодуэна де Куртенэ и фонология Поливанова» был посвящен фонологическим воззрениям ученого, в 20–30-е гг. XX в. сохранявшего основные принципы концепции своего учителя И.А. Бодуэна де Куртенэ, прежде всего, понимание фонологии как «психофонетики». Такой подход шел вразрез с общей линией развития фонологии того времени, отходившей

от психологизма. В докладе подчеркнуто, что Е.Д. Поливанов одним из первых применил фонологические теории к материалу неиндоевропейских языков.

С. Чугунников (Дижон) в докладе «Поливанов, теоретик эволюции языка» сопоставил концепции Е.Д. Поливанова и Н.Я. Марра относительно исторического развития языка. Он подчеркнул, что предшественником подхода, развитого Поливановым, был не только И.А. Бодуэн де Куртенэ, но и Г. Пауль; этот подход уделял основное внимание внутренним факторам языковой эволюции. В докладе рассмотрена разработанная в трудах Е.Д. Поливанова концепция конвергенций и дивергенций.

С. Аршамбо (Париж) в докладе «Е.Д. Поливанов и диалог» рассмотрел идеи этого лингвиста в области диалогической речи, выраженные, в частности, в статье «По поводу "звуковых жестов" японского языка», идеи Е.Д. Поливанова сопоставлены с идеями его современников: Л.В. Щербы, Л.П. Якубинского, Л.С. Выгодского.

Ряд докладов был посвящен идеям Е.Д. Поливанова относительно связи языка и общества и его деятельности в области языковой политики и разработки алфавитов. М. Лахтеенмяки (Ювяскюля, Финляндия) выступил с докладом «Евгений Поливанов: к социологической парадигме в изучении языка», где остановился на попытках ученого создать марксистское языкознание. Показано, как подход Е.Д. Поливанова к этим проблемам отличался от подхода последователей Н.Я. Марра, призывавших отбросить все результаты, полученные «буржуазной наукой», тогда как Поливанов стремился совместить эти результаты с их марксистской интерпретацией. Социолингвистической проблематике в трудах Е.Д. Поливанова был посвящен доклад К. Брандиста (Шеффилд) «Коренизация. Стандартизация языка и развитие советской социолингвистики, случай Е.Д. Поливанова».

Сразу в трех докладах речь шла о латинизации алфавитов для языков Средней Азии и участии в этом процессе Е.Д. Поливанова. Э. Симонато (Лозанна) выступила с докладом «Поливанов перед алфавитным Рубиконом», в котором показала, что деятельность Е.Д. Поливанова, Н.Ф. Яковлева и других деятелей языкового строительства в СССР основывалась как на общих положениях марксизма, так и на передовых для того времени фонологических теориях. Особо рассмотрено участие Е.Д. Поливанова в спорах по поводу создания узбекского алфавита, в частности, по выбору опорного диалекта (Поливанов был сторонником ориентации на иранизированные городские диалекты, менее похожие на другие тюркские языки, но обладавшие большей престижностью). И. Сандомирская (Сёдертёрн, Швеция) в докладе «"Латинизация – революция на Востоке" (Ленин). Культурная гегемония в проекте латинизации Евгения Поливанова» рассмотрела процесс латинизации алфавитов как часть культурной революции в СССР, отметив отражение общего процесса в столь разных сферах, как лингвистика и кино. В статьях Е.Д. Поливанова и кинофильмах Дзиги Вертова ею отмечен общий дух преобразования извне традиционных обществ, создания нового уклада с чистого листа. Геополитическим национальным проблемам Средней Азии, отраженным в публикациях Е.Д. Поливанова, был посвящен доклад С. Горшениной (Париж / Лозанна) «Поливанов в Центральной Азии: лингвистика, классификация народов и национальное размежевание».

Концепциям поэтики в работах Е.Д. Поливанова и его связям с формальной школой в русском литературоведении были посвящены два доклада: «Е.Д. Поливанов и ОПОЯЗ» К. Депретто-Жанти (Париж) и «Евгений Поливанов в эпистемиологическом контексте русского формализма» П. Флака (Прага) (последний доклад был прочитан в отсутствие автора). К. Постутенко (Санкт-Петербург / Констанц) представил доклад «Поливанов как поэт», где показано, что дошедшие до нас оригинальные стихи Е.Д. Поливанова являлись, прежде всего, его «языковой лабораторией». Поливанов как поэт был экспериментатором в области языка, в том числе пытаясь пересадить на почву русского языка поэтические системы разных культур. Е. Вельмезова (Лозанна) в докладе «Лингвистические образы советского писателя: Поливанов, Марр и другие в произведении В. Каверина» анализировала роман В.А. Каверина «Скандалист, или вечера на Васильевском острове». Считается, что в образе профессора Драгоманова выведен Поливанов, но в докладе показано, что если личность персонажа имеет несомненное сходство с Поливановым, то высказываемые им в романе научные идеи представляют собой контаминацию идей Поливанова с идеями Н.Я. Марра.

Особняком на коллоквиуме стоял доклад М. Дени (Бордо) «Место феноменологии и влияние Гуссерля в России в 1910-е и 1920-е гг.», в котором речь шла не столько о Е.Д. Поливанове, сколько о российских последователях Э. Гуссерля, особенно о Г.Г. Шпете.

Наконец, Э. Анри-Сафье (Париж) выступила с мемуарным докладом «История Поливановского кружка», рассказав по лич-

ным воспоминаниям о деятельности существовавшего в 60-е гг. во Франции научного кружка, изучавшего труды советского ученого и пропагандировавшего его идеи. Позже в этой стране о Е.Д. Поливанове вспоминали реже, однако сейчас и во Франции, и в ряде других стран наблюдается новый подъем интереса к нему, знаком чего стал данный коллоквиум.

Доклады коллоквиума вызвали оживленную дискуссию. Его материалы предполагается опубликовать.

*В.М. Алпатов*
(Москва)

**Ежегодный симпозиум, организуемый Лингвистической ассоциацией Финляндии. «Падеж с точки зрения типологии»**

27–29 августа 2009 года в Хельсинки прошел очередной симпозиум, ежегодно организуемый Лингвистической ассоциацией Финляндии. Темой проводимого в этом году симпозиума стал «Падеж с точки зрения типологии». Его цель состояла в том, чтобы предоставить исследователям, работающим в различных направлениях современной лингвистики, возможность обсудить как теоретические и типологические подходы к феномену падежа, так и конкретно-языковые явления, связанные с падежом. Рабочим языком симпозиума был английский. В его работе приняло участие около 80 ученых, занимающихся проблемами падежа, в основном из различных стран Европы, а также из России, Японии и США.

В рамках симпозиума были прочитаны три пленарных доклада. Т. Хуумо (Тарту) рассмотрел использование направительных падежей финского языка в контекстах, описывающих местонахождение объекта или локализацию ситуации. Л. Янда (Тромсё) продемонстрировала, каким образом в рамках когнитивного подхода анализ употреблений падежа может быть использован, с одной стороны, для описания семантики самого падежа, а с другой стороны, для выяснения семантических различий между близкими по значению лексемами, например, существительными или глаголами. П. Остин (Лондон) проанализировал синхронные употребления падежей и предложил реконструкцию падежной системы некоторых австралийских языков семьи паманьюнга.

Представленные на основной сессии симпозиума доклады охватили широкий спектр тем: описание семантики падежа (С. Лураги (Италия) «Падежи как радиальные категории: пределы полисемии»), типология (П.М. Аркадьев (Москва) «К типологии падежа в языках с вершинным маркированием», К. Хандшух (Германия) «Падежные системы с маркированным S-аргументом»), взаимосвязь падежа с другими средствами зависимостного маркирования (Я. Клаван (Эстония) «Синонимия в грамматике: эстонский локативный падеж и пред / послеложные конструкции», С. Сааринен (Финляндия) «Падежные окончания в марийском языке и мордовские послелоги»), грамматикализация и диахроническая эволюция падежей (У. Тадмор (Германия) «Возникновение и утрата падежного маркирования в местоимениях малайского / индонезийского языка», М.Ю. Смолина (Санкт-Петербург) «О недавно грамматикализованных падежных морфемах в урумском языке»), дифференциальное маркирование агенса (С. Фоконье (Бельгия) «Маркирование агенса и одушевленность», Р. Фольманн (Австрия) «Факультативное эргативное маркирование в тибетском языке», Б. Цейслер (Германия) «Семантически мотивированное падежное маркирование в ладакхи и иерархия переходности»). Значительное число докладов было посвящено описанию падежных систем или семантики падежей в конкретных языках: Е. Маркус и Ф.И. Рожанский (Москва) «Комитатив и терминатив в водском нижнелужском ижорском», М. Сирола (Финляндия) «Комитатив в финском языке», С. Вербеке (Бельгия) «Падеж в кашмирском языке», М. Сало (Финляндия) «Падежи в севернохантыйских диалектах», Е.В. Перехвальская (Санкт-Петербург) «Пространственные падежи в удыгейском языке», С. Юбервассер (Германия) «Реквием по немецкому генитиву» и др. Представленные на основной сессии доклады, как показывают приведенные выше названия, охватили достаточно представительную выборку языков, однако особое внимание обратило на себя большое количество докладов, посвященных падежам в различных финно-угорских языках (финский, эстонский, водский, хантыйский, мансийский, венгерский, мордовские, пермские).

Немалый интерес участников вызвали и две включенные в программу симпозиума тематические секции. Первая из них (организатор Дж. Йеммоло) была посвящена так называемому «дифференциальному маркированию объекта», т. е. такому явлению, когда прямой

объект глагола может кодироваться двумя различными способами в зависимости от разных синтаксических и прагматических факторов. Здесь были представлены как доклады, посвященные теоретическому и типологическому осмыслению данного явления (П. де Сварт (Нидерланды) «Дифференциальное маркирование объекта: единство или разнообразие?», С. Киттиля (Финляндия) «Формальные и функциональные различия между дифференциальным маркированием объекта и дифференциальным маркированием реципиента»), так и доклады, описывающие это явление в конкретных языках: коми (Г. Клумпп, Германия), бирманский (М. Йенни, Швейцария), новоарамейский (Э. Когхилл, Великобритания), балочи (А. Корн, Германия), древнегреческий (Д. Рианьо, Испания), мансийский (С. Виртанен, Финляндия), корсиканский (Э. Штарк и К. Нейбургер, Швейцария).

Вторая тематическая секция была посвящена непространственным значениям локативных падежей в нахско-дагестанских языках (организаторы М.А. Даниэль и Д.С. Ганенков), в рамках которой были проанализированы различные случаи перехода от чисто пространственных функций к непространственным употреблениям в будухском (Ж. Отье, Франция), ахвахском (Д. Крессель, Франция), арчинском (М.А. Даниэль, Москва), цезском (Б. Комри, Германия), хваршинском (З.М. Халилова, Германия), диалектах даргинского языка (Д.С. Ганенков, Москва), языках восточнолезгинской группы (Н.К. Богомолова и С.Р. Мерданова, Москва) и языках цезской группы (Д. Форкер, Германия).

*Д.С. Ганенков*
(Москва)